This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

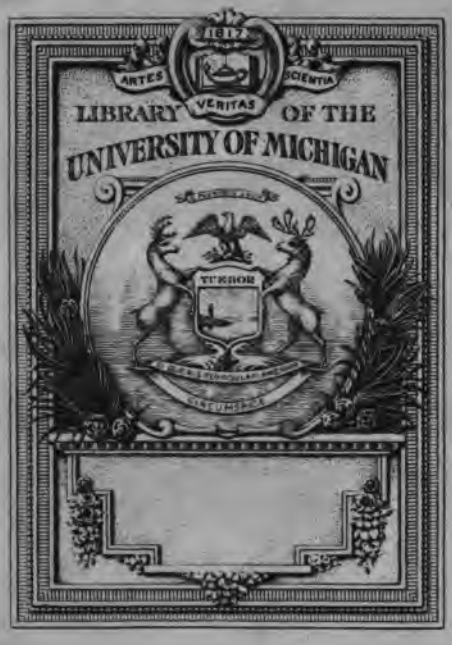
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 470688 DUPL


ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TURRIS

891.78
T94
03

И. С. ТУРГЕНЕВЪ

ТОМЪ VIII.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА

ТОМЪ VIII.

Посмертное изданіе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин., 7.

—

1883.

(853)

Собственность Глазунова.

ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ.

185097

СОДЕРЖАНІЕ

ВОСЬМОГО ТОМА.

Стран.

ПРИЗРАКИ.—Фантазія 1

ДОВОЛЬНО.—Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника 41

СОБАКА. 56

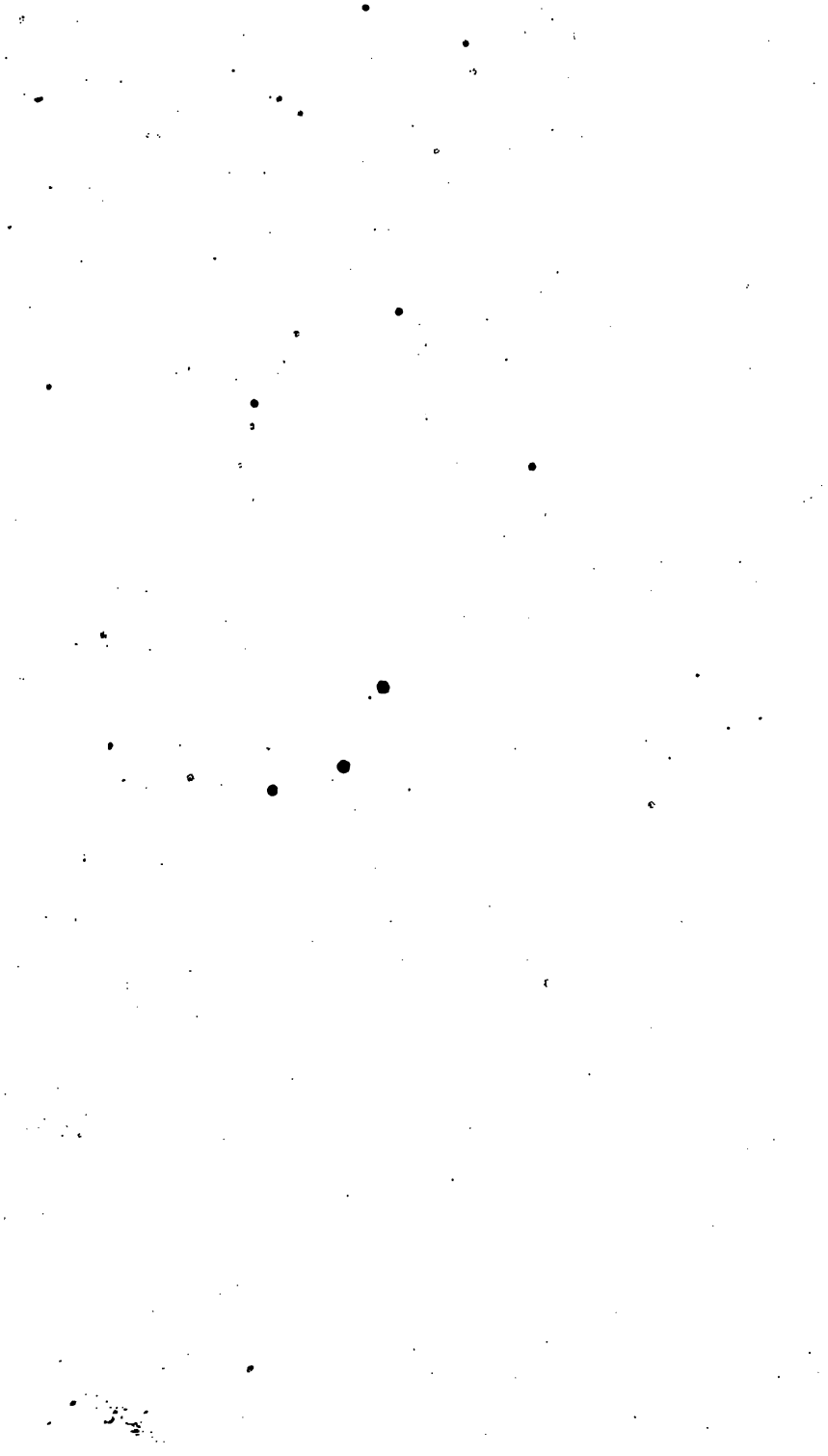
ИСТОРІЯ ЛЕЙТЕНАНТА ЕРГУНОВА 76

БРИГАДИРЪ 120

НЕСЧАСТНАЯ 150

СТРАННАЯ ИСТОРІЯ.—Разсказъ. 256

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИРЪ 285



ПРИЗРАКИ.

ФАНТАЗІЯ.

Мигъ одинъ... и нѣтъ волшебной сказки—
И душа опять полна возможнымъ...
А Фетъ

I.

Я долго не могъ заснуть и безпрестанно переворачивался съ боку на бокъ. „Чортъ бы побралъ эти глупости съ вертящимися столами! — подумалъ я— только нервы разстраивать“... Дремота начала, наконецъ, одолѣвать меня...

Вдругъ мнѣ почудилось, какъ будто въ комнатѣ слабо и жалобно прозвенѣла струна.

Я приподнялъ голову. Луна стояла низко на небѣ и прямо глянула мнѣ въ глаза. Бѣлый какъ мѣлъ лежалъ ея свѣтъ на полу... Явственно повторился странный звукъ.

Я оперся на локоть. Легкій страхъ щипнулъ меня за сердце. — Прошла минута, другая... Гдѣ-то далеко прокричалъ пѣтухъ; еще дальше отозвался другой.

Я опустилъ голову на подушку. „Вотъ до чего можно довести себя,—подумалъ я опять; — въ ушахъ звенѣть станетъ.“

Спустя немного, я заснулъ—или мнѣ казалось, что я заснулъ. Мнѣ привидѣлся необыкновенный сонъ. Мнѣ чудилось, что я лежу въ моей спальнѣ, на моей постели—и не сплю, и даже глазъ не могу закрыть. Вотъ опять раздается звукъ... Я оборачиваюсь... Слѣдъ луны на полу начинаетъ тихонько приподниматься, выпрямляется, слегка округляется сверху... Передо мной, сквозя какъ туманъ, неподвижно стоитъ бѣлая женщина.

— Кто ты?—спрашиваю я съ усиліемъ.

Голосъ отвѣчаетъ, подобный шелесту листьевъ.—Это я... я... я... Я пришла за тобой.

— За мной? Да кто ты?

— Приходи ночью на уголъ лѣса, гдѣ старый дубъ. Я тамъ буду.

Я хочу вглядѣться въ черты таинственной женщины—и вдругъ невольно вздрагиваю: на меня пахнуло холодомъ. И вотъ я уже не лежу, а сижу въ своей постели—и тамъ, гдѣ, казалось, стоялъ призракъ, свѣтъ луны бѣлѣется длинной чертою по полу.

II.

День прошелъ кое-какъ. Я, помнится, принимался читать, работать... ничего не клеилось. Настала ночь. Сердце билось во мнѣ, какъ будто ждало чего-то. Я легъ и повернулся лицомъ къ стѣнѣ.

— Отчего же ты не пришелъ? — раздался въ комнатѣ явственный шопотъ.

Я быстро оглянулся.

Опять она... опять таинственный призракъ. Неподвижные глаза на неподвижномъ лицѣ—и взоръ исполненъ печали.

— Приходи!—слышится снова шопотъ.

— Приду,—отвѣчаю я съ невольнымъ ужасомъ. Призракъ тихо качнулся впередъ, смѣшался весь, легко волнуясь какъ дымъ — и луна опять мирно забѣлѣла на гладкомъ полу.

III.

Я провелъ день въ волненіи. За ужиномъ я выпилъ почти цѣлую бутылку вина, вышелъ-было на крыльцо, но вернулся и бросился въ постель. Кровь тяжело колыхалась во мнѣ.

Опять послышался звукъ... Я вздрогнулъ, но не оглянулся. Вдругъ я почувствовалъ, что кто-то тѣсно обнялъ меня сзади и въ самое ухо мнѣ лепечетъ: „Приди, приди, приди“... Затрепетавъ отъ испуга, я простоналъ:

— Приду!—и выпрямился.

Женщина стояла наклонясь возлѣ самаго моего изголовья. Она слабо улыбнулась и исчезла. Я однако успѣлъ разглядѣть ея лицо. Мнѣ показалось, что я видѣлъ ее прежде; — но гдѣ, когда? Я всталъ поздно и цѣлый день бродилъ по полямъ, подходилъ къ старому дубу на окраинѣ лѣса и внимательно осматривался кругомъ.

Передъ вечеромъ я сѣлъ у раскрытаго окна въ своемъ кабинетѣ. Старуха ключница поставила передо мною чашку чаю—но я не прикасался къ ней... Я все недоумѣвалъ и спрашивалъ себя: „не съ ума ли я схожу?“ Солнце только-что закатилось — и не одно небо зардѣлось — весь воздухъ внезапно наполнился какимъ-то почти неестественнымъ багрянцемъ: листья и травы, словно покрытые свѣжимъ лакомъ, не шевелились; въ ихъ окаменѣлой неподвижности, въ рѣзкой яркости ихъ очер-

таній, въ этомъ сочетаніи сильнаго блеска и мертвой тишины было что-то странное, загадочное. Довольно большая сѣрая птица вдругъ, безо всякаго шума, прилетѣла и сѣла на самый край окна... Я посмотрѣлъ на нее—и она посмотрѣла на меня сбоку своимъ круглымъ, темнымъ глазомъ. „Ужъ не прислали ли тебя, чтобы напомнить?“ подумалъ я.

Птица тотчасъ взмахнула своими мягкими крыльями и улетѣла по прежнему безъ шума. Я долго еще сидѣлъ у окна—но я уже не предавался недоумѣнью: я какъ-будто попалъ въ заколдованный кругъ—и неодолимая, хотя тихая сила увлекла меня, подобно тому, какъ еще задолго до водопада, стремленіе потока увлекаетъ лодку. Я встрепенулся наконецъ. Багрянецъ воздуха давно исчезъ, краски потемнѣли и прекратилась заколдованная тишина. Вѣтерокъ запорхалъ, луна все ярче выступала на посинѣвшемъ небѣ,—и скоро листья деревьевъ заиграли серебромъ и чернью въ ея холодныхъ лучахъ. Моя старуха вошла въ кабинетъ съ зажженной свѣчкой, но изъ окна дохнуло на нее и пламя погасло. Я не могъ выдержать болѣе, вскочилъ, нахлобучилъ шапку и отправился на уголъ лѣса къ старому дубу.

IV.

Въ этотъ дубъ, много лѣтъ тому назадъ, ударила молнія; верхушка переломилась и засохла, но жизни еще сохранилось въ немъ на нѣсколько столѣтій. Когда я сталъ подходить къ нему, на луну набѣжала тучка: было очень темно подъ его широкими вѣтвями. Сперва я не замѣтилъ ничего особеннаго; но взглянулъ въ сторону—и сердце во мнѣ такъ и упало: бѣлая фигура стояла

неподвижно возлѣ высокаго куста, между дубомъ и лѣсомъ. Волосы слегка зашевелились у меня на головѣ; но я собрался съ духомъ—и пошелъ къ лѣсу.

Да, это была она, моя ночная гостья. Когда я приблизился къ ней, мѣсяцъ засіялъ снова. Она казалась вся какъ бы соткана изъ полупрозрачнаго, молочнаго тумана — сквозь ея лицо мнѣ виднѣлась вѣтка, тихо колеблемая вѣтромъ — только волосы да глаза чуть-чуть чернѣли, да на одномъ изъ пальцевъ сложенныхъ рукъ блистало блѣднымъ золотомъ узкое кольцо. Я остановился передъ нею и хотѣлъ заговорить; но голосъ замеръ у меня въ груди, хотя собственно страха я уже не ощущалъ. Ея глаза обратились на меня: взглядъ ихъ выражалъ не скорбь и не радость, а какое-то безжизненное вниманіе. Я ждалъ, не произнесетъ ли она слова, но она оставалась неподвижной и безмолвной, и все глядѣла на меня своимъ мертвенно-пристальнымъ взглядомъ. Мнѣ опять стало жутко.

— Я пришелъ! — воскликнулъ я наконецъ съ усиліемъ. Глухо и чудно раздался мой голосъ.

— Я тебя люблю, — послышался шопотъ.

— Ты меня любишь! — повторилъ я съ изумленіемъ.

— Отдайся мнѣ, — снова прошелестило мнѣ въ отвѣтъ.

— Отдаться тебѣ! Но ты призракъ — у тебя и тѣла нѣтъ. — Странное одушевленіе овладѣло мною. — Что ты такое, дымъ, воздухъ, паръ? Отдаться тебѣ! Отвѣчай мнѣ сперва кто ты? Жила ли ты на землѣ? Откуда ты явилась?

— Отдайся мнѣ. Я тебѣ зла не сдѣлаю. Скажи только два слова: возьми меня.

Я посмотрѣлъ на нее. „Что это она говоритъ?“ подумалъ я. „Что это все значитъ? И какъ же она возьметъ меня? Или попытаться?“

— Ну хорошо,—произнесъ я вслухъ и неожиданно громко, словно кто сзади меня подтолкнулъ. — Возьми меня!

Не успѣлъ я произнести эти слова, какъ таинственная фигура съ какимъ-то внутреннимъ смѣхомъ, отъ котораго на мигъ задрожало ея лицо, покачнулась впередъ, руки ея отдѣлились и протянулись... Я хотѣлъ было отскочить; но я уже былъ въ ея власти. Она обхватила меня, тѣло мое поднялось на полъ-аршина отъ земли—и мы оба понеслись плавно и не слишкомъ быстро надъ неподвижной мокрой гравой.

V.

Сперва у меня голова закружилась — и я невольно закрылъ глаза... Минуту спустя, я открылъ ихъ снова. Мы неслись по прежнему. Но уже лѣса не было видно: подъ нами разстилалась равнина, усѣянная темными пятнами. Я съ ужасомъ убѣдился, что мы поднялись на страшную высоту.

„Я пропалъ, я во власти сатаны“, сверкнуло во мнѣ какъ молнія. До того мгновенья мысль о навожденьѣ нечистой силы, о возможности погибели, мнѣ въ голову не приходила. Мы все мчались и, казалось, забирали все выше и выше.

— Куда ты несешь меня?—простоналъ я наконецъ.

— Куда хочешь,— отвѣчала моя спутница. Она вся прильнула ко мнѣ; лицо ея почти прислонилось къ моему лицу. Впрочемъ я едва ощущалъ ея прикосновеніе.

— Опусти меня на землю; мнѣ дурно на этой высотѣ.

— Хорошо; только закрой глаза и не дыши.

Я послушался — и тотчасъ же почувствовалъ, что падаю какъ брошенный камень... воздухъ засвисталъ въ моихъ волосахъ. Когда я опомнился, мы опять плавно неслись надъ самой землей, такъ что цѣплялись за верхушки высокихъ травъ.

— Поставь меня на ноги,—началъ я.—Что за удовольствіе летать? Я не птица.

— Я думала, что тебѣ пріятно будетъ. У насъ другого занятія нѣтъ.

— У васъ? Да кто вы такія?

Отвѣта не было.

— Ты не смѣешь мнѣ это сказать?

Жалобный звукъ, подобный тому, который разбудилъ меня въ первую ночь, задрожалъ въ моихъ ушахъ. Между тѣмъ мы продолжали чуть замѣтно двигаться по влажному ночному воздуху.

— Пусти-же меня! — промолвилъ я. Спутница моя тихо отклонилась – и я очутился на ногахъ. Она остановилась передо мной и снова сложила руки. Я успокоился и посмотрѣлъ ей въ лицо: по прежнему оно выражало покорную грусть.

— Гдѣ мы? — спросилъ я. Я не узнавалъ окрестныхъ мѣстъ.

— Далеко отъ твоего дома, но ты можешь быть тамъ въ одно мгновенье.

— Какимъ это образомъ? опять довѣриться тебѣ?

— Я не сдѣлала тебѣ зла и не сдѣлаю. Полетаемъ съ тобой до зари, вотъ и все. Я могу тебя отнести куда только ты вздумаешь—во всѣ края земли. Отдайся мнѣ! Скажи опять: возьми меня!

— Ну.... возьми меня!

Она опять припала ко мнѣ, ноги мои опять отдѣлились отъ земли—и мы полетѣли.

VI.

— Куда?—спросила она меня.

— Прямо, все прямо.

— Но тутъ лѣсъ.

— Поднимись надъ лѣсомъ—только тише.

Мы взмыли кверху какъ вальдшнепъ, налетѣвшій на березу — и опять понеслись въ прямомъ направленіи. Вмѣсто травы, вершины деревьевъ мелькали у насъ подъ ногами. Чудно было видѣть лѣсъ сверху, его щетинистую спину, освѣщенную луной. Онъ казался какимъ-то огромнымъ, заснувшимъ звѣремъ и сопровождалъ насъ широкимъ, непрестаннымъ шорохомъ, похожимъ на невнятное ворчанье. Кое-гдѣ попадалась небольшая поляна; красиво чернѣла съ одной ея стороны зубчатая полоса тѣни.... Заяцъ изрѣдка жалобно кричалъ внизу; вверху сова свистала, тоже жалобно; въ воздухѣ пахло грибами, почками, зорей-травою; лунный свѣтъ такъ и разливался во всѣ стороны—холодно и строго; „стожары“ блистали надъ самой головой. Вотъ и лѣсъ остался назади; въ полѣ протянулась полоса тумана: это рѣка текла. Мы понеслись вдоль одного изъ ея береговъ надъ кустами, отяжелѣвшими и неподвижными отъ сырости. Волны на рѣкѣ то лоснились синимъ лоскомъ, то катились темныя и словно злыя. Мѣстами странно двигался надъ ними тонкій паръ — и чашки водяныхъ лилій дѣвственно и пышно бѣлѣли всѣми своими распустившимися лепестками, точно знали, что до нихъ добраться невозможно. Мнѣ вздумалось сорвать одну изъ нихъ—и вотъ я уже очутился надъ самой гладью рѣки.... Сырость непріязненно ударила мнѣ въ лицо, какъ только я перервалъ тугой стебель крупнаго цвѣтка. Мы начали перелетывать съ

берега на берегъ, какъ кулички песочники, которыхъ мы то и дѣло будили и за которыми гнались. Намъ не разъ случалось налетать на семейку дикихъ утокъ, расположенныхъ кружкомъ на чистомъ мѣстечкѣ между тростниками—но онѣ не шевелились: развѣ одна изъ нихъ торопливо вынетъ шею изъ-подъ крыла, посмотритъ, посмотритъ, и хлопотливо засунетъ опять носъ въ пушистыя перья, а другая слабо крякнетъ, при чемъ все ея тѣло немножко дрогнетъ. Мы вспугнули одну цаплю: она поднялась изъ ракитоваго куста, болтая ногами и съ неуклюжимъ усиліемъ махая крыльями: тутъ она мнѣ показалась дѣйствительно похожей на нѣмца. Рыба нигдѣ не плескалась—спала тоже. Я начиналъ привыкать къ ощущенію полета и даже находилъ въ немъ пріятность: меня пойметъ всякій, кому случалось летать во снѣ. Я принялся съ бо́льшимъ вниманіемъ разсматривать странное существо, по милости котораго со мной совершались такія неправдоподобныя событія.

VII.

Это была женщина съ маленькимъ, нерусскимъ лицомъ. Изсѣра бѣловатое, полупрозрачное, съ едва означенными тѣнями, оно напоминало фигуры на алебастровой, извнутри освѣщенной вазѣ—и опять показалось мнѣ знакомымъ.

— Можно съ тобой говорить?—спросилъ я.

— Говори.

— Я вижу у тебя кольцо на пальцѣ; ты стало-быть жила на землѣ—ты была замужемъ?

Я остановился.... Отвѣта не было.

— Какъ тебя зовутъ—или звали; по крайней мѣрѣ?

— Зови меня Эллисъ.

— Эллисъ! Это англійское имя! Ты англичанка? Ты знала меня прежде?

— Нѣтъ.

— Отчего же ты именно ко мнѣ явилась?

— Я тебя люблю.

— И ты довольна?

— Да; мы носимся, мы кружимся съ тобою по чистому воздуху.

— Эллисъ! — сказалъ я вдругъ, — ты можетъ-быть преступная, осужденная душа?

Голова моей спутницы наклонилась. — Я тебя не понимаю, — шепнула она.

— Заклинаю тебя именемъ Бога...—началъ-было я.

— Что ты говоришь? — промолвила она съ недоумѣніемъ.—Я не понимаю.—Мнѣ показалось, что рука, лежавшая холодноватымъ поясомъ вокругъ моего стана, тихо шевельнулась....

— Не бойся,—промолвила Эллисъ — не бойся, мой милый!—Ея лицо обернулось и придвинулось къ моему лицу.... Я почувствовалъ на губахъ моихъ какое-то странное ощущеніе, какъ-бы прикосновеніе тонкаго и мягкаго жала.... Незлыя піявки такъ берутся.

VIII.

Я взглянулъ внизъ. Мы уже опять успѣли подняться на довольно значительную вышину. Мы пролетали надъ неизвѣстнымъ мнѣ уѣзднымъ городомъ, расположеннымъ на скатѣ широкаго холма. Церкви высились среди темной массы деревянныхъ крышъ, фруктовыхъ садовъ; длинный мостъ чернѣлъ на изгибѣ рѣки; все молчало, отяг-

ченное сномъ. Самые куполы и кресты, казалось, блестѣли безмолвнымъ блескомъ; безмолвно торчали высокіе шесты колодцевъ возлѣ круглыхъ шапокъ ракитъ: бѣлесоватое шоссе узкой стрѣлой безмолвно впивалось въ одинъ конецъ города—и безмолвно выбѣгало изъ противоположнаго конца на сумрачный просторъ однообразныхъ полей.

— Что это за городъ?—спросилъ я.

— ....совъ.

— ....совъ въ ....ой губерніи?

— Да.

— Далеко же я отъ дому!

— Для насъ отдаленности нѣтъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? — Внезапная удаль вспыхнула во мнѣ.—Такъ неси же меня въ Южную Америку!

— Въ Америку не могу. Тамъ теперь день.

— А мы съ тобой ночныя птицы. Ну куда-нибудь, куда можно, только подальше.

— Закрой глаза и не дыши,—отвѣчала Эллисъ—и мы помчались съ быстротою вихря. Съ потрясающимъ шумомъ врывался воздухъ въ мои уши.

Мы остановились, но шумъ не прекращался. Напротивъ: онъ превратился въ какой-то грозный ревъ, въ громовой гулъ...

— Теперь можешь открыть глаза,—сказала Эллисъ.

IX.

Я повиновался.... Боже мой, гдѣ я?

Надъ головой тяжелыя, дымныя тучи; онѣ тѣснятся, онѣ бѣгутъ какъ стадо злобныхъ чудовищъ.... а тамъ, внизу, другое чудовище: разъяренное, именно разъярен-

ное море.... Бѣлая пѣна судорожно сверкаетъ и кипитъ въ немъ буграми—и, вздымая косматыя волны, съ грубымъ грохотомъ бьетъ оно въ громадный, какъ смоль черный утесъ. Завываніе бури, леденящее дыханіе расколыхавшейся бездны, тяжкій плескъ прибоя, въ которомъ по временамъ чудится что-то похожее на вопли, на далекіе пушечные выстрѣлы, на колокольный звонъ—раздирающій визгъ и скрежетъ прибрежныхъ голышей, внезапный крикъ невидимой чайки, на мутномъ небосклонѣ шаткій остовъ корабля—всюду смерть, смерть и ужасъ... Голова у меня закружилась—и я снова съ замираніемъ закрылъ глаза....

— Что это! гдѣ мы?

— На южномъ берегу острова Уайтъ, передъ утесомъ Блакгантъ, гдѣ такъ часто разбиваются корабли,— промолвила Эллисъ на этотъ разъ особенно отчетливо и, какъ мнѣ показалось, не безъ злорадства....

— Неси меня прочь, прочь отсюда... домой! домой!

Я сжался весь, стиснулъ лицо руками... Я чувствовалъ, что мы понеслись еще быстрѣе прежняго; вѣтеръ уже не выл и не свисталъ — онъ визжалъ въ моихъ волосахъ, въ моемъ платьѣ... духъ захватывало...

— Стань же на ноги,—раздался голосъ Эллисъ.

Я силился овладѣть собою, своимъ сознаніемъ... Я ощущалъ подъ подошвами землю и не слышалъ ничего, точно все замерло кругомъ... только въ виски неровно стучала кровь и съ слабымъ внутреннимъ звономъ все еще кружилась голова. Я выпрямился и открылъ глаза.

X.

Мы находились на плотинѣ моего пруда. Прямо передо мною, сквозь острые листья ракитъ, виднѣлась

его широкая гладь съ кое-гдѣ приставшими волокнами пушистаго тумана. Направо тускло зоснилось ржаное поле; налѣво вздымались деревья сада, длинныя, неподвижныя и какъ-будто сырыя... Утро уже дохнуло на нихъ. По чистому сѣрому небу тянулись, словно полосы дыма, двѣ-три косыя тучки; онѣ казались желтоватыми —первый слабый отблескъ зари падалъ на нихъ, Богъ вѣсть откуда: глазъ еще не могъ различить на побѣлѣвшемъ небосклонѣ то мѣсто, гдѣ она должна была заняться. Звѣзды исчезали; ничего еще не шевелилось, хотя все уже просыпалось въ очарованной тишинѣ ранняго полусвѣта.

— Утро! вотъ утро!—воскликнула надъ самымъ моимъ ухомъ Эллисъ... Прощай! До завтра!

Я обернулся.... Легко отдѣляясь отъ земли, она плыла мимо — и вдругъ подняла обѣ руки надъ головою. Эта голова и руки, и плечи мгновенно вспыхнули тѣлеснымъ теплымъ цвѣтомъ; въ темныхъ глазахъ дрогнули живыя искры: усмѣшка тайной нѣги шевельнула покраснѣвшія губы.. Прелестная женщина внезапно возникла передо мною... Но какъ бы падая въ обморокъ, она тотчасъ опрокинулась назадъ и растаяла какъ паръ.

Я остался недвижимъ.

Когда я опомнился и оглянулся, мнѣ показалось, что тѣлесная, блѣдно-розовая краска, пробѣжавшая по фигурѣ моего призрака, все еще не исчезла и, разлитая въ воздухѣ, обдавала меня кругомъ... Это заря загоралась. Я вдругъ почувствовалъ крайнюю усталость и отправился домой. Проходя мимо птичьяго двора, я услыхалъ первое утреннее лепетанье гусенятъ (раньше ихъ ни одна птица не просыпается); вдоль крыши, на концѣ каждой притужины сидѣло по галкѣ — и всѣ онѣ хлопотливо и молча очищались, четко рисуясь на молочномъ

небѣ. Изрѣдка онѣ разомъ всѣ поднимались — и, полетавъ немного, садились опять рядкомъ, безъ крика... Изъ недальняго лѣса два раза принеслось сипло-свѣжее чуфыканье черныша-тетерева, только-что слетѣвшаго въ росистую, ягодами заросшую траву... Съ легкой дрожью въ тѣлѣ я добрался до постели и скоро заснулъ крѣпкимъ сномъ.

XI.

На слѣдующую ночь, когда я сталъ подходить къ старому дубу, Эллисъ понеслась мнѣ на встрѣчу какъ къ знакомому. Я не боялся ея по вчерашнему, я почти обрадовался ей; я даже не старался понять, что со мной происходило: мнѣ только хотѣлось полетать подальше, по любопытнымъ мѣстамъ.

Рука Эллисъ опять обвилась вокругъ меня — и мы опять помчались.

— Отправимся въ Италію,—шепнулъ я ей на ухо.

— Куда хочешь, мой милый,—отвѣчала она торжественно и тихо — и тихо и торжественно повернула ко мнѣ свое лицо. Оно показалось мнѣ не столь прозрачнымъ, какъ наканунѣ; болѣе женственное и болѣе важное, оно напомнило мнѣ то прекрасное созданіе, которое мелькнуло передо мной на утренней зарѣ передъ разлукой.

— Нынѣшняя ночь — великая ночь, — продолжала Эллисъ.—Она наступаетъ рѣдко—когда семь разъ тринадцать...

Тутъ я не дослушалъ нѣсколько словъ.

— Теперь можно видѣть, что бываетъ закрыто въ другое время.

— Эллисъ! — взмолился я,—да кто же ты? скажи мнѣ наконецъ!

Она молча подняла свою длинную бѣлую руку.

На темномъ небѣ, тамъ, куда указывалъ ея палецъ, среди мелкихъ звѣздъ, красноватой чертой сіяла комета.

— Какъ мнѣ понять тебя?—началъ я.—Или ты—какъ эта комета носится между планетами и солнцемъ—носишься между людьми... и чѣмъ?

Но рука Эллисъ внезапно надвинулась на мои глаза... Словно бѣлый туманъ изъ сырой долины обдалъ меня...

— Въ Италію! въ Италію! — послышался ея шопотъ. —Эта ночь—великая ночь!

XII.

Туманъ передъ моими глазами разсѣялся, и я увидалъ подъ собою безконечную равнину. Но уже по одному прикосновенію теплаго и мягкаго воздуха къ моимъ щекамъ, я могъ понять, что я не въ Россіи; да и равнина та не походила на наши русскія равнины. Это было огромное, тусклое пространство, по видимому не поросшее травой и пустое; тамъ и сямъ, по всему его протяженію, подобно небольшимъ обломкамъ зеркала, блистали стоячія воды; вдали смутно виднѣлось неслышное, недвижное море. Крупныя звѣзды сіяли въ промежуткахъ большихъ, красивыхъ облаковъ; тысячеголосная, немолчная и все-таки негромкая трель поднималась отовсюду—и чуденъ былъ этотъ пронзительный и дремотный гулъ, этотъ ночной голосъ пустыни...

— Понтійскія болота,—промолвила Эллисъ. — Слышишь лягушекъ? чувствуешь запахъ сѣры?

— Понтійскія болота...—повторилъ я, и ощущеніе

величавой унылости охватило меня. — Но зачѣмъ принесла ты меня сюда, въ этотъ печальный, заброшенный край? Полетимъ лучше къ Риму.

— Римъ близокъ,—отвѣчала Эллисъ... — Приготовься!

Мы спустились и помчались вдоль старинной латинской дороги. Буйволъ медленно поднялъ изъ вязкой тины свою косматую, чудовищную голову съ короткими вихрами щетины между криво назадъ загнутыми рогами. Онъ косо повелъ бѣлками безсмысленно-злобныхъ глазъ и тяжело фыркнулъ мокрыми ноздрями, словно почуялъ насъ.

— Римъ, Римъ близокъ...—шептала Эллисъ.—Гляди, гляди впередъ...

Я поднялъ глаза.

Что это чернѣетъ на окраинѣ ночного неба? Высокія ли арки громаднаго моста? Надъ какой рѣкой онъ перекинутъ? Зачѣмъ онъ порванъ мѣстами? Нѣтъ, это не мостъ, это древній водопроводъ. Кругомъ священная земля Кампаніи, а тамъ вдали Албанскія горы—и вершины ихъ, и сѣдая спина стараго водопровода слабо блестятъ въ лучахъ только-что взошедшей луны...

Мы внезапно взвились и повисли на воздухѣ передъ уединенной развалиной. Никто бы не могъ сказать, чѣмъ она была прежде: гробницей, чертогомъ, башней... Черный плющъ обливалъ ее всю своей мертвенной силой— а внизу раскрывался, какъ зѣвъ, полуобрушенный сводъ. Тяжёлымъ запахомъ погреба вѣяло мнѣ въ лицо отъ этой груды мелкихъ, тѣсно сплоченныхъ камней, съ которыхъ давно свалилась гранитная оболочка стѣны.

— Здѣсь,—произнесла Эллисъ и подняла руку: — Здѣсь!—Проговори громко, три раза сряду, имя великаго римлянина.

— Что же будетъ?

— Ты увидишь.

— Я задумался.—Divus Cajus Julius Cæsar! — воскликнулъ я вдругъ;—divus Cajus Julius Cæsar!—повторилъ я протяжно; — Cæsar!

XIII.

Послѣднія отзвучія моего голоса не успѣли еще замереть, какъ мнѣ послышалось...

Мнѣ трудно сказать, что̀ именно. Сперва мнѣ послышался смутный, ухомъ едва уловимый, но безконечно повторявшійся взрывъ трубныхъ звуковъ и рукоплесканій. Казалось, гдѣ-то, страшно далеко, въ какой-то бездонной глубинѣ, внезапно зашевелилась несмѣтная толпа— и поднималась, поднималась, волнуясь и перекликаясь чуть слышно, какъ бы сквозь сонъ, сквозь подавляющій, многовѣковный сонъ. Потомъ воздухъ заструился и потемнѣлъ надъ развалиной... Мнѣ начали мерещиться тѣни, миріады тѣней, милліоны очертаній, то округленныхъ какъ шлемы, то протянутыхъ какъ копья; лучи луны дробились мгновенными синеватыми искорками на этихъ копьяхъ и шлемахъ—и вся эта армія, эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, колыхалась усиленно... Несказанное напряженіе, напряженіе, достаточное для того, чтобы приподнять цѣлый міръ, чувствовалось въ ней; но ни одинъ образъ не выдавался ясно... И вдругъ мнѣ почудилось, какъ-будто трепетъ пробѣжалъ кругомъ, какъ будто отхлынули и разступились какія-то громадныя волны... „Cæsar, Cæsar venit!“ зашумѣли голоса, подобно листьямъ лѣса, на который внезапно налетѣла буря... прокатился глухой ударъ — и голова блѣдная, строгая, въ лавровомъ вѣнкѣ, съ опущенными вѣками,

голова императора стала медленно выдвигаться изъ-за развалины...

На языкѣ человѣческомъ нѣту словъ для выраженія ужаса, который сжалъ мое сердце. Мнѣ казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы — и я тотчасъ же умру.—Эллисъ!—простоналъ я:—я не хочу, я не могу, не надо мнѣ Рима, грубаго, грознаго Рима... Прочь, прочь отсюда!

— Малодушный!—шепнула она—и мы умчались. Я успѣлъ еще услыхать за собою желѣзный, громовый на этотъ разъ, крикъ легіоновъ... потомъ все потемнѣло.

XIV.

— Оглянись,—сказала мнѣ Эллисъ:—и успокойся.

Я послушался — и, помню, первое мое впечатлѣніе было до того сладостно, что я могъ только вздохнуть. Какой-то дымчато-голубой, серебристо-мягкій — не то свѣтъ, не то туманъ—обливалъ меня со всѣхъ сторонъ. Сперва я не различалъ ничего: меня слѣпилъ этотъ лазоревый блескъ — но вотъ понемногу начали выступать очертанія прекрасныхъ горъ, лѣсовъ; озеро раскинулось подо мною съ дрожавшими въ глубинѣ звѣздами, съ ласковымъ ропотомъ прибоя. Запахъ померанцевъ обдалъ меня волной—и вмѣстѣ съ нимъ, и тоже какъ-будто волною, принеслись сильные, чистые звуки молодого женскаго голоса. Этотъ запахъ, эти звуки такъ и потянули меня внизъ—и я началъ спускаться... спускаться къ роскошному мраморному дворцу, привѣтно бѣлѣвшему среди кипарисной рощи. Звуки лились изъ его настежъ раскрытыхъ оконъ; волны озера, усѣяннаго пылью цвѣтовъ, плескались въ его стѣны—и прямо напротивъ, весь одѣ-

тый темной зелснью померанцевъ и лавровъ, весь облитый лучезарнымъ паромъ, весь усѣянный статуями, стройными колоннами, портиками храмовъ, поднимался изъ лона водъ высокій, круглый островъ...

— Isola Bella!—проговорила Эллисъ...—Lago Maggiore...

Я промолвилъ только: а! и продолжалъ спускаться. Женскій голосъ все громче, все ярче раздавался во дворцѣ; меня влекло къ нему неотразимо... я хотѣлъ взглянуть въ лицо пѣвицѣ, оглашавшей такими звуками такую ночь. Мы остановились передъ окномъ.

Посреди комнаты, убранной въ помпейяновскомъ вкусѣ и болѣе похожей на древнюю храмину, чѣмъ на новѣйшую залу, окруженная греческими изваяніями, этрусскими вазами, рѣдкими растеніями, дорогими тканями, освѣщенная сверху мягкими лучами двухъ лампъ, заключенныхъ въ хрустальные шары—сидѣла за фортепьянами молодая женщина. Слегка закинувъ голову и до половины закрывъ глаза, она пѣла итальянскую арію; она пѣла и улыбалась, и въ то же время черты ея выражали важность, даже строгость... признакъ полнаго наслажденія! Она улыбалась... и Праксителевъ Фавнъ, лѣнивый, молодой какъ она, изнѣженный, сладострастный, тоже. казалось, улыбался ей изъ угла, изъ-за вѣтвей олеандра, сквозь тонкій дымъ, поднимавшійся съ бронзовой курильницы на древнемъ треножникѣ. Красавица была одна. Очарованный звуками, красотою, блескомъ и благовоніемъ ночи, потрясенный до глубины сердца зрѣлищемъ этого молодого, спокойнаго, свѣтлаго счастія, я позабылъ совершенно о моей спутницѣ, забылъ о томъ, какимъ страннымъ образомъ я сталъ свидѣтелемъ этой столь отдаленной, столь чуждой мнѣ жизни—и я хотѣлъ уже ступить на окно, хотѣлъ заговорить...

Все мое тѣло вздрогнуло отъ сильнаго толчка — точно я коснулся лейденской банки. Я оглянулся... Лицо Эллисъ было—при всей своей прозрачности—мрачно и грозно; въ ея внезапно раскрывшихся глазахъ тускло горѣла злоба...

— Прочь!—бѣшено шепнула она, и снова вихрь и мракъ, и головокруженіе... Только на этотъ разъ не крикъ легіоновъ, а голосъ пѣвицы, оборванный на высокой нотѣ, остался у меня въ ушахъ...

Мы остановились. Высокая нота, та же нота, все звенѣла и не переставала звенѣть, хотя я чувствовалъ совсѣмъ другой воздухъ, другой запахъ... На меня вѣяло крѣпительной свѣжестью, какъ отъ большой рѣки — и пахло сѣномъ, дымомъ, коноплей. За долго-протянутой нотой послѣдовала другая, потомъ третья, но съ такимъ несомнѣннымъ оттѣнкомъ, съ такимъ знакомымъ, роднымъ переливомъ, что я тотчасъ же сказалъ себѣ: „это русскій человѣкъ поетъ русскую пѣсню“—и въ то же мгновенье мнѣ все кругомъ стало ясно.

XV.

Мы находились надъ плоскимъ берегомъ. Налѣво тянулись, терялись въ безконечность скошенные луга, уставленные громадными скирдами; направо, въ такую же безконечность уходила ровная гладь великой, многоводной рѣки. Недалеко отъ берега большія, темныя барки тихонько переваливались на якоряхъ, слегка двигая остріями своихъ мачтъ, какъ указательными перстами. Съ одной изъ этихъ барокъ долетали до меня звуки разливистаго голоса, и на ней же горѣлъ огонекъ, дрожа и покачиваясь въ водѣ своимъ длиннымъ, краснымъ от-

раженьемъ. Кое-гдѣ, и на рѣкѣ и въ поляхъ, непонятно для глаза: близко ли, далеко ли—мигали другіе огоньки; они то жмурились, то вдругъ выдвигались лучистыми крупными точками: безчисленные кузнечики немолчно стрекотали, не хуже лягушекъ понтійскихъ болотъ—и подъ безоблачнымъ, но низко нависшимъ, темнымъ небомъ изрѣдка кричали невѣдомыя птицы.

— Мы въ Россіи?—спросилъ я Эллисъ.

— Это Волга,—отвѣчала она.

Мы понеслись вдоль берега.—Отчего ты меня вырвала оттуда, изъ того прекраснаго края?—началъ я.—Завидно тебѣ стало, что ли? Ужъ не ревность ли въ тебѣ пробудилась?

Губы Эллисъ чуть-чуть дрогнули, и въ глазахъ опять мелькнула угроза... Но все лицо тотчасъ же вновь оцѣпенѣло.

— Я хочу домой,—проговорилъ я.

— Погоди, погоди,—отвѣчала Эллисъ.—Теперешняя ночь—великая ночь. Она не скоро вернется. Ты можешь быть свидѣтелемъ... Погоди.

И мы вдругъ полетѣли черезъ Волгу, въ косвенномъ направленіи, надъ самой водой, низко и порывисто, какъ ласточки передъ бурей. Широкія волны тяжко журчали подъ нами, рѣзкій рѣчной вѣтеръ билъ насъ своимъ холоднымъ, сильнымъ крыломъ... высокій правый берегъ скоро началъ воздыматься передъ нами въ полумракѣ. Показались крутыя горы съ большими разсѣлинами. Мы приблизились къ нимъ.

— Крикни: Сарынь на кичку!—шепнула мнѣ Эллисъ.

Я вспомнилъ ужасъ, испытанный мною при появленіи римскихъ призраковъ, я чувствовалъ усталость и какую-то странную тоску, словно сердце во мнѣ таяло — я не хотѣлъ произнести роковыя слова, я зналъ заранѣе,

что въ отвѣтъ на нихъ появится, какъ въ Волчьей-Долинѣ Фрейшюца, что-то чудовищное,—но губы мои раскрылись противъ воли и я закричалъ, тоже противъ воли, слабымъ, напряженнымъ голосомъ: „Сарынь на кичку!“.

XVI.

Сперва все осталось безмолвнымъ, какъ и передъ римской развалиной,—но вдругъ возлѣ самаго моего уха раздался грубый бурлацкій смѣхъ—и что-то со стономъ упало въ воду и стало захлебываться... Я оглянулся: никого нигдѣ не было видно,—но съ берега отпрянуло эхо—и разомъ и отовсюду поднялся оглушительный гамъ. Чего только не было въ этомъ хаосѣ звуковъ: крики и визги, яростная ругань и хохотъ, хохотъ пуще всего, удары веселъ и топоровъ, трескъ какъ отъ взлома дверей и сундуковъ, скрыпъ снастей и колесъ и лошадиное скаканіе, звонъ набата и лязгъ цѣпей, гулъ и ревъ пожара, пьяныя пѣсни и скрежещущая скороговорка, неутѣшный плачъ, моленіе жалобное, отчаянное,—и повелительныя восклицанья, предсмертное хрипѣнье и удалой посвистъ, гарканье и топотъ пляски... „Бей! вѣшай! топи! рѣжь! любо! любо! такъ! не жалѣй!“—слышалось явственно, — слышалось даже прерывистое дыханіе запыхавшихся людей,—а между тѣмъ, кругомъ, насколько глазъ доставалъ, ничего не показывалось, ничего не измѣнялось: рѣка катилась мимо, таинственно, почти угрюмо; самый берегъ казался пустыннѣй и одичалѣй — и только.

Я обратился къ Эллисъ, но она положила палецъ на губы...

— Степанъ Тимофѣичъ! Степанъ Тимофѣичъ идетъ! —зашумѣло вокругъ, — идетъ нашъ батюшка, атаманъ нашъ, нашъ кормилецъ!—Я по прежнему ничего не видѣлъ, но мнѣ внезапно почудилось, какъ-будто громадное тѣло надвигается прямо на меня...—Фролка! гдѣ ты, песъ?—загремѣлъ страшный голосъ.—Зажигай со всѣхъ концовъ—да въ топоры ихъ, бѣлоручекъ!

На меня пахнуло жаромъ близкаго пламени, горькой гарью дыма—и въ то же мгновенье что-то теплое, словно кровь, брызнуло мнѣ въ лицо и на руки... Дикій хохотъ грянулъ кругомъ...

Я лишился чувствъ—и когда опомнился, мы съ Эллисъ тихо скользили вдоль знакомой опушки моего лѣса, прямо къ старому дубу...

— Видишь ту дорожку? — сказала мнѣ Эллисъ,— тамъ, гдѣ мѣсяцъ тускло свѣтитъ и свѣсились двѣ березки?... Хочешь туда?

Но я чувствовалъ себя до того разбитымъ и истощеннымъ, что могъ только проговорить въ отвѣтъ:—домой... домой!...

— Ты дома,—отвѣчала Эллисъ.

Я дѣйствительно стоялъ передъ самой дверью моего дома—одинъ. Эллисъ исчезла. Дворовая собака подошла было, подозрительно оглянула меня—и съ воемъ бросилась прочь.

Я съ трудомъ дотащился до постели и заснулъ, не раздѣваясь.

XVII.

Все слѣдующее утро у меня голова болѣла, и я едва передвигалъ ноги; но я не обращалъ вниманія на тѣ-

лесное мое разстройство; раскаяніе меня грызло, досада душила.

Я былъ до крайности недоволенъ собою. „Малодушный! — твердилъ я безпрестанно: — да — Эллисъ права. Чего я испугался? какъ было не воспользоваться случаемъ?... Я могъ увидѣть самого Цезаря — и я замеръ отъ страха, я запищалъ, я отвернулся какъ ребенокъ отъ розги. Ну Разинъ — это дѣло другое. Въ качествѣ дворянина и землевладѣльца... Впрочемъ и тутъ, чего же я собственно испугался? Малодушный, малодушный!“...

— Да ужъ не во снѣ ли я все это вижу? — спросилъ я себя наконецъ. Я позвалъ ключницу.

— Марѳа, въ которомъ часу я легъ вчера въ постель — не помнишь?

— Да кто-жъ тебя знаетъ, кормилецъ... Чай, поздно. Въ сумеречки ты изъ дома вышелъ; а въ спальнѣ-то ты каблучищами-то за полночь стукалъ. Подъ самое подъ утро — да. Вотъ и третьяго дня то-жъ. Знать, забота у тебя завелась какая.

„Эге-ге! — подумалъ я. — Летанье-то, значитъ, не подлежитъ сомнѣнію“. — Ну, а съ лица я сегодня каковъ? — прибавилъ я громко.

— Съ лица-то? Дай, погляжу. Осунулся маленько. Да и блѣденъ же ты, кормилецъ: вотъ какъ есть ни кровинки въ лицѣ.

Меня слегка покоробило... Я отпустилъ Марѳу.

„Вѣдь этакъ умрешь, пожалуй, или сойдешь съ ума“, разсуждалъ я, сидя въ раздумьѣ подъ окномъ. „Надо это все бросить. Это опасно. Вонъ и сердце какъ странно бьется. А когда я летаю, мнѣ все кажется, что его кто-то сосетъ, или какъ-будто изъ него что-то сочится — вотъ какъ весной сокъ изъ березы, если воткнуть въ нее топоръ. А все-таки жалко. Да и Эллисъ... Она играетъ со

мною какъ кошка съ мышью... а впрочемъ едва ли она желаетъ мнѣ зла. Отдамся ей въ послѣдній разъ — нагляжусь — а тамъ... Но если она пьетъ мою кровь? Это ужасно. Притомъ такое быстрое передвиженіе не можетъ не быть вреднымъ; говорятъ и въ Англіи, на желѣзныхъ дорогахъ, запрещено ѣхать болѣе 120 верстъ въ часъ..."

Такъ я размышлялъ съ самимъ собою—но въ десятомъ часу вечера я уже стоялъ передъ старымъ дубомъ.

XVIII.

Ночь была холодная, тусклая, сѣрая; въ воздухѣ пахло дождемъ. Къ удивленію моему, я никого не нашелъ подъ дубомъ; я прошелся нѣсколько разъ вокругъ, доходилъ до опушки лѣса, возвращался, тщательно вглядывался въ темноту... Все было пусто. Я подождалъ немного, потомъ нѣсколько разъ сряду произнесъ имя Эллисъ все громче и громче... но она не появлялась. Мнѣ стало грустно, почти больно; прежнія мои опасенья исчезли: я не могъ примириться съ мыслью, что моя спутница уже не вернется ко мнѣ.

— Эллисъ! Эллисъ! приди же! Неужели ты не придешь? —закричалъ я въ послѣдній разъ.

Воронъ, котораго мой голосъ разбудилъ, внезапно завозился въ вершинѣ сосѣдняго дерева и, путаясь въ вѣтвяхъ, захлопалъ крыльями... Но Эллисъ не появлялась.

Понуривъ голову, я отправился домой. Впереди уже чернѣли ракиты на плотинѣ пруда, и свѣтъ въ окнѣ моей комнаты мелькнулъ между яблонями сада, мелькнулъ и скрылся, словно глазъ человѣка, который бы меня караулилъ—какъ вдругъ сзади меня послышался тонкій

свистъ быстро разсѣкаемаго воздуха, и что-то разомъ обняло и подхватило меня снизу вверхъ: кобчикъ такъ подхватываетъ когтемъ, „чокаетъ“ перепела... Это Эллисъ на меня налетѣла. Я почувствовалъ ея щеку на моей щекѣ, кольцо ея руки вокругъ моего тѣла—и какъ острый холодокъ вонзился мнѣ въ ухо ея шопотъ: „вотъ и я“. Я и испугался, и обрадовался въ одно и то же время... Мы неслись невысоко надъ землей.

— Ты не хотѣла придти сегодня? — промолвилъ я.

— А ты соскучился по мнѣ? Ты меня любишь? О, ты мой!

Послѣднія слова Эллисъ меня смутили... Я не зналъ, что́ сказать.

— Меня задержали,—продолжала она,—меня караулили.

— Кто могъ тебя задержать?

— Куда ты хочешь?—спросила Эллисъ, по обыкновенію не отвѣчая на мой вопросъ.

— Понеси меня въ Италію, къ тому озеру — помнишь?

Эллисъ слегка отклонилась и отрицательно покачала головой. Тутъ я въ первый разъ замѣтилъ, что она перестала быть прозрачной. И лицо ея какъ-будто окрасилось; по туманной его бѣлизнѣ разливался алый оттѣнокъ. Я взглянулъ въ ея глаза .. и мнѣ стало жутко: въ этихъ глазахъ что-то двигалось — медленнымъ, безостановочнымъ и зловѣщимъ движеніемъ свернувшейся и застывшей змѣи, которую начинаетъ отогрѣвать солнце.

— Эллисъ!—воскликнулъ я:—кто ты? Скажи же мнѣ, кто ты?

Эллисъ только плечомъ пожала.

Мнѣ стало досадно... мнѣ захотѣлось отомстить ей,— и вдругъ мнѣ пришло на умъ велѣть ей перенестись со

мною въ Парижъ. „Вотъ ужъ гдѣ придется тебѣ ревновать“, подумалъ я.—Эллисъ!—промолвилъ я вслухъ: — ты не боишься большихъ городовъ, Парижа, напримѣръ?

— Нѣтъ.

— Нѣтъ? Даже тѣхъ мѣстъ, гдѣ такъ свѣтло, какъ на бульварахъ?

— Это не дневной свѣтъ.

— Прекрасно; такъ неси же меня сейчасъ на Италіянскій бульваръ.

Эллисъ накинула мнѣ на голову конецъ своего длиннаго висячаго рукава. Меня тотчасъ охватила какая-то бѣлая мгла, съ снотворнымъ запахомъ мака. Все исчезло разомъ: всякій свѣтъ, всякій звукъ—и самое почти сознаніе. Одно ощущеніе жизни осталось—и это не было непріятно.

Внезапно мгла исчезла; Эллисъ сняла рукавъ съ моей головы, и я увидѣлъ подъ собою громаду столпившихся зданій, полную блеска, движенія, грохота... Я увидѣлъ Парижъ.

XIX.

Я прежде бывалъ въ Парижѣ, и потому тотчасъ узналъ мѣсто, къ которому направлялась Эллисъ. Это былъ Тюльерійскій садъ, съ его старыми каштановыми деревьями, желѣзными рѣшотками, крѣпостнымъ рвомъ и звѣроподобными зуавами на часахъ. Минуя дворецъ, минуя церковь св. Роха, на ступеняхъ которой первый Наполеонъ въ первый разъ пролилъ французскую кровь, мы остановились высоко надъ Италіянскимъ бульваромъ, гдѣ третій Наполеонъ сдѣлалъ то же самое, и съ тѣмъ же

успѣхомъ. Толпы народа, молодые и старые щеголи, блузники, женщины въ пышныхъ платьяхъ, тѣснились по панелямъ: раззолоченные рестораны и кофейныя горѣли огнями; омнибусы, кареты всѣхъ родовъ и видовъ сновали вдоль бульвара; все такъ и кипѣло, такъ и сіяло, все, куда ни падалъ взоръ... Но, странное дѣло! мнѣ не захотѣлось покинуть мою чистую, темную, воздушную высь, не захотѣлось приблизиться къ этому человѣческому муравейнику. Казалось, горячій, тяжелый, рдяный паръ поднимался оттуда, не то пахучій, не то смрадный: ужъ очень много жизней сбилось тамъ въ одну кучу. Я колебался... Но вотъ рѣзкій, какъ лязгъ желѣзныхъ полосъ, голосъ уличной лоретки внезапно долетѣлъ до меня; какъ наглый языкъ, высунулся онъ наружу, этотъ голосъ; онъ кольнулъ меня, какъ жало гадины. Я тотчасъ представилъ себѣ каменное, скулистое, жадное, плоское парижское лицо, ростовщичьи глаза, бѣлила, румяны, взбитые волосы и букетъ яркихъ поддѣльныхъ цвѣтовъ подъ остроконечной шляпой, выскребленные ногти въ родѣ когтей, безобразный кринолинъ... Я представилъ себѣ также и нашего брата степняка, бѣгущаго дрянной припрыжкой за продажной куклой... Я представилъ себѣ какъ онъ, конфузясь до грубости и насильственно картавя, старается подражать въ манерахъ гарсонамъ Вефура, пищитъ, подслуживается, юлитъ — и чувство омерзѣнія охватило меня... „Нѣтъ“, подумалъ я, „здѣсь Эллисъ ревновать не придется“...

Между тѣмъ я замѣтилъ, что мы понемногу начали понижаться... Парижъ вздымался къ намъ на встрѣчу со всѣмъ своимъ гамомъ и чадомъ...

— Остановись!—обратился я къ Эллисъ.—Неужели тебѣ не душно здѣсь, не тяжело?

— Ты самъ просилъ меня перенести тебя сюда.

— Я виноватъ, я беру назадъ свое слово. Неси меня прочь, Эллисъ, прошу тебя. Такъ и есть: вотъ и князь Кульмаметовъ ковыляетъ по бульвару, и другъ его, Сержъ Вараксинъ машетъ ему ручкой и кричитъ: „Иванъ Степанычъ, аллонъ супэ, скорѣй, же анганже самое Ригольбошъ“! Неси меня прочь отъ этихъ мабилей и мезонъ-доре, отъ ганденовъ и бишей, отъ жокей-клуба и Фигаро, отъ выбритыхъ солдатскихъ лбовъ и вылощенныхъ казармъ, отъ сержандевилей съ эспаньолками и стакановъ мутнаго абсенту, отъ игроковъ въ домино по кофейнымъ и игроковъ на биржѣ, отъ красныхъ ленточекъ въ петлицѣ сюртука и въ петлицѣ пальто, отъ господина де-Фуа, изобрѣтателя „спеціальности браковъ“ и даровыхъ консультацій д-ра Шарля Альбера, отъ либеральныхъ лекцій и правительственныхъ брошюръ, отъ парижскихъ комедій и парижскихъ оперъ, отъ парижскихъ остротъ и парижскаго невѣжества... Прочь! прочь! прочь!

— Взгляни внизъ,—отвѣчала мнѣ Эллисъ:—ты уже не надъ Парижемъ.

Я опустилъ глаза... Точно. Темная равнина, кой-гдѣ пересѣченная бѣловатыми чертами дорогъ, быстро бѣжала подъ нами, и только назади, на небосклонѣ, какъ зарево огромнаго пожара, било кверху широкое отраженіе безчисленныхъ огней міровой столицы.

XX.

Опять упала пелена на глаза мои... Опять я забылся. Она разсѣялась наконецъ.

Что это тамъ внизу? Какой это паркъ съ аллеями стриженныхъ липъ, съ отдѣльными елками въ видѣ зон-

тиковъ, съ портиками и храмами во вкусѣ помпадуръ, съ изваяніями сатировъ и нимфъ Бернініевской школы, съ тритонами рококо на срединѣ изогнутыхъ прудовъ, окаймленныхъ низкими перилами изъ почернѣвшаго мрамора? Не Версаль ли это? Нѣтъ, это не Версаль. Небольшой дворецъ, тоже рококо, выглядываетъ изъ-за купы кудрявыхъ дубовъ. Луна неясно свѣтитъ, окутанная паромъ, и по землѣ какъ-будто разостлался тончайшій дымъ. Глазъ не можетъ разобрать, что̀ это такое: лунный свѣтъ или туманъ? Вонъ на одномъ изъ прудовъ спитъ лебедь: его длинная спина бѣлѣетъ какъ снѣгъ степей, прохваченныхъ морозомъ, а вонъ свѣтляки горятъ алмазами въ голубоватой тѣни у подножья статуй.

— Мы возлѣ Мангейма, — промолвила Эллисъ: — это Швецингенскій садъ.

— Такъ мы въ Германіи! — подумалъ я и началъ прислушиваться. Все было безмолвно; только гдѣ-то уединенно и незримо плескалась и болтала струйка падавшей воды. Казалось, она твердила все одни и тѣ же слова: „Да, да, да, всегда, да“. И вдругъ мнѣ почудилось, какъ-будто по самой серединѣ одной изъ аллей, между стѣнами стриженой зелени, жеманно подавая руку дамѣ въ напудренной прическѣ и пестромъ робронѣ, выступалъ на красныхъ каблукахъ кавалеръ, въ золоченомъ кафтанѣ и кружевныхъ манжеткахъ, съ легкой стальной шпагой на бедрѣ... Странныя, блѣдныя лица... Я хочу вглядѣться въ нихъ... Но уже все исчезло, и только попрежнему болтаетъ вода.

— Это сны бродятъ, — шепнула Эллисъ: — вчера можно было увидѣть много... много. Сегодня и сны бѣгутъ человѣческаго глаза. Впередъ! Впередъ!

Мы поднялись кверху и полетѣли дальше. Такъ плавенъ и ровенъ былъ нашъ полетъ, что, казалось, не мы

двигались, а все, напротивъ, къ намъ двигалось на встрѣчу. Появились горы, темныя, волнистыя, покрытыя лѣсомъ; онѣ выросли и поплыли на насъ... Вотъ уже онѣ протекаютъ подъ нами со всѣми своими извилинами, ложбинами, узкими лугами, съ огненными точками въ заснувшихъ деревушкахъ у быстрыхъ ручьевъ на днѣ долинъ; а впереди опять выростаютъ и плывутъ другія горы... Мы въ нѣдрахъ Шварцвальда.

Горы, все горы... и лѣсъ, прекрасный, старый, могучій лѣсъ. Ночное небо ясно: я могу признать каждую породу деревьевъ; особенно великолѣпны пихты съ ихъ бѣлыми, прямыми стволами. Кое-гдѣ на опушкахъ виднѣются дикія козы; стройно и чутко стоятъ онѣ на своихъ тонкихъ ножкахъ и прислушиваются, красиво повернувъ головы и насторживъ большія трубчатыя уши. Развалина башни печально и слѣпо выставляетъ съ вершины голаго утеса свои полуобрушенные зубцы; надъ старыми забытыми камнями мирно теплится золотая звѣздочка. Изъ небольшого, почти чернаго озера поднимается, какъ таинственная жалоба, стенящее уканіе маленькихъ жабъ. Мнѣ чудятся другіе звуки, длинные, томные, подобные звукамъ эоловой арфы... Вотъ она, страна легендъ! Тотъ же самый тонкій лунный дымъ, который поразилъ меня въ Швецингенѣ, разлитъ здѣсь повсюду, и чѣмъ дальше расходятся горы, тѣмъ гуще этотъ дымъ. Я насчитываю пять, шесть, десять различныхъ тоновъ, различныхъ пластовъ тѣни по уступамъ горъ, и надъ всѣмъ этимъ безмолвнымъ разнообразіемъ задумчиво царитъ луна. Воздухъ струится мягко и легко. Мнѣ самому легко и какъ-то возвышенно спокойно и грустно...

— Эллисъ, ты должна любить этотъ край!

— Я ничего не люблю.

— Какъ же это? А меня?

— Да... тебя!—отвѣчаетъ она равнодушно.

Мнѣ сдается, что ея рука тѣснѣе прежняго обвиваетъ мой станъ.

— Впередъ! Впередъ!—говоритъ Эллисъ съ какимъ-то холоднымъ увлеченьемъ.

— Впередъ!—повторяю я.

XXI.

Сильный, переливчатый, звонкій крикъ раздался внезапно надъ нами и тотчасъ же повторился уже немного впереди.

— Это запоздалые журавли летятъ къ вамъ на сѣверъ, — сказала Эллисъ: — хочешь къ нимъ присоединиться?

— Да, да! подними меня къ нимъ.

Мы взвились и въ одинъ мигъ очутились рядомъ съ пролетавшей станицей.

Крупныя, красивыя птицы (ихъ всего было тринадцать) летѣли трехугольникомъ, рѣзко и рѣдко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянувъ голову и ноги, круто выставивъ грудь, онѣ стремились неудержимо и до того быстро, что воздухъ свисталъ вокругъ. Чудно было видѣть на такой вышинѣ, въ такомъ удаленіи отъ всего живого такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая побѣдоносно разсѣкать пространство, журавли изрѣдка перекликались съ передовымъ товарищемъ, съ вожакомъ, и было что-то гордое, важное, что-то несокрушимо-самоувѣренное въ этихъ громкихъ возгласахъ, въ этомъ подоблачномъ разговорѣ. „Мы долетимъ, небось, хоть и трудно,“ казалось, говорили они, ободряя другъ друга. И тутъ мнѣ пришло

въ голову, что такихъ людей, каковы были эти птицы— въ Россіи—гдѣ въ Россіи! въ цѣломъ свѣтѣ немного.

— Мы теперь летимъ въ Россію, - промолвила Эллисъ. Я уже не въ первый разъ могъ замѣтить, что она почти всегда знала, о чемъ я думаю. —Хочешь вернуться?

— Вернемся... или нѣтъ! Я былъ въ Парижѣ; неси меня въ Петербургъ.

— Теперь?

— Сейчасъ... Только закрой мнѣ голову твоей пеленой, а то мнѣ дурно дѣлается.

Эллисъ подняла руку... но прежде чѣмъ туманъ охватилъ меня, я успѣлъ почувствовать на губахъ моихъ прикосновеніе того мягкаго, тупого жала...

XXII.

„Слуша-а-а-а-ай!“ раздался въ ушахъ моихъ протяжный крикъ. „Слуша-а-а-а-ай!“ словно съ отчаяніемъ отозвалось въ отдаленіи. „Слуша-а-а-а-ай!“ замерло гдѣ-то на концѣ свѣта. Я встрепенулся. Высокій золотой шпиль бросился мнѣ въ глаза: я узналъ Петропавловскую крѣпость.

Сѣверная, блѣдная ночь! Да и ночь ли это? Не блѣдный, не больной ли это день? Я никогда не любилъ петербургскихъ ночей; но на этотъ разъ мнѣ даже страшно стало: обликъ Эллисъ исчезалъ совершенно, таялъ, какъ утренній туманъ на іюльскомъ солнцѣ, и я ясно видѣлъ все свое тѣло, какъ оно грузно и одиноко висѣло въ уровень Александровской колонны. Такъ вотъ Петербургъ! Да, это онъ, точно. Эти пустыя, широкія, сѣрыя улицы; эти сѣро-бѣловатые, желто-сѣрые, сѣро-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, съ ихъ

впалыми окнами, яркими вывѣсками, желѣзными навѣсами надъ крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колоды; золотая шапка Исаакія; ненужная, пестрая биржа; гранитныя стѣны крѣпости и взломанная деревянная мостовая; эти барки съ сѣномъ и дровами; этотъ запахъ пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменѣлые дворники въ тулупахъ у воротъ, эти скорченные мертвеннымъ сномъ извощики на продавленныхъ дрожкахъ,—да, это она, наша Сѣверная Пальмира. Все видно кругомъ; все ясно, до жуткости четко и ясно, и все печально спитъ, странно громоздясь и рисуясь въ тускло-прозрачномъ воздухѣ. Румянецъ вечерней зари—чахоточный румянецъ—не сошелъ еще, и не сойдетъ до утра съ бѣлаго, беззвѣзднаго неба; онъ ложится по шелковистой глади Невы, а она чуть журчитъ и чуть колышется, торопя впередъ свои холодныя, синія воды...

— Улетимъ,—взмолилась Эллисъ.

И не дожидаясь моего отвѣта, она понесла меня черезъ Неву, черезъ дворцовую площадь, къ Литейной. Шаги и голоса послышались внизу: по улицѣ шла кучка молодыхъ людей съ испитыми лицами и толковала о танцклассахъ. „Подпоручикъ Столпаковъ седьмой!“ крикнулъ вдругъ съ просонку солдатъ, стоявшій на часахъ у пирамидки ржавыхъ ядеръ, а нѣсколько подальше, у раскрытаго окна высокаго дома, я увидѣлъ дѣвицу въ измятомъ шолковомъ платьѣ, безъ рукавчиковъ, съ жемчужной сѣткой на волосахъ и съ папироской во рту. Она благоговѣйно читала книгу: это былъ томъ сочиненій одного изъ новѣйшихъ Ювеналовъ.

— Улетимъ!—сказалъ я Эллисъ.

Минута, и уже мелькали подъ нами гнилые еловые лѣсишки и моховыя болота, окружающія Петербургъ.

Мы направлялись прямо къ югу: небо и земля, все становилось понемногу темнѣй и темнѣй. Больная ночь, больной день, больной городъ—все осталось назади.

XXIII.

Мы летѣли тише обыкновеннаго, и я имѣлъ возможность услѣдить глазами, какъ постепенно развертывалось передо мною, подобно свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Лѣса, кусты, поля, овраги, рѣки—изрѣдка деревни, церкви—и опять поля, и лѣса, и кусты, и овраги... Грустно стало мнѣ, и какъ-то равнодушно скучно. И не потому стало мнѣ грустно и скучно, что пролеталъ я именно надъ Россіей. Нѣтъ! Сама земля, эта плоская поверхность, которая разстилалась подо мною; весь земной шаръ съ его населеніемъ, мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбѣ презрѣннаго праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этотъ наростъ на огненной песчинкѣ нашей планеты, по которому проступила плѣсень, величаемая нами органическимъ, растительнымъ царствомъ; эти люди-мухи, въ тысячу разъ ничтожнѣе мухъ; ихъ слѣпленныя изъ грязи жилища, крохотные слѣды ихъ мелкой, однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ неизмѣняемымъ и неизбѣжнымъ,—какъ это мнѣ вдругъ все опротивѣло! Сердце во мнѣ медленно перевернулось, и не захотѣлось мнѣ болѣе глазѣть на эти незначительныя картины, на эту пошлую выставку... Да, мнѣ стало скучно—хуже, чѣмъ скучно. Даже жалости я не ощущалъ къ своимъ собратьямъ: всѣ чувства во мнѣ потонули въ одномъ, которое я назвать едва дерзаю: въ чувствѣ отвращенія, и сильнѣе всего, и болѣе всего во мнѣ было отвращеніе—къ самому себѣ.

— Перестань,—шепнула Эллисъ:—перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжелъ становишься.

— Ступай домой,—отвѣчалъ я ей тѣмъ же голосомъ, какимъ я говаривалъ эти слова моему кучеру, выходя въ четвертомъ часу ночи отъ московскихъ пріятелей, съ которыми съ самаго обѣда толковалъ о будущности Россіи и значеніи общины.—Ступай домой,—повторилъ я и закрылъ глаза.

XXIV.

Но я скоро раскрылъ ихъ. Эллисъ какъ-то странно мнѣ прижималась; она почти толкала меня. Я посмотрѣлъ на нее и кровь во мнѣ застыла. Кому случалось увидать на лицѣ другого внезапное выраженіе глубокаго ужаса, причину котораго онъ не подозрѣваетъ—тотъ меня пойметъ. Ужасъ, томительный ужасъ кривилъ, искажалъ блѣдныя, почти стертыя черты Эллисъ. Я не видалъ ничего подобнаго даже на живомъ человѣческомъ лицѣ. Безжизненный, туманный призракъ, тѣнь... и этотъ замирающій страхъ...

— Эллисъ, что съ тобой?—проговорилъ я наконецъ.

— Она... она...—отвѣчала она съ усиліемъ,—она!

— Она? Кто она?

— Не называй ее, не называй,—торопливо пролепетала Эллисъ.—Надо спасаться, а то всему конецъ—и навсегда... Посмотри: вонъ тамъ!

Я обернулъ голову въ сторону, куда указывала мнѣ трепещущая рука — и увидалъ нѣчто... нѣчто дѣйствительно страшное.

Это нѣчто было тѣмъ страшнѣе, что не имѣло опредѣленнаго образа. Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, какъ брюхо ящерицы — не туча и не

дымъ, медленно, змѣинымъ движеніемъ, двигалось надъ землей. Мѣрное, широкое колебаніе сверху внизъ и снизу вверхъ, колебаніе, напоминающее зловѣщій размахъ крыльевъ хищной птицы, когда она ищетъ свою добычу; по временамъ неизъяснимо противное приниканіе къ землѣ, — паукъ такъ приникаетъ къ пойманной мухѣ... Кто ты, что ты, грозная масса? Подъ ея вліяніемъ — я это видѣлъ, я это чувствовалъ — все уничтожалось, все нѣмѣло... Гнилымъ, тлетворнымъ холодкомъ несло отъ нея — отъ этого холодка тошнило на сердцѣ и въ глазахъ темнѣло и волосы вставали дыбомъ. Это сила шла; та сила, которой нѣтъ сопротивленія, которой все подвластно, которая безъ зрѣнія, безъ образа, безъ смысла — все видитъ, все знаетъ, и какъ хищная птица выбираетъ свои жертвы, какъ змѣя ихъ давитъ и лижетъ своимъ мерзлымъ жаломъ...

— Эллисъ! Эллисъ! — закричалъ я какъ изступленный.—Это смерть! сама смерть!

Жалобный звукъ, уже прежде слышанный мною, вырвался изъ устъ Эллисъ — на этотъ разъ онъ скорѣе походилъ на человѣческій, отчаянный вопль — и мы понеслись. Но нашъ полетъ былъ странно и страшно неровенъ; Эллисъ кувыркалась на воздухѣ, падала, бросалась изъ стороны въ сторону, какъ куропатка, смертельно раненная или желающая отвлечь собаку отъ своихъ дѣтей. А между тѣмъ, въ слѣдъ за нами, отдѣлившись отъ неизъяснимо-ужасной массы, покатились какіе-то длинные, волнистые отпрыски, словно протянутыя руки, словно когти... Громадный образъ закутанной фигуры на блѣдномъ конѣ мгновенно всталъ и взвился подъ самое небо... Еще тревожнѣе, еще отчаяннѣе заметалась Эллисъ. „Она увидала! Все кончено! Я пропала!..“ слышался ея прерывистый шопотъ. „О, я несчастная! Я могла бы восполь-

зоваться, набраться жизни... а теперь... Ничтожество, ничтожество!"

Это было слишкомъ невыносимо... Я лишился чувствъ.

XXV.

Когда я опомнился—я лежалъ навзничъ въ травѣ и чувствовалъ во всемъ тѣлѣ глухую боль, какъ отъ сильнаго ушиба. На небѣ брезжило утро: я могъ ясно различать предметы. Невдалекѣ, вдоль березовой рощицы, шла дорога, усаженная ракитами: мѣста мнѣ казались знакомыя. Я началъ припоминать, что произошло со мною—и содрогнулся весь, какъ только пришло мнѣ на умъ то послѣднее, безобразное видѣніе...

„Но чего же испугалась Эллисъ?" подумалъ я. „Ужели и она подлежитъ *ея* власти? Развѣ она не безсмертна? Развѣ и она обречена ничтожеству, разрушенію? Какъ это возможно?"

Тихій стонъ раздался вблизи. Я повернулъ голову. Въ двухъ шагахъ отъ меня недвижно лежала распростертая молодая женщина въ бѣломъ платьѣ, съ разбросанными густыми волосами, съ обнаженнымъ плечомъ. Одна рука закинулась на голову, другая упала на грудь. Глаза были закрыты, и на стиснутыхъ губахъ выступила легкая алая пѣна. Неужели это Эллисъ? Но Эллисъ — призракъ, а я видѣлъ передъ собою живую женщину. Я подползъ къ ней, наклонился...

— Эллисъ? ты ли это? — воскликнулъ я. Вдругъ, медленно затрепетавъ, приподнялись широкія вѣки; темные, пронзительные глаза впились въ меня — и въ то же мгновенье въ меня впились и губы, теплыя, влажныя, съ кровянымъ запахомъ... мягкія руки крѣпко обвились вокругъ

моей шеи, горячая, полная грудь судорожно прижалась къ моей.—Прощай! прощай на вѣкъ!—явственно произнесъ замиравшій голосъ—и все исчезло.

Я приподнялся, шатаясь на ногахъ словно пьяный—и, проведя нѣсколько разъ руками по лицу, оглядѣлся внимательно. Я находился возлѣ большой ...ой дороги, въ двухъ верстахъ отъ своей усадьбы. Солнце уже встало, когда я добрался домой.

Всѣ слѣдующія ночи я ждалъ — и, признаюсь, не безъ страха—появленія моего призрака; но онъ не посѣщалъ меня болѣе. Я даже отправился однажды въ сумерки къ старому дубу, но и тамъ не произошло ничего необыкновеннаго. Впрочемъ, я не слишкомъ жалѣлъ о прекращеніи такого страннаго знакомства. Я много и долго размышлялъ объ этомъ непонятномъ, почти безтолковомъ казусѣ — и я убѣдился, что не только наука его не объясняетъ, но что даже въ сказкахъ, въ легендахъ не встрѣчается ничего подобнаго. Что такое Эллисъ въ самомъ дѣлѣ? Привидѣніе, скитающаяся душа, злой духъ, сильфида, вампиръ, наконецъ? Иногда мнѣ опять казалось, что Эллисъ — женщина, которую я когда-то зналъ—и я дѣлалъ страшныя усилія, чтобы припомнить, гдѣ я ее видѣлъ... Вотъ, вотъ, казалось иногда — сейчасъ, сію минуту вспомню... Куда! все опять расплывалось, какъ сонъ. Да, я думалъ много и, какъ водится, ни до чего не додумался. Спросить совѣта или мнѣнія другихъ людей я не рѣшался, боясь прослыть за сумасшедшаго. Я, наконецъ, бросилъ всѣ свои размышленія: правду сказать, мнѣ было не до того. Съ одной стороны подвернулась эманципація съ разверстаніемъ угодій и пр. и пр.; а съ другой, собственное здоровье разстрои-

лось: грудь заболѣла, безсонница, кашель. Все тѣло сохнетъ. Лицо желтое какъ у мертвеца. Докторъ увѣряетъ, что у меня крови мало, называетъ мою болѣзнь греческимъ именемъ „анеміей“—и посылаетъ меня въ Гастейнъ. А посредникъ божится, что безъ меня съ крестьянами „не сообразишь...“

Вотъ тутъ и соображай!

Но что значатъ тѣ пронзительно-чистые и острые звуки, звуки гармоники, которые я слышу, какъ только заговорятъ при мнѣ о чьей-нибудь смерти? Они становятся все громче, все пронзительнѣй... И зачѣмъ я такъ мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожествѣ?

1863 г.

ДОВОЛЬНО.

Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника.

I.

. . . . . .

II.

. . . . . .

III.

Довольно,—говорилъ я самому себѣ, между тѣмъ какъ ноги мои, нехотя переступая по крутому скату горы, несли меня внизъ, къ тихой рѣчкѣ; „довольно“,—повторялъ я, вдыхая смолистый запахъ сосновой рощи, которому свѣжесть наступавшаго вечера придавала особенную крѣпость и остроту; „довольно“,—сказалъ я еще разъ, усѣвшись на моховомъ бугрѣ надъ самой рѣчкой и глядя на ея тёмныя и небыстрыя волны, надъ которыми толстый тростникъ поднималъ свои блѣдно-зеленые стебли... „Довольно!“—Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову въ обѣ руки и велѣть сердцу молчать. Полно нѣжиться сладкой нѣгой неопредѣленныхъ, но плѣнительныхъ ощущеній, полно бѣжать за каждымъ новымъ образомъ красоты, полно ловить каждое трепетаніе ея тонкихъ и сильныхъ крылъ.

—Всё извѣдано—все перечувствовано много разъ... усталъ я.—Что̀ мнѣ въ томъ, что въ это самое мгновенье заря все шире, все ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то все-побѣдною страстію? Что́ въ томъ, что въ двухъ шагахъ отъ меня, среди тишины и нѣги и блеска вечера, въ росистой глубинѣ неподвижнаго куста, соловей вдругъ сказался такими волшебными звуками, точно до него на свѣтѣ не водилось соловьевъ, и онъ первый запѣлъ первую пѣснь о первой любви? Все это было, было, повторялось, повторяется тысячу разъ—и какъ вспомнишь, что все это будетъ продолжаться такъ цѣлую вѣчность—словно по указу, по закону—даже досадно станетъ! Да... досадно!

IV.

Эхъ, состарился я! Прежде — подобныя мысли и въ голову бы мнѣ не пришли — прежде, въ тѣ счастливые дни, когда я самъ разгорался, какъ заря, и пѣлъ, какъ соловей.—Надо признаться: все потускнѣло вокругъ, вся жизнь поблекла. Свѣтъ, который даетъ ея краскамъ и значеніе, и силу, — тотъ свѣтъ, который исходитъ изъ сердца человѣка — погасъ во мнѣ... Нѣтъ, онъ еще не погасъ — но едва тлѣетъ, безъ лучей и безъ теплоты. Помнится, однажды поздней ночью, въ Москвѣ, я подошелъ къ рѣшетчатому окну старенькой церкви и прислонился къ неровному стеклу. Было темно подъ низкими сводами—позабытая лампадка едва теплилась краснымъ огонькомъ передъ древнимъ образомъ—и смутно виднѣлись однѣ только губы святого лика—строгія, скорбныя; угрюмый мракъ надвигался кругомъ и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый лучъ не-

нужнаго свѣта... И въ сердцѣ моемъ—теперь такой же свѣтъ и такой же мракъ.

V.

И это я пишу тебѣ—тебѣ, мой единственный и незабвенный другъ, тебѣ, дорогая моя подруга, которую я покинулъ навсегда, но которую не перестану любить до конца моей жизни... Увы! ты знаешь, что́ насъ разлучило. Но я не хочу теперь упоминать объ этомъ. Я тебя покинулъ... но и здѣсь, въ этой глуши, въ этой дали, въ этомъ изгнаніи—я весь проникнутъ тобою, я по прежнему въ твоей власти, по прежнему чувствую сладостное тяготѣніе твоей руки на моей склоненной головѣ! — Въ послѣдній разъ приподнимаясь изъ нѣмой могилы, въ которой я теперь лежу, я пробѣгаю кроткимъ и умиленнымъ взоромъ все мое прошедшее, все наше прошедшее... Надежды нѣтъ и нѣтъ возврата — но и горечи нѣтъ во мнѣ и нѣтъ сожалѣнья—и яснѣе небесной лазури, чище перваго снѣга на горныхъ высотахъ, возстаютъ, какъ образы умершихъ боговъ, прекрасныя воспоминанья... Они не тѣснятся толпами, они проходятъ тихой чередою, какъ тѣ закутанныя фигуры аѳинскихъ ѳеорій, которыми—помнишь? — мы такъ любовались на древнихъ барельефахъ Ватикана...

VI.

Я сейчасъ упомянулъ о свѣтѣ, который исходитъ изъ сердца человѣческаго и озаряетъ все, что его окружаетъ... Мнѣ хочется поговорить съ тобою о томъ вре-

мени, когда и въ моемъ сердцѣ горѣлъ этотъ благодатный свѣтъ. — Слушай... а я воображу, что ты сидишь передо мною и глядишь на меня твоими ласковыми и въ то же время почти до строгости внимательными глазами. О, незабвенные глаза! На кого, куда устремлены вы теперь? Кто принимаетъ въ свою душу вашъ взглядъ — этотъ взглядъ, который какъ-будто вытекаетъ изъ невѣдомой глубины, подобно тѣмъ таинственнымъ ключамъ, какъ вы, и свѣтлымъ и темнымъ, которые бьютъ на самомъ днѣ тѣсныхъ долинъ, подъ навѣсами скалъ?... Слушай.—

VII.

Это было въ концѣ марта, передъ Благовѣщеніемъ, вскорѣ послѣ того, какъ я въ первый разъ тебя увидѣлъ—и еще не подозрѣвая, чѣмъ ты станешь для меня —уже носилъ тебя въ сердцѣ — безмолвно и тайно. — Мнѣ пришлось переѣзжать одну изъ главныхъ рѣкъ Россіи. Ледъ еще не тронулся на ней — но какъ-будто вспухъ и потемнѣлъ; четвертый день стояла оттепель. Снѣгъ таялъ кругомъ — дружно, но тихо; вездѣ сочилась вода; въ рыхломъ воздухѣ бродилъ беззвучный вѣтеръ. Одинъ и тотъ же, ровный, молочный цвѣтъ обливалъ землю и небо; тумана не было — но не было и свѣта; ни одинъ предметъ не выдѣлялся на общей бѣлизнѣ; все казалось и близкимъ, и неяснымъ. Оставивъ свою кибитку далеко назади, я быстро шелъ по льду рѣчному —и кромѣ глухого стука собственныхъ шаговъ, не слышалъ ничего; я шелъ, со всѣхъ сторонъ охваченный первымъ млѣніемъ и вѣяніемъ ранней весны... и понемногу, прибавляясь съ каждымъ шагомъ, съ каждымъ движе-

ніемъ впередъ, поднималась и росла во мнѣ какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня—и такъ сильны были ея порывы, что я остановился наконецъ въ изумленіи и вопросительно посмотрѣлъ вокругъ, какъ бы желая отыскать внѣшнюю причину моего восторженнаго состоянія... Все было тихо, бѣло, сонно; но я поднялъ глаза: высоко на небѣ неслись станицей прилетныя птицы... „Весна! здравствуй весна!“—закричалъ я громкимъ голосомъ;—„здравствуй, жизнь и любовь, и счастье!“ – и въ то же мгновенье, съ сладостно потрясающею силой, подобно цвѣту кактуса, внезапно вспыхнулъ во мнѣ твой образъ—вспыхнулъ и сталъ, очаровательно яркій и прекрасный—и я понялъ, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полонъ тобою...

VIII.

Я думаю о тебѣ... и много другихъ воспоминаній, другихъ картинъ встаетъ передо мною—и повсюду ты, на всѣхъ путяхъ моей жизни встрѣчаю я тебя. — То является мнѣ старый русскій садъ на скатѣ холма, освѣщенный послѣдними лучами лѣтняго солнца. Изъ-за серебристыхъ тополей выглядываетъ тесовая крыша господскаго дома съ тонкимъ завиткомъ алаго дыма надъ бѣлой трубой—а въ заборѣ калитка чуть раскрылась, словно кто потянулъ ее нерѣшительной рукою—и я стою и жду, и гляжу на эту калитку и на песокъ садовой дорожки —я дивлюсь и умиляюсь, все, что я вижу, мнѣ кажется необыкновеннымъ и новымъ, все обвѣяно какой то свѣтлой, ласковой таинственностью—и уже чудится мнѣ быстрый шелестъ шаговъ—и стою я, весь напряженный и легкій, какъ птица, только-что сложившая крылья и го-

товая взвиться вновь — и сердце горитъ и трепещетъ веселымъ страхомъ передъ близкимъ, передъ налетающимъ счастьемъ...

IX.

То вижу я древній соборъ въ далекой, прекрасной странѣ. Рядами тѣснится колѣнопреклоненный народъ; молитвеннымъ холодомъ, чѣмъ-то важнымъ и унылымъ вѣетъ отъ высокаго, нагого свода, отъ громадныхъ, къ верху развѣтвленныхъ столбовъ.—Ты стоишь возлѣ меня безгласно и безучастно, точно ты мнѣ чужая; каждая складка твоего темнаго плаща виситъ неподвижно, какъ изваянная; неподвижно лежатъ пестрыя отраженья цвѣтныхъ оконъ у ногъ твоихъ, на потертыхъ плитахъ.—И вотъ, сильно потрясая тусклый отъ ладана воздухъ, внутренно насъ потрясая, тяжелой волной прокатились звуки органа — и ты поблѣднѣла и выпрямилась — твой взоръ коснулся меня, скользнулъ выше и поднялся къ небу,— а мнѣ показалось, что только безсмертная душа можетъ такъ глядѣть и такими глазами...

X.

То является мнѣ другая картина. — Не старинный храмъ подавляетъ насъ своимъ суровымъ великолѣпіемъ; низкія стѣны небольшой уютной комнатки отдѣляютъ насъ отъ цѣлаго міра. — Что я говорю! мы одни, одни въ цѣломъ мірѣ; кромѣ насъ двоихъ нѣтъ ничего живого; за этими дружелюбными стѣнами мракъ и смерть, и пустота. То не вѣтеръ воетъ, то не дождикъ струится ручьями: то жалуется и стонетъ Хаосъ; то плачутъ его слѣпыя очи. А у насъ тихо и свѣтло, и тепло, и при-

вѣтно; что-то забавное, что-то дѣтски-невинное, бабочкой — неправда ли? — порхаетъ вокругъ; мы пріютились другъ къ дружкѣ, мы прислонились другъ къ дружкѣ головами и оба читаемъ хорошую книгу; я чувствую, какъ бьется тонкая жилка въ твоемъ нѣжномъ вискѣ, я слышу, какъ ты живешь, ты слышишь, какъ я живу, твоя улыбка рождается у меня на лицѣ прежде, чѣмъ у тебя, ты отвѣчаешь безмолвно на мой безмолвный вопросъ, твои мысли, мои мысли—какъ оба крыла одной и той же въ лазури потонувшей птицы... — послѣднія преграды пали — и такъ успокоилась, такъ углубилась наша любовь, такъ безслѣдно исчезло всякое разъединеніе, что намъ даже не хочется мѣняться словомъ, взглядомъ... Только дышать, дышать вмѣстѣ хочется намъ, жить вмѣстѣ, быть вмѣстѣ... и даже не сознавать того, что мы вмѣстѣ...

XI.

Или, наконецъ, мнѣ представляется то ясное, сентябрьское утро, когда мы гуляли съ тобою по пустынному, еще не отцвѣтшему саду заброшеннаго дворца, на берегу великой не русской рѣчки, при кроткомъ сіяніи безоблачнаго неба. О, какъ передать тѣ ощущенія! — Эта безконечно текущая рѣка, эта безлюдность и спокойствіе, и радость, и какая-то упоительная грусть, и колыханіе счастья, незнакомый, однообразный городъ, осенніе крики галокъ въ высокихъ свѣтлыхъ деревьяхъ—и эти ласковыя рѣчи и улыбки, и взгляды, долгіе, мягкіе, до дна доходящіе, и красота, красота въ самихъ насъ, кругомъ, повсюду—это выше словъ. О, скамейка, на которой мы сидѣли молча, съ поникшими отъ избытка чувствъ головами—не забыть мнѣ тебя до смертнаго моего часа!—

Что за прелесть были эти рѣдкіе прохожіе съ ихъ короткимъ привѣтомъ и добрыми лицами, и плывшія мимо, большія, тихія лодки—(на одной изъ нихъ—помнишь?—стояла лошадь и задумчиво глядѣла на скользившую у ней подъ носомъ воду)—ребяческій лепетъ мелкихъ прибрежныхъ волнъ и самый лай далекихъ собакъ надъ гладью рѣки, самое покрикиваніе дороднаго унтеръ-офицера на учившихся тутъ же въ сторонѣ краснощекихъ рекрутовъ съ ихъ оттопыренными локтями и вынесенными впередъ на журавлиный ладъ ногами!.. Мы чувствовали оба, что лучше этихъ мгновеній ничего въ мірѣ не бывало и не будетъ для насъ — что все остальное... Да и какія тутъ сравненія! Довольно... довольно!.. Увы! да: довольно.

XII.

Въ послѣдній разъ отдался я тѣмъ воспоминаніямъ и прощаюсь съ ними безвозвратно. — Такъ скупой, въ послѣдній разъ налюбовавшись своимъ кладомъ, своимъ золотомъ, своимъ свѣтлымъ сокровищемъ—засыпаетъ его сѣрой, сырой землею; такъ свѣтильня истощенной лампады, вспыхнувъ послѣднимъ, яркимъ пламенемъ, покрывается холоднымъ пепломъ. Взглянулъ звѣрекъ въ послѣдній разъ изъ своей норки на бархатную травку, на солнышко, на голубыя, ласковыя воды—да и забился въ самую глубь, свернулся калачикомъ—и заснулъ. Будутъ ли ему хотя во снѣ мерещиться и солнышко, и травка, и голубыя, ласковыя воды?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

XIII.

Строго и безучастно ведетъ каждаго изъ насъ судьба — и только на первыхъ порахъ, мы, занятые всякими случайностями, вздоромъ, самими собою—не чувствуемъ ея черствой руки.—Пока можно обманываться и не стыдно лгать — можно жить, и не стыдно надѣяться. Истина — неполная истина—о той и помину быть не можетъ,—но даже та малость, которая намъ доступна — замыкаетъ тотчасъ намъ уста, связываетъ намъ руки, сводитъ насъ „на-нѣтъ“.—Тогда одно остается человѣку, чтобы устоять на ногахъ и не разрушиться въ прахъ, не погрязнуть въ тинѣ самозабвенія... самопрезрѣнія: спокойно отвернуться ото всего, сказать: довольно! — и скрестивъ на пустой груди ненужныя руки, сохранить послѣднее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознанія собственнаго ничтожества; то достоинство, на которое намекаетъ Паскаль, когда онъ, называя человѣка мыслящимъ тростникомъ, говоритъ, что если бы цѣлая вселенная его раздавила—онъ, этотъ тростникъ, былъ бы все-таки выше вселенной, потому что онъ бы зналъ, что она его давитъ,—а она бы этого не знала. Слабое достоинство! Печальное утѣшеніе! Какъ ты ни старайся проникнуться имъ, повѣрить ему—о, ты, кто бы ни былъ, мой бѣдный собратъ,—не отразить тебѣ тѣхъ грозныхъ словъ поэта: „Наша жизнь—одна бродячая тѣнь; жалкій актеръ, который рисуется и кичится какой-нибудь часъ на сценѣ—а тамъ пропадаетъ безъ вѣсти; сказка, разсказанная безумцемъ, полная звуковъ и ярости — и не имѣющая никакого смысла“ *). Я привелъ стихи изъ Макбета, и пришли мнѣ на память тѣ вѣдьмы, призраки,

*) *Макбетъ*. Актъ V-й. сцена 5-я.

привидѣнія... Увы! не привидѣнія, не фантастическія, подземныя силы страшны; не страшна Гофманщина, подъ какимъ бы видомъ она ни являлась... Страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго, что самая суть жизни мелконеинтересна—и нищенски плоска. Проникнувшись *этимъ* сознаньемъ, отвѣдавъ *этой* полыни, никакой уже медъ не покажется сладкимъ—и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полнаго сближенія, безвозвратной преданности—даже оно теряетъ все свое обаяніе; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну да: человѣкъ полюбилъ, загорѣлся, залепеталъ о вѣчномъ блаженствѣ, о безсмертныхъ наслажденіяхъ—смотришь: давнымъ-давно уже нѣтъ слѣда самаго того червя, который выѣлъ послѣдній остатокъ его изсохшаго языка. Такъ, поздней осенью, въ морозный день, когда все безжизненно и нѣмо въ посѣдѣлой травѣ, на окраинѣ обнаженнаго лѣса — стоитъ солнцу выйдти на мигъ изъ тумана, пристально взглянуть на застывшую землю—тотчасъ отовсюду поднимутся мошки: онѣ играютъ въ тепломъ его лучѣ, хлопочутъ, толкутся вверхъ, внизъ, вьются другъ около друга... Солнце скроется—мошки валятся слабымъ дождемъ—и конецъ ихъ мгновенной жизни.

XIV.

— Но развѣ нѣтъ великихъ представленій, великихъ утѣшительныхъ словъ: „Народность, право, свобода, человѣчество, искусство?“ Да; эти слова существуютъ, и много людей живетъ ими и для нихъ. Но все-таки мнѣ сдается, что если бы вновь народился Шекспиръ, ему не изъ чего было бы отказаться отъ своего Гамлета, отъ

своего Лира. Его проницательный взоръ не открылъ бы ничего новаго въ человѣческомъ быту: все та же пестрая и въ сущности несложная картина развернулась бы передъ нимъ въ своемъ тревожномъ однообразіи. То же легковѣріе и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, тѣ же пошлыя удовольствія, тѣ же безсмысленныя страданья во имя... ну хоть во имя того же вздора, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ осмѣяннаго Аристофаномъ, тѣ же самыя грубыя приманки, на которыя также легко попадается многоголовый звѣрь — людская толпа, тѣ же ухватки власти, тѣ же привычки рабства, та же естественность неправды—словомъ, то же хлопотливое прыганье бѣлки въ томъ же старомъ, даже не подновленномъ колесѣ... Шекспиръ опять заставилъ бы Лира повторить свое жестокое: „нѣтъ виноватыхъ“—что другими словами значитъ: „нѣтъ и правыхъ“—и тоже бы промолвилъ: довольно! и тоже бы отвернулся. — Одно развѣ только: быть можетъ, въ противоположность мрачному, трагическому тирану—Ричарду—ироническій геній великаго поэта захотѣлъ бы нарисовать другой, болѣе современный типъ тирана, который почти готовъ повѣрить въ собственную добродѣтель и спокойно почиваетъ по ночамъ или жалуется на черезчуръ изысканный обѣдъ въ то самое время, когда его полураздавленныя жертвы стараются хоть тѣмъ себя утѣшить, что воображаютъ его, какъ Ричарда III-го, окруженнымъ призраками погубленныхъ имъ людей...

Но къ чему?

Къ чему доказывать — да еще подбирая и взвѣшивая слова, округляя и сглаживая рѣчь—къ чему доказывать мошкамъ, что онѣ точно мошки?

XV.

Но искусство?... красота?... Да, это сильныя слова; они, пожалуй, сильнѣе другихъ, мною выше упомянутыхъ словъ. Венера Милосская, пожалуй, несомнѣннѣе римскаго права или принциповъ 89-го года. Мнѣ могутъ возразить—и сколько разъ уже слышались эти возраженія!—что и сама красота дѣло условное, что китайцу она представляется совсѣмъ иначе, чѣмъ европейцу... Но не условность искусства меня смущаетъ; его бренность, опять-таки его бренность, его тлѣнъ и прахъ—вотъ, что лишаетъ меня бодрости и вѣры. Искусство, въ данный мигъ, пожалуй, сильнѣе самой природы, потому, что въ ней нѣтъ ни симфоніи Бетговена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гёте—и одни лишь тупые педанты или недобросовѣстные болтуны могутъ еще толковать объ искусствѣ, какъ о подражаніи природѣ; но въ концѣ-концовъ природа неотразима; ей спѣшить нечего, и рано или поздно она возьметъ свое. Безсознательно и неуклонно покорная законамъ, она не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ ея дитя; но человѣческое—искусственное—ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизмѣннымъ и безсмертнымъ. Человѣкъ дитя природы: но она всеобщая мать, и у ней нѣтъ предпочтеній: все, что существуетъ въ ея лонѣ, возникло только на счетъ другого и должно въ свое время уступить мѣсто другому—она создаетъ, разрушая, и ей все равно: что́ она создаетъ, что́ она разрушаетъ—лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла правъ своихъ... А потому она такъ же спокойно

покрываетъ плесенью божественный ликъ Фидіасовскаго Юпитера, какъ и простой голышъ, и отдаетъ на съѣденіе презрѣнной моли драгоцѣннѣйшія строки Софокла. Люди, правда, ревностно помогаютъ ей въ ея истребительной работѣ; но развѣ не та же стихійная сила, не сила природы сказалась въ пальцѣ варвара, безсмысленно дробившаго лучезарное чело Аполлона, въ звѣриныхъ вопляхъ, съ которыми онъ бросалъ въ огонь картину Апеллеса? Гдѣ же намъ, бѣднымъ людямъ, бѣднымъ художникамъ сладить съ этой глухонѣмой, слѣпорожденной силой, которая даже не торжествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ, идетъ впередъ, все пожирая? Какъ устоять противъ этихъ тяжелыхъ, грубыхъ, безконечно и безустанно надвигающихся волнъ, какъ повѣрить наконецъ въ значеніе и достоинство тѣхъ бренныхъ образовъ, которые мы, въ темнотѣ, на краю бездны, лѣпимъ изъ праха и на мигъ?

XVI.

Все такъ... но одно преходящее прекрасно, сказалъ Шиллеръ; и сама природа, въ непрерывной игрѣ своихъ возникающихъ, исчезающихъ формъ, не чуждается красоты. Не она ли старательно убираетъ самыя мгновенныя изъ своихъ дѣтищъ—лепестки цвѣтовъ, крылья бабочекъ—такими прелестными красками, не она ли придаетъ имъ такія изящныя очертанья? Красотѣ не нужно безконечно жить, чтобы быть вѣчной—ей довольно одного мгновенья. Такъ; это, пожалуй, справедливо—но только тамъ, гдѣ нѣтъ личности, нѣтъ человѣка, нѣтъ свободы: поблекшее крыло бабочки возникаетъ вновь и черезъ тысячу лѣтъ тѣмъ же самымъ крыломъ той же самой ба-

бочки; тутъ строго и правильно, и безлично совершаетъ свой кругъ необходимость... но человѣкъ не повторяется какъ бабочка, и дѣло его рукъ, его искусства, его свободное твореніе, однажды разрушенное — погибаетъ навсегда... Ему одному дано „творить“... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на часъ,—какъ былъ, говорятъ, калифъ на часъ.—Въ этомъ наше преимущество—и наше проклятіе: каждый изъ этихъ „творцовъ“ самъ по себѣ, именно онъ, не кто другой, именно это *я*, словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному—и живетъ, долженъ жить въ мгновеньи и для мгновенья *). Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу!—Величайшіе изъ насъ—именно тѣ, которые глубже всѣхъ другихъ сознаютъ это коренное противорѣчіе; но въ такомъ случаѣ — спрашивается — умѣстны ли слова: величайшій, великій?

XVII.

Что же сказать о тѣхъ, къ которымъ при всемъ желаніи, нельзя примѣнить эти имена, даже въ томъ значеніи, которое придаетъ имъ слабый человѣческій языкъ?—Что сказать объ обыкновенныхъ, дюжинныхъ, второстепенныхъ, третьестепенныхъ труженикахъ—кто бы они ни были—государственные люди, ученые, художники—особенно художники? Чѣмъ заставить ихъ стряхнуть свою нѣмую лѣнь, своё унылое недоумѣніе, чѣмъ при-

*) Какъ не вспомнить тутъ словъ Мефистофеля къ Фаусту:
„Er—(Gott)—findet sich in einem ew'gen Glanze,
„Uns hat er in die Finsterniss gebracht—
„Und euch taugt einzig Tag und Nacht“.

влечь ихъ опять на поле битвы — если только мысль о тщетѣ всего человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую задачу, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба, закралась имъ въ голову? Какими вѣнками прельстятся они—они, для которыхъ и лавры, и тернья стали равно незначительны? Изъ чего они станутъ снова подвергаться смѣху „толпы холодной“ или „суду глупца“—стараго глупца, который не можетъ простить имъ, что они отвернулись отъ прежнихъ кумировъ—молодого глупца, который требуетъ, чтобы они тотчасъ вмѣстѣ съ нимъ стали на колѣни, легли плашмя передъ новыми, только-что открытыми идолами? Зачѣмъ пойдутъ они опять на этотъ толкучій рынокъ призраковъ, на это торжище, гдѣ и продавецъ, и покупатель равно обманываютъ другъ друга, гдѣ всё такъ шумно, громко—и всё такъ бѣдно и дрянно? Зачѣмъ, „съ изнеможеніемъ въ костяхъ“, поплетутся они вновь въ этотъ міръ, гдѣ народы, какъ крестьянскіе мальчишки въ праздничный день, барахтаются въ грязи изъ-за горсти пустыхъ орѣховъ, или дивятся, разинувъ рты, на лубочныя картины, раскрашенныя сусальнымъ золотомъ,—въ этотъ міръ, гдѣ живуче только то, что не имѣетъ права на жизнь,—и оглушая самого себя собственнымъ крикомъ, каждый судорожно спѣшитъ къ неизвѣстной и непонятной ему цѣли? Нѣтъ... нѣтъ... Довольно... довольно... довольно!

XVIII.

. . . The rest is silence . . . . . .

. . . . . .

1864 г.

СОБАКА.

Но если допустить возможность сверхъестественнаго, возможность его вмѣшательства въ дѣйствительную жизнь—то позвольте спросить, какую роль, послѣ этого, долженъ играть здравый разсудокъ?—провозгласилъ Антонъ Степанычъ и скрестилъ руки на желудкѣ.

Антонъ Степанычъ состоялъ въ чинѣ статскаго совѣтника, служилъ въ какомъ-то мудреномъ департаментѣ и, говоря съ разстановкой, туго и басомъ, пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Ему, незадолго передъ тѣмъ, по выраженію его завистниковъ „влѣпили станислашку“.

— Это совершенно справедливо,—замѣтилъ Скворевичъ.

— Объ этомъ и спорить никто не станетъ, — прибавилъ Кинаревичъ.

— И я согласенъ,—поддакнулъ фистулой изъ угла хозяинъ дома, г. Финоплентовъ.

— А я, признаюсь, согласиться не могу, потому что со мной самимъ произошло нѣчто сверхъестественное, —проговорилъ мужчина средняго роста и среднихъ лѣтъ, съ брюшкомъ и лысиной, безмолвно до тѣхъ поръ сидѣвшій за печкой. Взоры всѣхъ находившихся въ комнатѣ съ любопытствомъ и недоумѣньемъ обратились на него—и воцарилось молчанье.

Этотъ мужчина былъ небогатый калужскій помѣщикъ, недавно пріѣхавшій въ Цетербургъ. Онъ нѣкогда служилъ въ гусарахъ, проигрался, вышелъ въ отставку и поселился въ деревнѣ. Новѣйшія хозяйственныя перемѣны сократили его доходы, и онъ отправился въ столицу поискать удобнаго мѣстечка. Онъ не обладалъ никакими способностями и не имѣлъ никакихъ связей; но онъ крѣпко надѣялся на дружбу одного стариннаго сослуживца, который вдругъ ни съ того, ни съ сего выскочилъ въ люди, и которому онъ однажды помогъ приколотить шулера. Сверхъ того, онъ разсчитывалъ на свое счастье—и оно ему не измѣнило: нѣсколько дней спустя, онъ получилъ мѣсто надзирателя надъ казенными магазинами, мѣсто выгодное, даже почетное и не требовавшее отмѣнныхъ талантовъ: самые магазины существовали только въ предположеніи, и даже не было съ точностью извѣстно, чѣмъ ихъ наполнять,—а придумали ихъ въ видахъ государственной экономіи.

Антонъ Степанычъ первый прервалъ общее оцѣпенѣніе.

— Какъ, милостивый государь мой!—началъ онъ:— вы, не шутя, утверждаете, что съ вами произошло нѣчто сверхъестественное — я хочу сказать: нѣчто несообразное съ законами натуры?

— Утверждаю, — возразилъ „Милостивый государь мой“, настоящее имя котораго было Порфирій Капитонычъ.

— Несообразное съ законами натуры! — повторилъ съ сердцемъ Антонъ Степанычъ, которому видимо понравилась эта фраза.

— Именно... да; вотъ именно такое, какъ вы изволите говорить.

— Это удивительно! Какъ вы полагаете, господа?—

Антонъ Степанычъ потщился придать чертамъ своимъ выраженіе ироническое, но ничего не вышло—или, говоря правильнѣе, вышло только то, что вотъ-молъ господинъ статскій совѣтникъ дурной запахъ почуялъ. — Не потрудитесь ли вы, милостивый государь, — продолжалъ онъ, обращаясь къ калужскому помѣщику, — передать намъ подробности такого любопытнаго событія?

— Отчего же? Можно!—отвѣчалъ помѣщикъ и, развязно пододвинувшись къ серединѣ комнаты, заговорилъ такъ:

— У меня, господа, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно —а можетъ быть и неизвѣстно — небольшое имѣнье въ козельскомъ уѣздѣ. Прежде я извлекалъ изъ него нѣкоторую пользу—но теперь, разумѣется, ничего, кромѣ непріятностей, предвидѣть нельзя. Однако, по-боку политику! Ну-съ, въ этомъ самомъ имѣньи у меня усадьба „махенькая“: огородъ, какъ водится, прудишко съ карасишками, строенія кой-какія—ну, и флигелекъ для собственнаго грѣшнаго тѣла... Дѣло холостое. Вотъ-съ однажды—годовъ этакъ шесть тому назадъ — вернулся я къ себѣ домой довольно поздно: у сосѣда въ картишки перекинулъ—но притомъ, прошу замѣтить, ни въ одномъ, какъ говорится, глазѣ; раздѣлся, легъ, задулъ свѣчку. И представьте вы себѣ, господа: только-что я задулъ свѣчку, завозилось у меня подъ кроватью! Думаю: крыса? Нѣтъ, не крыса: скребетъ, возится, чешется... Наконецъ ушами захлопало!

Понятное дѣло: собака. Но откуда собакѣ взяться? Самъ я не держу; развѣ, думаю, забѣжала какая-нибудь „*заболтущая?*“ Я кликнулъ своего слугу; Филькой онъ у меня прозывается. Вошелъ слуга со свѣчкой. — Что это,—я говорю,—братецъ Филька, какіе у тебя безпорядки! Ко мнѣ собака подъ кровать затесалась.—Какая,—гово-

ритъ,—собака?—А я почемъ знаю?—говорю я;—это твое дѣло—барина до безпокойства не допущать.—Нагнулся мой Филька, сталъ свѣчкой подъ кроватью водить.—Да тутъ,—говоритъ,—никакой собаки нѣту.—Нагнулся и я: точно, нѣтъ собаки.—Что̀ за притча!—Вскинулъ я глазами на Фильку: а онъ улыбается.—Дуракъ,—говорю я ему,—что́ ты зубы-то скалишь? Собака-то, вѣроятно, какъ ты сталъ отворять дверь, взяла да и шмыгнула въ переднюю. А ты, ротозѣй, ничего не замѣтилъ, потому что ты вѣчно спишь. Ужъ не воображаешь ли ты, что я пьянъ?—Онъ захотѣлъ-было возражать, но я его прогналъ, свернулся калачикомъ и въ ту ночь уже ничего не слыхалъ.

Но на слѣдующую ночь—вообразите!—то же самое повторилось. Какъ только я свѣчку задулъ, опять скребетъ, ушами хлопаетъ. Опять я позвалъ Фильку, опять онъ поглядѣлъ подъ кроватью—опять ничего! Услалъ я его, задулъ свѣчку—тьфу ты чертъ! собака тутъ какъ тутъ. И какъ есть собака: такъ вотъ и слышно, какъ она дышетъ, какъ зубами по шерсти перебираетъ, блохъ ищетъ... Явственно таково!—Филька!—говорю я;—войдика сюда безъ свѣчки! Тотъ вошелъ.—Ну, что́, говорю, слышишь?—Слышу,—говоритъ. Самого-то мнѣ его не видать, но чувствую я, что струхнулъ малый.—Какъ,—говорю,—ты это понимаешь?—А какъ мнѣ это понимать прикажете, Порфирій Капитонычъ? — Навожденіе!—Ты, я говорю, безпутный человѣкъ, молчи съ навожденіемъ-то съ своимъ... А у обоихъ-то у насъ голоса́ словно птичьи, и дрожимъ-то мы какъ въ лихорадкѣ—въ темнотѣ-то. Зажегъ я свѣчку: ни собаки нѣтъ, ни шума никакого—а только оба мы съ Филькой—бѣлые какъ глина. Такъ свѣчка у меня до утра и горѣла. И доложу я вамъ, господа—вѣрьте вы мнѣ или нѣтъ—а только съ

самой той ночи, въ теченіе шести недѣль, та же исторія со мной повторялась. Подъ-конецъ я даже привыкъ и свѣчку гасить сталъ, потому мнѣ при свѣтѣ не спится. Пусть, молъ, возится! Вѣдь зла она мнѣ не дѣлаетъ.

— Однако—я вижу—вы нетрусливаго десятка,—съ полупрезрительнымъ, полуснисходительныхъ смѣхомъ перебилъ Антонъ Степанычъ.—Сейчасъ видно гусара!

— Васъ-то я бы ни въ какомъ случаѣ не испугался,—промолвилъ Порфирій Капитонычъ, и на мгновенье дѣйствительно посмотрѣлъ гусаромъ.—Но слушайте далѣе. Пріѣзжаетъ ко мнѣ одинъ сосѣдъ, тотъ самый, съ которымъ я въ картишки перекидывалъ. Пообѣдалъ онъ у меня, чѣмъ Богъ послалъ, спустилъ мнѣ рубликовъ пятьдесятъ за визитъ; ночь на дворѣ—убираться пора. А у меня свои соображенія: — останься, говорю, ночевать у меня, Василій Васильичъ; завтра отыграешься, дастъ Богъ. Подумалъ, подумалъ мой Василій Васильичъ,—остался. Я ему кровать у себя же въ спальнѣ поставить приказалъ... Ну-съ, легли мы, покурили, покалякали — все больше о женскомъ полѣ, какъ оно и приличествуетъ въ холостой компаніи, посмѣялись, разумѣется; смотрю: погасилъ Василій Васильичъ свою свѣчку и спиной ко мнѣ повернулся; значитъ: „шлафензиволь“. Я подождалъ маленько и тоже погасилъ свѣчку. И представьте: не успѣлъ я подумать, что, молъ, теперь какой карамболь произойдетъ? какъ уже завозилась моя голубушка. Да мало что завозилась: изъ-подъ кровати вылѣзла, черезъ комнату пошла, когтями по полу стучитъ, ушами мотаетъ, да вдругъ какъ толкнетъ самый стулъ, что возлѣ Василія-Васильевичевой кровати! — Порфирій Капитонычъ,—говоритъ тотъ, и такимъ, знаете, равнодушнымъ голосомъ, — а я и не зналъ, что ты собаку пріобрѣлъ. Какая она, лягавая, что ли? — У меня, го-

ворю, собаки никакой нѣтъ и не бывало никогда! — Какъ нѣтъ? а это что? — Что *это*? — говорю я; — а вотъ зажги свѣчку, такъ самъ узнаешь. — Это не собака? — Нѣтъ. — Повернулся Василій Васильичъ на постели. — Да ты шутишь, чортъ? — Нѣтъ, не шучу. — Слышу я: онъ чѣркъ, чѣркъ спичкой, а та-то, та-то все не унимается, бокъ себѣ чешетъ Загорѣлся огонекъ... и баста! Слѣдъ простылъ! Глядитъ на меня Василій Васильичъ — и я на него гляжу. — Это, — говоритъ, — что за фокусъ? — А это, — говорю я, — такой фокусъ, что посади ты съ одной стороны самого Сократа, а съ другой Фридриха Великаго, такъ и тѣ ничего не разберутъ. — И тутъ же я ему все въ подробности разсказалъ. Какъ вскочитъ мой Василій Васильичъ! Словно обожженный! Въ сапоги-то никакъ не попадетъ. — Лошадей! — кричитъ, — лошадей! Сталъ я его уговаривать, такъ куда! Такъ и взахался. — Не останусь, кричитъ, ни минуты! — Ты значитъ, послѣ этого, оглашенный человѣкъ! — Лошадей!... Однако, я его уломалъ. Только кровать его перетащили въ другую комнату — и ночники вездѣ запалили. Поутру, за чаемъ, онъ остепенился; сталъ совѣты мнѣ давать. — Ты бы, — говоритъ, — Порфирій Капитонычъ, попробовалъ на нѣсколько дней изъ дому отлучиться: можетъ, эта пакость отъ тебя бы отстала. — А надо вамъ сказать: человѣкъ онъ — сосѣдъ мой — былъ ума обширнаго! Тещу свою, между прочимъ, такъ обработалъ чудесно: вексель ей подсунулъ; значитъ, выбралъ же самый чувствительный часъ! Шолковая стала; довѣренность дала на управленіе всѣмъ имѣніемъ — чего больше? А вѣдь это какое дѣло — тещу-то скрутить — а? Сами изволите посудить. Однако, уѣхалъ онъ отъ меня въ нѣкоторомъ неудовольствіи: я-таки его опять рубликовъ на сотню наказалъ. Даже ругалъ меня; говорилъ, что ты-де неблагодаренъ, не чувствуешь: а я чѣмъ же

тутъ виноватъ? Ну, это само собою—а совѣтъ я его къ свѣдѣнію принялъ: въ тотъ же день укатилъ въ городъ, да и поселился на постояломъ дворѣ у знакомаго старичка изъ раскольниковъ Почтенный былъ старичокъ, хотя и суровъ маленько, по причинѣ одиночества: вся семья у него перемерла. Только ужъ очень табаку не жаловалъ и къ собакамъ чувствовалъ омерзенье великое; кажется, чѣмъ, напримѣръ, ему собаку въ комнату впустить согласиться—скорѣй бы самъ себя пополамъ перервалъ! Потому, говоритъ, какъ же возможно! Тутъ у меня въ свѣтлицѣ на стѣнѣ сама Владычица пребывать изволитъ, и тутъ же песъ поганый рыло свое нечестивое уставитъ. Извѣстно — необразованіе! А впрочемъ, я такого мнѣнія: кому какая премудрость далась, тотъ той и придерживайся!

— Да вы, я вижу, великій филозо́фъ,—вторично и съ тою же усмѣшкой перебилъ Антонъ Степанычъ.

Порфирій Капитонычъ на этотъ разъ даже нахмурился.

— Какой я филозо́фъ—это еще неизвѣстно,—промолвилъ онъ съ угрюмымъ подергиваньемъ усовъ: — но васъ бы я охотно взялъ въ науку.

Мы всѣ такъ и впились въ Антона Степаныча; всякій изъ насъ ожидалъ горделиваго отвѣта или хотя молніеноснаго взгляда... Но господинъ статскій совѣтникъ перевелъ свою усмѣшку изъ презрительной въ равнодушную, потомъ зѣвнулъ, поболталъ ножкой — и только!

— Вотъ, у этого-то старичка я и поселился,—продолжалъ Порфирій Капитонычъ.—Комнатку онъ мнѣ отвелъ, по знакомству, не изъ лучшихъ; самъ онъ помѣщался тутъ же за перегородкой—а мнѣ только этого и нужно. Однако принялъ я въ тѣ поры муки! Комнатка

небольшая, жара этта, духота, мухи, да какія-то клейкія; въ углу кіотище необыкновенный, съ древнѣйшими образами; ризы на нихъ тусклыя да дутыя; масломъ такъ и разитъ, да еще какою-то спеціей; на кровати два пуховика; подушку пошевелишь, а изъ-подъ нея тараканъ бѣжитъ... я ужъ со скуки чаю до невѣроятности напился — просто бѣда! Легъ я; спать нѣтъ возможности— а за перегородкой хозяинъ вздыхаетъ, кряхтитъ, молитвы читаетъ. Ну, однако, угомонился наконецъ. Слышу: похрапывать сталъ—да такъ полегоньку, по старомодному, вѣжливенько. Свѣчку-то я давно загасилъ—только лампадка передъ образами горитъ... Помѣха, значитъ! Вотъ, я возьми да встань тихохонько, на босу ногу: подмостился къ лампадкѣ да и дунулъ на нее... Ничего. — Эге! думаю: знать у чужихъ-то не беретъ... Да только-что опустился на постель—опять пошла тревога! И скребетъ, и чешетъ, и ушами хлопаетъ... ну, какъ быть слѣдуетъ! Хорошо. Я лежу, жду что́ будетъ? Слышу: просыпается старикъ. Баринъ, — говоритъ,—а баринъ?—Что́ молъ?—Это ты лампадку погасилъ?—Да отвѣта моего не дождавшись, какъ залопочетъ вдругъ: — что́ это? что́ это? собака! собака! Ахъ, ты никоніанецъ окаянный! — Погоди,—говорю,—старикъ, браниться — а ты лучше придика самъ сюда. Тутъ,—я говорю,—дѣла совершаются удивленія достойныя. —Повозился старикъ за перегородкой и вошелъ ко мнѣ со свѣчкой, тоненькой-претоненькой, изъ жолтаго воску; и удивился же я, на него глядючи! Самъ весь шершавый, уши мохнатыя, глаза злобные, какъ у хорька, на головѣ шапонька бѣлая войлочная, борода по-поясъ, тоже бѣлая, и жилетъ съ мѣдными пуговицами на рубахѣ, а на ногахъ мѣховые сапоги—и пахнетъ отъ него можжевельникомъ. Подошелъ онъ въ этакомъ видѣ къ образамъ, перекрестился три раза крестомъ двуперст-

нымъ, лампадку засвѣтилъ, опять перекрестился—и обернувшись ко мнѣ, только хрюкнулъ: объясняй-молъ! И тутъ я ему, нимало не медля, все обстоятельно сообщилъ. Выслушалъ всѣ мои объясненія старина, и хоть бы словечко проронилъ: только, знай, головой потряхиваетъ. Присѣлъ онъ потомъ этта ко мнѣ на кроватку—и все молчитъ. Чешетъ себѣ грудь, затылокъ и прочее—и молчитъ.—Что-жъ,—говорю я,—Ѳедулъ Иванычъ, какъ ты полагаешь: навожденіе это какое, что-ли?—Старикъ посмотрѣлъ на меня.—Что̀ выдумалъ! навожденіе! Добро бы у тебя, табашника—а то здѣсь! Ты только то сообрази: что тутъ святости! Навожденія захотѣлъ!—А коли это не навожденіе—такъ что̀ же?—Старикъ опять помолчалъ, опять почесался и говоритъ наконецъ—да глухо такъ, потому усы въ ротъ лѣзутъ:—Ступай ты въ градъ Бѣлевъ. Окромя одного человѣка, тебѣ помочь некому. И живетъ сей человѣкъ въ Бѣлевѣ: изъ нашихъ. Захочетъ онъ тебѣ поспособствовать—твое счастье; не захочетъ—такъ тому и быть.—А какъ мнѣ его найти, человѣка сего?—говорю я.—Это мы тебя направить можемъ,—говоритъ;—а только какое это навожденіе? Это есть явленіе, а либо знаменіе; да ты этого не постигнешь: не твоего полёта. Ложись-ка теперь спать съ батюшкой со Христомъ; я ладанкомъ покурю; а на *утріе* мы побесѣдуемъ. Утро, знаешь, вечера мудренѣе.

Ну-съ и побесѣдовали мы на *утріе*—а только отъ этого отъ самаго ладану я чуть не задохнулся. И далъ мнѣ старикъ наставленіе такого свойства: что, пріѣхавши въ Бѣлевъ, пойти мнѣ на площадь и во второй лавкѣ направо спросить нѣкоего Прохорыча; а отыскавши Прохорыча, вручить ему грамотку. И вся-то грамотка заключалась въ клочкѣ бумаги, на которой стояло слѣдующее: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Сергію Прохоровичу Первушину. Сему вѣрь. Ѳеодулій Ивановичъ". А внизу: „Капустки пришли, Бога для".

Поблагодарилъ я старика—да безъ дальнѣйшихъ разсужденій велѣлъ заложить тарантасъ, и отправился въ Бѣлевъ. Потому я такъ соображалъ: хотя, положимъ, отъ моего ночного посѣтителя мнѣ большой печали нѣтъ, однако, все-таки оно жутко, да и, наконецъ, не совсѣмъ прилично дворянину и офицеру—какъ вы полагаете?

— И неужели вы поѣхали въ Бѣлевъ? — прошепталъ г. Финоплентовъ.

— Прямо въ Бѣлевъ. Пошелъ я на площадь, спросилъ во второй лавкѣ направо Прохорыча. Есть-молъ, говорю, такой человѣкъ?—Есть, говорятъ.—А гдѣ живетъ?—На Окѣ, за огородами.—Въ чьемъ домѣ?—Въ своемъ.—Отправился я на Оку, отыскалъ его домъ, т.-е. въ сущности не домъ, а простую лачугу. Вижу: человѣкъ въ синей свиткѣ съ заплатами и въ рваномъ картузѣ, такъ... мѣщанинишко по наружности, стоитъ ко мнѣ спиной, копается въ капустникѣ. Я подошелъ къ нему.—Вы, молъ, такой-то?—Онъ обернулся—и доложу вамъ поистинѣ: этакихъ проницательныхъ глазъ я отъроду не видывалъ. А впрочемъ все лицо съ кулачокъ, бородка клиномъ, и губы ввалились: старый человѣкъ.—Я такой-то,—говоритъ;—что вамъ *надобъ*?—А вотъ-молъ, что мнѣ *надобъ*,—да и грамоту ему въ руку. Онъ посмотрѣлъ на меня пристально таково, да и говоритъ: —Пожалуйте въ комнату; я безъ очковъ читать не могу. Ну-съ, пошли мы съ нимъ въ его хибарку—и ужъ точно хибарка: бѣдно, голо, криво; какъ только держится. На стѣнѣ образъ стараго письма, какъ уголь черный: одни бѣлки па ликахъ такъ и горятъ. Досталъ онъ изъ столика желѣзные круглые очки, надѣлъ себѣ на носъ, прочелъ грамотку, да черезъ очки опять на меня посмо-

трѣлъ. — Вамъ до меня нужда имѣется? — Имѣется, — говорю, — точно — Ну, — говоритъ, — коли имѣется, такъ докладывайте, а мы послушаемъ.— И представьте вы себѣ: самъ сѣлъ и платокъ клѣтчатый изъ кармана досталъ, и у себя на колѣняхъ разложилъ — и платокъ-то дырявый — да такъ важно на меня взираетъ, хоть бы сенатору или министру какому, и не сажаетъ меня. И что еще удивительнѣе: чувствую я вдругъ, что робѣю, такъ робѣю... просто, душа въ пятки уходитъ. Нижетъ онъ меня глазами насквозь, да и полно! Однако я поправился, да и разсказалъ ему всю мою исторію. Онъ помолчалъ, поежился, пожевалъ губами, да и ну спрашивать меня, опять-таки какъ сенаторъ, величественно такъ, не торопясь. Имя, молъ, ваше какъ? Лѣта? Кто были родные? Въ холостомъ ли званіи, или женаты? — Потомъ онъ опять губами пожевалъ, нахмурился, палецъ уставилъ, да и говоритъ: — Иконѣ святой поклонитесь, честнымъ препобнымъ соловецкимъ святителямъ Зосимѣ и Савватію. — Я поклонился въ землю, и такъ ужъ и не поднимаюсь; такой въ себѣ страхъ къ тому человѣку ощущаю и такую покорность, что, кажется, что бы онъ ни прикажи, исполню тотчасъ же!.. Вы вотъ, я вижу, господа, ухмыляетесь, а мнѣ не до смѣху было тогда, ей-ей. — Встаньте, господинъ, — проговорилъ онъ наконецъ. — Вамъ помочь можно. Это вамъ не въ наказаніе наслано, а въ предостереженіе; это, значитъ, попеченіе о васъ имѣется; добрѣ, знать, кто за васъ молится. Ступайте вы теперь на базаръ и купите вы себѣ собаку-щенка, котораго вы при себѣ держите неотлучно — день и ночь. Ваши видѣнья прекратятся, да и кромѣ того, будетъ вамъ та собака на потребу.

Меня вдругъ точно свѣтомъ озарило: ужъ какъ же мнѣ эти слова полюбились! Поклонился я Прохорычу и

хотѣлъ-было уйти, да вспомнилъ, что нельзя же мнѣ его не поблагодарить: досталъ изъ кошелька трехрублевую бумажку. Только онъ мою руку отвелъ отъ себя прочь и говоритъ мнѣ: — отдайте, говоритъ, въ часовеньку нашу, али бѣднымъ, а услуга та неоплатная. Я опять ему поклонился — чуть не въ поясъ — и тотчасъ маршъ на базаръ! И вообразите: только-что сталъ я подходить къ лавкамъ — глядь ползетъ ко мнѣ на встрѣчу фризовая шинель и подъ мышкой несетъ лягаваго щенка, двухмѣсячнаго, коричневой шерсти, бѣлогубаго, съ бѣлыми передними лапками. Стой! говорю я шинели; за сколько продаешь? — А за два цѣлковыхъ. — Возьми три! — Тотъ удивился, думаетъ, съ ума баринъ спятилъ — а я ему ассигнацію въ зубы, щенка въ охабку да въ тарантасъ! Кучеръ живо запрягъ лошадей, и въ тотъ же вечеръ я былъ дома. Щенокъ всю дорогу у меня за пазухой сидѣлъ — и хоть бы пикнулъ; а я ему все: Трезорушко! Трезорушко! Тотчасъ его накормилъ, напоилъ, велѣлъ соломы принести, уложилъ его, и самъ шмыгъ въ постель! Дунулъ на свѣчку: сдѣлалась темнота. Ну, говорю, начинай! Молчитъ. Начинай же, говорю, такая-сякая! Ни ту-гу, хоть бы на смѣхъ. Я куражиться сталъ. Да начинай, ну же, растакая, сякая и этакая! Анъ не тутъ-то было — шабашъ! Только и слышно какъ щенокъ пыхтитъ. — Филька! кричу, Филька! Поди сюда, глупый человѣкъ! — Тотъ вошелъ. — Слышишь ты собаку? — Нѣтъ, говоритъ, баринъ, ничего не слышу — а самъ смѣется. — И не услышишь, говорю, уже больше никогда! Полтинникъ тебѣ на водку! — Пожалуйте ручку, говоритъ дуракъ и въ потьмахъ-то лѣзетъ на меня... Радость, доложу вамъ, была большая.

— И такъ все и кончилось? — спросилъ Антонъ Степанычъ, уже безъ иронiи.

— Видѣнія кончились, точно — и уже безпокойствъ никакихъ не было — но, погодите, всей штукѣ еще не конецъ. Сталъ мой Трезорушко расти—вышелъ изъ него гусь лапчатый. Толстохвостый, тяжелый, вислоухій, брылястый — настоящій „пиль-аванцъ“. И притомъ ко мнѣ привязался чрезвычайно. Охота въ нашихъ краяхъ плохая—ну, а все-таки, какъ завелъ собаку—пришлось и ружьишкомъ запастись. Сталъ я со своимъ Трезоромъ таскаться по окрестностямъ: иногда зайца подшибешь (ужъ и гонялся же онъ за этими зайцами, Боже мой!), а иногда и перепелку или уточку. Но только главное: Трезоръ отъ меня ни на шагъ. Куда я — туда и онъ; даже и въ баню его съ собой водилъ—право! Одна наша барыня меня за самаго за этого Трезора изъ гостиной приказала-было вывести, да я такую штурму поднялъ: что́ однихъ стеколъ у ней перебилъ! Вотъ-съ, однажды, дѣло было лѣтомъ... И скажу вамъ, засуха стояла тогда такая, что никто и не запомнитъ; въ воздухѣ не то дымъ, не то туманъ, пахнетъ гарью, мгла, солнце какъ ядро́ раскаленное, а что пыли—не прочихнешь! Люди такъ разинувши рты и ходятъ, не хуже воронъ. Соскучилось мнѣ этакъ дома все сидѣть, въ полнѣйшемъ дезабилье, за закрытыми ставнями; кстати же жара начинала сваливать... И пошелъ я, государи мои, къ одной своей сосѣдкѣ. Жила же оная сосѣдка отъ меня въ верстѣ — и ужъ точно благодѣтельная была дама. Въ молодыхъ еще цвѣтущихъ лѣтахъ, и наружности самой располагающей; только нравъ имѣла непостоянный. Да это въ женскомъ полѣ не бѣда; даже удовольствіе доставляетъ... Вотъ добрался я до ея крылечка—и солоно же мнѣ показалось это путешествіе! Ну, думаю, ублаготворитъ меня теперь Нимфодора Семеновна брусничной водой, ну и другими прохладами—и уже за ручку двери взялся, какъ вдругъ

за угломъ дворовой избы поднялся топотъ, визгъ, крикъ мальчишекъ... Я оглядываюсь. Господи Боже мой! прямо на меня несется огромный, рыжій звѣрь, котораго я съ перваго взгляда и за собаку-то не призналъ: раскрытая пасть, кровавые глаза, шерсть дыбомъ... Не успѣлъ я дыханіе перевести, какъ ужъ это чудовище вскочило на крыльцо, поднялось на заднія лапы и прямо ко мнѣ на грудь—каково положеніе? Я замеръ отъ ужаса, и руки не могу поднять, одурѣлъ вовсе... вижу только страшные бѣлые клыки передъ самымъ носомъ, красный языкъ, весь въ пѣнѣ. Но въ то же мгновенье другое, темное тѣло взвилось передо мною какъ мячикъ — это мой голубчикъ Трезоръ заступился за меня; да какъ піявка, тому-то, звѣрю-то, въ горло! Тотъ захрипѣлъ, заскрежеталъ, отшатнулся... Я разомъ рванулъ дверь и очутился въ передней. Стою, самъ не свой, всѣмъ тѣломъ на замокъ налегъ, а на крыльцѣ, слышу, происходитъ баталья отчаянная. Я сталъ кричать, звать на помощь; всѣ въ домѣ всполошились. Нимфодора Семеновна прибѣжала съ распущенной косой, на дворѣ загомонили голоса—и вдругъ послышалось: „держи, держи, запри ворота!“ Я отворилъ дверь — такъ, чуточку — гляжу: чудовища уже нѣтъ на крыльцѣ, люди въ безпорядкѣ мечутся по двору, махаютъ руками, поднимаютъ съ земли полѣнья—какъ есть, очумѣли. „На деревню! на деревню убѣгла!“ визжитъ какая-то баба въ кичкѣ необыкновенныхъ размѣровъ, высунувшись въ слуховое окно. Я вышелъ изъ дома.—Гдѣ, молъ, Трезоръ?—и тутъ же увидалъ моего спасителя. Онъ шелъ отъ воротъ, хромой, весь искусанный, въ крови...—Да что такое наконецъ?—спрашиваю у людей, а они кружатся по двору, какъ угорѣлые.—Бѣшеная собака!—отвѣчаютъ мнѣ:—графская; со вчерашняго дня здѣсь мотается.

У насъ былъ сосѣдъ, графъ; тотъ заморскихъ со-

бакъ навезъ, престрашенныхъ. Поджилки у меня затряслись; бросился къ зеркалу, посмотрѣть, не укушенъ ли я? Нѣтъ, слава Богу, ничего не видать; только рожа, натурально, вся зеленая; а Нимфодора Семеновна лежитъ на диванѣ и клохчетъ курицей. Да оно и понятно: во-первыхъ, нервы, во-вторыхъ, чувствительность. Ну, однако, пришла въ себя и спрашиваетъ меня, томно такъ: живъ ли я? Я говорю, живъ, и Трезоръ мой избавитель.— Ахъ, — говоритъ, — какое благородство! И стало-быть, бѣшеная собака его задушила? — Нѣтъ, — говорю, — не задушила, а ранила сильно. — Ахъ, — говоритъ, — въ такомъ случаѣ его надо сію минуту пристрѣлить! — Ну, нѣтъ, — говорю, — я на это несогласенъ; я попробую его вылечить... Тѣмъ временемъ Трезоръ сталъ скрестись въ дверь: я было пошелъ ему отворять. — Ахъ, — говоритъ, — что вы это? Да онъ насъ всѣхъ перекусаетъ! — Помилуйте, — говорю, — ядъ не такъ скоро дѣйствуетъ. — Ахъ, — говоритъ, — какъ это возможно! Да вы съ ума сошли! — Нимфочка, — говорю, — успокойся, прими резонъ... А она, какъ крикнетъ вдругъ: уйдите, уйдите сейчасъ съ вашей противной собакой! — И уйду, — говорю. — Сейчасъ, — говоритъ, — сію секунду! Удались, — говоритъ, — разбойникъ, и на глаза мнѣ не смѣй никогда показываться. Ты самъ можешь взбѣситься! — Очень хорошо-съ, — говорю я; — только дайте мнѣ экипажъ, потому что я теперь пѣшкомъ идти домой опасаюсь. — Она уставилась на меня. — Дать, дать ему коляску, карету, дрожки, что хочетъ, лишь бы провалился поскорѣе. Ахъ, какіе глаза! ахъ, какіе у него глаза! — Да съ этими словами изъ комнаты вонъ, да встрѣшную дѣвку по щекѣ — и слышу, съ ней опять припадокъ. — И повѣрите ли вы мнѣ, господа, или нѣтъ, а только съ самаго того дня я съ Нимфодорой Семеновной всякое знакомство прекратилъ; а по зрѣломъ соображеніи всѣхъ

вещей, не могу не прибавить, что и за это обстоятельство я обязанъ моему другу Трезору благодарностью по самую гробовую доску.

— Ну-съ, велѣлъ я заложить коляску, усадилъ въ нее Трезора и поѣхалъ къ себѣ домой. Дома я его осмотрѣлъ, обмылъ его раны — да и думаю: повезу я его завтра чуть свѣтъ къ бабкѣ въ Ефремовскій уѣздъ. А бабка эта—старый мужикъ, удивительный: пошепчетъ на воду—а другіе толкуютъ, что онъ въ нее змѣиную слюну пущаетъ—дастъ выпить—какъ рукою сниметъ. Кстати, думаю, въ Ефремовѣ себѣ кровь брошу: оно противъ испуга хорошо бываетъ; только, разумѣется, не изъ руки, а изъ соколка.

— А гдѣ это мѣсто—соколокъ?—съ застѣнчивымъ любопытствомъ спросилъ г. Финоплентовъ.

— А вы не знаете? Самое вотъ это мѣсто, на кулакѣ, подлѣ большого пальца, куда изъ рожка табакъ насыпаютъ — вотъ тутъ! Для кровопусканія первый пунктъ; потому, сами посудите: изъ руки пойдетъ кровь жильная, а тутъ она—наигранная. Доктора этого не знаютъ, и не умѣютъ; гдѣ имъ, дармоѣдамъ, нѣмчурѣ? Больше кузнецы упражняются. И какіе есть ловкіе! Наставитъ долото, молоткомъ тюкнетъ—и готово!... Ну-съ, пока я этакимъ образомъ размышлялъ, на дворѣ совсѣмъ стемнѣло, пора на боковую. Легъ я въ постель — и Трезоръ, разумѣется, тутъ же. Но отъ испуга ли, отъ духоты ли, отъ блохъ или отъ мыслей — только не могу заснуть, хоть ты что! Тоска такая напала, что и описать невозможно; и воду-то я пилъ, и окошко отворялъ, и на гитарѣ „камаринскаго“ съ итальянскими варіяціями разыгралъ... нѣтъ! Претъ меня вонъ изъ комнаты — да и полно! Я рѣшился наконецъ: взялъ подушку, одѣяло, простыню, да и отправился черезъ садъ въ сѣнной са-

рай; ну и расположился тамъ. И такъ мнѣ стало, господа, пріятно: ночь тихая, претихая, только изрѣдка вѣтерокъ словно женской ручкой по щекѣ тебѣ проведетъ, свѣжо таково; сѣно пахнетъ, что твой чай, на яблоняхъ кузнечики потрюкиваютъ; тамъ вдругъ перепелъ грянетъ—и чувствуешь ты, что и ему, канашкѣ, хорошо, въ росѣ-то съ подружкой сидючи... А на небѣ такое благолѣпіе: звѣздочки теплются, а то тучка наплыветъ, бѣлая, какъ вата—да и та еле движется...

На этомъ мѣстѣ разсказа Скворевичъ чихнулъ: чихнулъ и Кинаревичъ, никогда и ни въ чемъ не отстававшій отъ своего товарища. Антонъ Степанычъ посмотрѣлъ одобрительно на обоихъ.

— Ну-съ, — продолжалъ Порфирій Капитонычъ: — вотъ такъ-то лежу я, и опять-таки заснуть не могу. Размышленіе нашло на меня; а размышлялъ я больше о премудрости: что вотъ какъ-молъ это Прохорычъ мнѣ справедливо объяснилъ насчетъ предостереженья—и почему это именно надо мной такія чудеса совершаются?.. Я удивляюсь — собственно потому, что ничего не попимаю — а Трезорушко повизгиваетъ, свернувшись въ сѣнѣ: больно ему отъ ранъ-то. И еще я вамъ скажу, что́ мнѣ спать мѣшало—вы не повѣрите: мѣсяцъ! Стоитъ онъ прямо передо мной, этакій круглый, большой, желтый, плоскій, и сдается мнѣ, что уставился онъ на меня, ей Богу; да такъ нагло, назойливо... Я ему даже языкъ наконецъ высунулъ, право. Ну чего, думаю, любопытствуешь? Отвернусь я отъ него — а онъ мнѣ въ ухо лѣзетъ, затылокъ мнѣ озаряетъ, такъ вотъ и обдаетъ, словно дождемъ; открою глаза—что́ же? Былинку каждую, каждый дрянной сучокъ въ сѣнѣ, паутинку самую ничтожную—такъ и чеканитъ, такъ и чеканитъ! На-молъ, смотри! Нечего дѣлать: оперъ я голову на руку, сталъ смотрѣть.

Да и нельзя: повѣрите-ли, глаза у меня, какъ у зайца, такъ и пучатся, такъ и раскрываются — словно имъ и неизвѣстно, что́ за сонъ бываетъ за такой. Такъ, кажется, и съѣлъ бы все этими самыми глазами. Ворота сарая открыты настежь; верстъ на пять въ полѣ видно: и явственно и нѣтъ, какъ оно всегда бываетъ въ лунную ночь. Вотъ гляжу я, гляжу — и не смигну даже... И вдругъ мнѣ показалось, какъ-будто что-то мотанулось —далеко, далеко... такъ, словно что померещилось. Прошло нѣсколько времени: опять тѣнь проскочила — уже немножко ближе; потомъ опять, еще поближе. Что, думаю, это такое? заяцъ, что-ли? Нѣтъ, думаю, это будетъ покрупнѣе зайца — да и побѣжка не та. Гляжу: опять тѣнь показалась, и движется она уже по выгону (а выгонъ-то отъ луны бѣлесоватый) этакимъ крупнымъ пятномъ; понятное дѣло: звѣрь, лисица или волкъ. Сердце во мнѣ екнуло... а чего, кажись, я испугался? Мало ли всякаго звѣря ночью по полю бѣгаетъ? Но любопытство-то еще пуще страха; приподнялся я, глаза вытаращилъ, а самъ вдругъ похолодѣлъ весь, такъ-таки застылъ, точно меня въ ледъ по уши зарыли, а отчего? Господь вѣдаетъ! И вижу я: тѣнь все ростетъ, ростетъ, значитъ, прямо на сарай катитъ... И вотъ ужъ мнѣ понятно становится, что это — точно звѣрь, большой, головастый... Мчится онъ вихремъ, пулей... Батюшки! что́ это? Онъ разомъ остановился, словно почуялъ что... Да это... это сегодняшняя бѣшеная собака! Она.. она! Господи! А я-то пошевельнуться не могу, крикнуть не могу... Она подскочила къ воротамъ, сверкнула глазами, взвыла—и по сѣну прямо на меня!

А изъ сѣна-то, какъ левъ, мой Трезоръ — и вотъ онъ! Пасть съ пастью такъ и вцѣпились оба — да клубомъ о земь! Что́ ужъ тутъ происходило — не помню;

помню только, что я, какъ былъ, кубаремъ черезъ нихъ, да въ садъ, да домой къ себѣ въ спальню!.. Чуть подъ кровать не забился—что грѣха таить. А какіе скачки, какія лансады по саду задавалъ! Кажется, самая первая танцорка, что у императора Наполеона въ день его ангела пляшетъ—и та за мной бы не угналась. Однако, опомнившись немного, я тотчасъ же весь домъ на ноги поднялъ; велѣлъ всѣмъ вооружиться, самъ взялъ саблю и револьверъ. (Я, признаться, этотъ револьверъ вскорѣ послѣ эманципаціи купилъ, знаете, на всякій случай—только такой попался бестія разнощикъ, изъ трехъ выстрѣловъ непремѣнно двѣ осѣчки). Ну-съ, взялъ я все это, и такимъ манеромъ мы цѣлой оравой, съ дрекольями, съ фонарями и отправились въ сарай. Подходимъ, окликаемъ—не слыхать ничего; входимъ, наконецъ, въ сарай... И что же мы видимъ? Лежитъ мой бѣдный Трезорушко мертвый, съ перерваннымъ горломъ—а той-то, проклятой, и слѣдъ простылъ!

И тутъ я, господа, взвылъ какъ теленокъ и, не стыдясь, скажу: припалъ я къ моему двукратному, такъ сказать, избавителю, и долго лобзалъ его въ голову. И пробылъ я въ этомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока въ чувство меня не привела моя старая ключница Прасковья (она тоже прибѣжала на гвалтъ).—Что это вы, Порфирій Капитонычъ,—промолвила она,—такъ обо псѣ убиваетесь? Да и простудитесь еще, Боже сохрани! (Очень ужъ я былъ налегкѣ). А коли песъ этотъ, васъ спасаючи, жизни *рѣшился*, такъ для него это за великую милость почесть можно!

Я хотя съ Прасковьей не согласился, однако пошелъ домой А бѣшеную собаку на слѣдующій день гарнизонный солдатъ изъ ружья застрѣлилъ. И, стало-быть, ужъ ей такой былъ предѣлъ положенъ: въ первой разъ от-

родясь солдатъ-то изъ ружья выпалилъ, хоть и медаль имѣлъ за двѣнадцатый годъ. Такъ вотъ какое со мной произошло сверхъестественное событіе.

Разсказчикъ умолкъ и сталъ набивать себѣ трубку. А мы всѣ переглянулись въ недоумѣніи. — Да вы, можетъ быть, очень праведной жизни, — началъ-было г. Финоплентовъ, — такъ въ возмездіе... — Но на этомъ словѣ онъ запнулся, ибо увидалъ, что у Порфирія Капитоныча щеки надулись и покраснѣли и глаза съежились—вотъ сейчасъ прыснетъ человѣкъ...

— Но если допустить возможность сверхъественнаго, возможность его вмѣшательства въ ежедневную, такъ-сказать, жизнь,—началъ снова Антонъ Степанычъ:—то какую же роль, послѣ этого, долженъ играть здравый разсудокъ?

Никто изъ насъ ничего не нашелся отвѣтить—и мы, попрежнему, пребывали въ недоумѣніи.

1866 г.

ИСТОРІЯ ЛЕЙТЕНАНТА ЕРГУНОВА.

I.

ВЪ ТОТЪ вечеръ Кузьма Васильевичъ Ергуновъ разсказалъ намъ опять свою исторію. Онъ повторялъ ее аккуратно разъ въ мѣсяцъ, и мы слушали ее каждый разъ съ новымъ удовольствіемъ, хотя знали ее чуть не наизусть, со всѣми ея подробностями. Подробности эти обросли, если можно такъ выразиться, первоначальный стволъ самой исторіи, какъ опенки обростаютъ срубленный пень. Слишкомъ хорошо зная характеръ нашего собесѣдника, мы не затруднялись пополнять его недомолвки и пропуски. Но съ тѣхъ поръ Кузьма Васильевичъ умеръ, и уже разсказывать его исторію будетъ некому, а потому мы и рѣшаемся довести ее до всеобщаго свѣдѣнія.

II.

Случилась она лѣтъ сорокъ тому назадъ, во время молодости Кузьмы Васильевича. Самъ онъ говорилъ про себя, что былъ онъ тогда франтъ и красавецъ, кровь съ молокомъ, губы имѣлъ румяныя, волосы кудрявые и очи соколиныя. Мы вѣрили ему на-слово, хотя ничего по-

добнаго въ немъ не находили: на наши глаза Кузьма Васильевичъ представлялся человѣкомъ наружности весьма обыкновенной, съ простымъ и какъ бы заспаннымъ лицомъ, грузнымъ и нескладнымъ тѣломъ. Но и то сказать: годы хоть какую красоту исказятъ! Слѣды франтовства болѣе ясно сохранились въ Кузьмѣ Васильевичѣ. Онъ до старости носилъ узкіе панталоны со штрипками, перетягивалъ свой дебелый станъ, на затылкѣ стригъ, на лбу завивалъ свои волосы, и усы красилъ персидскою фаброй, которая, впрочемъ, отливала больше багрянцемъ и даже зеленью, чѣмъ чернотой. Со всѣмъ тѣмъ Кузьма Васильевичъ былъ весьма достойный дворянинъ, хотя за преферансомъ любилъ „запускать *глазенапа*“ къ сосѣдямъ, то-есть заглядывать имъ въ карты; но это онъ дѣлалъ не столько изъ жадности, сколько изъ бережливости, ибо не любилъ попусту тратить деньги. Однако, въ сторону прибаутки: приступимъ къ самому дѣлу.

III.

Дѣло это происходило весной, въ тогда еще новомъ городѣ Николаевѣ, куда Кузьма Васильевичъ былъ откомандированъ по казенному порученію. (Онъ служилъ лейтенантомъ во флотѣ). Начальство ввѣрило ему, какъ надежному и благоразумному офицеру, надзоръ за какими-то морскими постройками, и отъ времени до времени выдавало въ его распоряженіе довольно значительныя суммы, которыя онъ, для большей безопасности, постоянно носилъ въ кожаномъ поясѣ на тѣлѣ. Кузьма Васильевичъ, дѣйствительно, отличался благоразуміемъ, и несмотря на свои молодые годы, велъ себя примѣрно; всякихъ неприличныхъ поступковъ избѣгалъ тщательно,

не прикасался картъ, вина не пилъ и даже общества чуждался, такъ что товарищи его, смирные—прозывали его красною дѣвицей, а буйные—мямлей и рохлей. За Кузьмой Васильевичемъ водился одинъ только грѣшокъ: онъ питалъ сердечную склонность къ прекрасному полу; однако и тутъ умѣлъ сдерживать свои порывы, и никакого „малодушества“ себѣ не позволялъ. Онъ вставалъ и ложился спать рано, добросовѣстно исполнялъ свою обязанность, и единственное его развлеченіе состояло въ вечернихъ, довольно продолжительныхъ прогулкахъ по загороднымъ улицамъ Николаева. Книгъ онъ не читалъ, ибо боялся приливовъ въ головѣ; каждую весну онъ пилъ особый декоктъ противъ полнокровія. Надѣвъ мундиръ и старательно обчистившись вѣничкомъ, Кузьма Васильевичъ отправлялся степеннымъ шагомъ вдоль заборовъ фруктовыхъ садовъ, часто останавливался, любовался красотами природы, срывалъ цвѣтокъ на память и чувствовалъ нѣкоторое удовольствіе; но особенное наслажденіе испытывалъ онъ только тогда, когда ему случалось встрѣтить „купидончика“, то-есть хорошенькую мѣщаночку, спѣшившую домой въ накинутой на плечи душегрѣйкѣ, съ узелкомъ въ голенькой ручкѣ и съ пестрымъ платочкомъ на головѣ. Будучи, какъ онъ самъ выражался, комплекціи чувствительной, но скромной, Кузьма Васильевичъ не заговаривалъ съ „купидончикомъ“, за то привѣтливо улыбался ему, долго и внимательно глядѣлъ ему въ слѣдъ... Потомъ вздыхалъ глубоко, отправлялся тѣмъ же степеннымъ шагомъ домой, садился у окошка и мечталъ съ полчасика, бережно покуривая крѣпкій вагштафъ изъ большой пѣнковой трубки, подаренной ему крестнымъ отцомъ, квартальнымъ надзирателемъ изъ нѣмцевъ. Такъ проходили дни, ни весело, ни скучно.

IV.

Вотъ однажды, возвращаясь передъ сумерками пустымъ переулкомъ къ себѣ на квартиру, Кузьма Васильевичъ услышалъ за собой торопливые шаги и прерывистыя слова, смѣшанныя съ рыданьями. Онъ оглянулся и увидѣлъ дѣвушку лѣтъ двадцати, съ чрезвычайно пріятнымъ, но совершенно разстроеннымъ и заплаканнымъ лицомъ. Казалось, ее постигло большое и неожиданное горе: она бѣжала и спотыкалась на бѣгу, говорила сама съ собой, охала, махала руками; ея бѣлокурые волосы растрепались, а косынка (тогда еще не знали ни бурнусовъ, ни мантилій) соскользнула съ плечъ и держалась на одной булавкѣ. Одѣта была дѣвушка какъ барышня, не какъ мѣщанка.

Кузьма Васильевичъ посторонился; чувство состраданія побѣдило въ немъ опасеніе смалодушничать, и когда она съ нимъ поравнялась, онъ вѣжливо прикоснулся къ козырьку своего кивера и спросилъ ее о причинѣ ея слезъ.

— Потому, — прибавилъ онъ, и положивъ руку на кортикъ, — я, какъ военный человѣкъ, могу помочь

Дѣвушка остановилась и, повидимому, въ первое мгновенье не совсѣмъ ясно поняла, чего онъ хотѣлъ отъ нея; но тотчасъ же, какъ бы обрадовавшись случаю высказаться, заговорила на несовсѣмъ чистомъ русскомъ языкѣ.

— Помилуйте, господинъ офицеръ,—начала она, и слезы посыпались дождемъ по ея миловиднымъ щекамъ,— что же это такое! Это ужасти, это Богъ знаетъ что! Насъ совсѣмъ ограбили, помилуйте! Кухарка все, все унесла, все, сервизъ, щикатулку и платье... да... и платье даже, и чулки, и бѣлье... да... и тетенькинъ ридикюль, тамъ еще была двадцати-пяти-рублевая бумажка въ та-

кой маленькій футляръ, и двѣ ложки анпликэ... и еще салопъ, и все... И это я все говорю господину квартальному поручику, а господинъ квартальный поручикъ говоритъ: „Подите вонъ, не вѣрю, не вѣрю... Слышать, слышать не хочу, вы сами такія же!“ Я говорю: „Помилуйте, салопъ...“ а онъ: „Слышать, слышать не хочу!“ Такъ обидно, господинъ офицеръ! Подите, говоритъ, вонъ... вонъ!... Да куда же я пойду?

Дѣвушка судорожно, почти съ воплемъ зарыдала и, совершенно растерявшись, приклонилась къ рукаву Кузьмы Васильевича... Онъ смутился въ свою очередь, и замеръ на мѣстѣ, только изрѣдка повторяя: „Полноте, полноте!“ а самъ все глядѣлъ на тонкій, безпрестанно вздрагивавшій затылокъ огорченной дѣвушки.

— Позвольте, я провожу васъ, — сказалъ онъ наконецъ, слегка касаясь указательнымъ пальцемъ ея плеча,— а то тутъ на улицѣ, вы понимаете, никакъ невозможно. Вы объясните мнѣ ваше неудовольствіе, и конечно, я приложу все стараніе... какъ офицеръ.

Дѣвушка приподняла голову, и казалось, въ первый разъ хорошенько разглядѣла молодого человѣка, который, можно сказать, держалъ ее въ своихъ объятіяхъ. Она застыдилась, отвернулась, и все еще всхлипывая, отошла немного въ сторону. Кузьма Васильевичъ возобновилъ свое предложеніе. Дѣвушка посмотрѣла на него искоса, сквозь мокрые отъ слезъ волосы, падавшіе ей на лицо (Кузьма Васильевичъ на этомъ мѣстѣ разсказа всякій разъ увѣрялъ насъ, что этотъ взглядъ пронзилъ его „словно шиломъ“, а однажды даже попытался представить намъ этотъ удивительный взглядъ), и положивъ свою руку на подставленную калачикомъ руку услужливаго лейтенанта, отправилась вмѣстѣ съ нимъ на свою квартиру.

V.

Кузьма Васильевичъ въ жизни своей имѣлъ мало обращенія съ дамами, и потому затруднялся съ чего бы начать бесѣду, но спутница его сама залепетала весьма рѣчисто, безпрестанно утирая безпрестанно накоплявшіяся слезы. Нѣсколько мгновеній спустя, Кузьма Васильевичъ уже зналъ, что ее звали Эмиліей Карловной, что она была родомъ изъ Риги, а въ Николаевъ пріѣхала погостить къ своей тетенькѣ, которая тоже была изъ Риги, что ея папенька также служилъ въ военной службѣ, но умеръ „отъ груди"; что у тетеньки была кухарка изъ русскихъ, очень хорошая и дешевая, только безъ паспорта, и что самая та кухарка въ самый тотъ день ихъ обокрала и сбѣжала неизвѣстно куда. Надо было идти въ полицію—in die Polizei... Но тутъ воспоминанія о квартальномъ, о нанесенной обидѣ нахлынули снова... и снова разразились рыданья. Кузьма Васильевичъ опять затруднился, что бы сказать такое утѣшительное... Но дѣвушка, у которой, повидимому, всѣ впечатлѣнія и приходили и уходили очень скоро, внезапно остановилась и, протянувъ руку, спокойно промолвила:

— А вотъ наша квартира!

VI.

Квартира эта состояла изъ плохенькаго, словно въ землю вросшаго домика, съ четырьмя крошечными окошками на улицу. Темная зелень гераніума застилала ихъ изнутри, въ одномъ изъ нихъ теплилась свѣчка: ночь уже надвигалась. Отъ самаго домика и почти въ уровень съ нимъ тянулся бревенчатый заборъ съ едва за-

мѣтною калиткой. Дѣвушка подошла къ ней и, найдя ее запертою, нетерпѣливо заколотила желѣзнымъ кольцомъ заржавѣлаго замка. Послышались за заборомъ тяжелые шаги, словно кто шелъ, небрежно шаркая, въ стоптанныхъ туфляхъ, и хриплый женскій голосъ спросилъ что-то по-нѣмецки, чего Кузьма Васильевичъ не понялъ: онъ, какъ истый морякъ, не зналъ ни одного языка, кромѣ русскаго. Дѣвушка отвѣчала тоже по-нѣмецки; калитка чуть-чуть отворилась и, впустивъ дѣвушку, тотчасъ захлопнулась передъ самымъ носомъ Кузьмы Васильевича, который, однако, успѣлъ разглядѣть, среди полумрака лѣтнихъ сумерекъ, обликъ толстой старухи въ красномъ платьѣ, съ тусклымъ фонаремъ въ рукѣ. Пораженный изумленьемъ, Кузьма Васильевичъ остался нѣкоторое время неподвиженъ на улицѣ; но при мысли, что съ нимъ, военнымъ офицеромъ, такъ невѣжливо поступаютъ (Кузьма Васильевичъ весьма дорожилъ своимъ званіемъ), онъ почувствовалъ приливъ негодованія, круто повернулъ налѣво кругомъ и направился домой. Онъ еще десяти шаговъ не отошелъ, какъ калитка опять отворилась, и дѣвушка, уже успѣвшая пошептаться со старухой, показалась на порогѣ и громко воскликнула:

— Куда же вы, господинъ офицеръ! Пожалуйте къ намъ!

Кузьма Васильевичъ поколебался немного, однако вернулся.

VII.

Его новая знакомая, которую мы отнынѣ будемъ звать Эмиліей, ввела его чрезъ темный и сырой чуланчикъ въ довольно большую, но низкую и неопрятную комнату, съ громаднымъ шкафомъ у задней стѣны,

клеенчатымъ диваномъ, облупившимися портретами двухъ архіереевъ въ клобукахъ и одного турка въ чалмѣ надъ дверями и между оконъ, картонами и коробками по угламъ, разрозненными стульями и кривоногимъ ломбернымъ столомъ, на которомъ лежала мужская фуражка возлѣ недопитаго стакана съ квасомъ. Вслѣдъ за Кузьмой Васильевичемъ вошла въ комнату и замѣченная имъ у калитки старуха въ красномъ платьѣ, которая оказалась весьма неблагообразною жидовкой, съ угрюмыми свиными глазками и сѣдыми усами на одутловатой верхней губѣ. Эмилія указала на нее Кузьмѣ Васильевичу и промолвила:

— А вотъ моя тетенька, мадамъ Фритче.

Кузьма Васильевичъ нѣсколько удивился, однако почелъ долгомъ отрекомендоваться. Мадамъ Фритче посмотрѣла на него изъ-подлобья, ничего ему не отвѣтила и спросила свою племянницу по-русски: не хочетъ ли она чаю?

— Ахъ да, чаю!—подхватила Эмилія;—не правда ли, господинъ офицеръ, вы будете кушать чай? Да, тантушка, дайте чаю!... Но что же вы стоите, господинъ офицеръ? Садитесь! Ахъ, какой вы церемонный! Позвольте, я сниму косынку.

Когда Эмилія говорила, она безпрестанно поворачивала голову изъ стороны въ сторону и подергивала плечиками; птицы такъ дѣлаютъ, когда сидятъ на высокой голой вѣткѣ и со всѣхъ сторонъ освѣщены солнцемъ.

Кузьма Васильевичъ опустился на стулъ и, придавъ осанкѣ своей надлежащую важность, а именно, подпершись кортикомъ и устремивъ глаза на полъ, навелъ рѣчь на покражу. Но Эмилія тотчасъ перебила его.

— Не безпокойтесь, это ничего; тетенька мнѣ сейчасъ сказала, что главныя вещи сысканы. (Мадамъ Фритче

проворчала что-то себѣ подъ носъ и вышла вонъ). И совсѣмъ не надо было ходить въ Polizei; но я никакъ не могу утерпѣть, потому я такая... Вы не понимаете понѣмецки?... такая быстрая, immer so rasch! Но я уже не думаю объ этомъ... aber auch gar nicht!

Кузьма Васильевичъ посмотрѣлъ на Эмилію. Дѣйствительно, лицо ея приняло выраженіе самое беззаботное. Все въ немъ улыбалось, въ этомъ хорошенькомъ личикѣ: и опушенные почти бѣлыми рѣсницами глаза, и губы, и щеки, и подбородокъ, и ямочка на подбородкѣ, и самый даже кончикъ вздернутаго носа. Она подошла къ маленькому зеркальцу возлѣ шкафа и, попѣвая сквозь зубы и щурясь, стала поправлять волосы. Кузьма Васильевичъ пристально слѣдилъ за ея движеніями... Очень она ему нравилась.

VIII.

— Вы меня извините,—заговорила она снова, слегка повертываясь передъ зеркаломъ,—что я васъ такъ... привела къ себѣ. Можетъ быть, вамъ непріятно?

— О, помилуйте!

— Я вамъ уже сказала: я такая быстрая. Сперва сдѣлаю, потомъ подумаю. А иногда даже и не подумаю... Какъ васъ зовутъ, господинъ офицеръ? Можно спросить? — прибавила она, подойдя къ нему и скрестивъ руки.

— Меня зовутъ Ергуновъ, Кузьма Васильевъ.

— Ергу... Ахъ, это имя нехорошо!.. То-есть, трудно для меня. Я буду васъ звать господинъ Флорестанъ. У насъ въ Ригѣ былъ одинъ господинъ Флорестанъ. Онъ продавалъ отличный гроденапль въ магазинѣ и былъ красавецъ. Не хуже васъ. Но какой вы широкоплечій! На-

стоящій русскій молодецъ! Я люблю русскихъ... я сама русская... мой папенька былъ офицеръ. А руки у меня бѣлѣе вашихъ!—Она подняла ихъ надъ головой, помахала ими нѣсколько разъ по воздуху, для того, чтобы кровь отъ нихъ оттекла, и тотчасъ ихъ опустила.—Видите? Я ихъ мою греческимъ мыломъ... съ духами... Понюхайте... Ахъ! да не цѣлуйте... Я не затѣмъ... Гдѣ вы служите?

— Я служу въ 19-мъ черноморскомъ экипажѣ, во флотѣ.

— А! Вы морякъ! А что же, у васъ большое жалованье?

— Нѣтъ... не очень-съ.

— Вы, должно быть, очень храбры. Это сейчасъ видно по вашимъ глазамъ. Какія у васъ густыя брови! Говорятъ, ихъ надо на ночь саломъ мазать, чтобы росли. Но отчего у васъ усовъ нѣтъ?

— По формѣ не полагается.

— Ахъ! это нехорошо! Что это у васъ, кинжалъ?

— Это кортикъ; кортикъ, такъ-сказать, принадлежность моряковъ.

— А! кортикъ! Что онъ острый? Можно посмотрѣть?—Она съ усиліемъ, закусивъ губы и щурясь, вытащила лезвіе изъ ноженъ и приложилась къ нему носомъ. — О, какой тупой! Этакъ я васъ сейчасъ убить могу.

Она замахнулась на Кузьму Васильевича. Онъ притворился, что испугался и засмѣялся. И она засмѣялась.

— Ihr habt pardon, вы помилованы, — промолвила она, принявъ величественную позу.—На, возьмите ваше оружіе! А сколько вамъ лѣтъ?—спросила она вдругъ.

— Двадцать-пять.

— А мнѣ девятнадцать! Какъ это смѣшно! Ахъ!

И Эмилія залилась такимъ звонкимъ хохотомъ, что даже назадъ немного опрокинулась. Кузьма Васильевичъ не поднимался со стула и еще пристальнѣе прежняго глядѣлъ на ея розовое, трепетавшее отъ смѣха лицо, и нравилась она ему все больше и больше.

Эмилія вдругъ умолкла, и напѣвая сквозь зубы — такая у ней была привычка — снова подошла къ зеркалу.

— Вы умѣете пѣть, господинъ Флорестанъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Не выученъ-съ.

— А играть на гитарѣ? Тоже нѣтъ? А я умѣю. У меня есть гитара съ перленмуттеръ, только струны порваны. Надо будетъ купить. Вы мнѣ дадите денегъ, господинъ офицеръ? Я вамъ спою прекрасный нѣмецкій романсъ.—Она вздохнула и закрыла глаза.—Ахъ, такой прекрасный! Но танцовать вы умѣете? И это нѣтъ? Unmöglich! Я васъ выучу. Лакосезъ и вальсъ-казакъ. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-лала... — Эмилія подпрыгнула раза два.—Посмотрите, какія у меня ботинки! „З'Варшавы". О! мы будемъ танцовать съ вами, господинъ Флорестанъ! Но какъ вы называть меня будете?

Кузьма Васильевичъ осклабился и покраснѣлъ до ушей.

— Я буду васъ звать: прекраснѣйшая Эмилія!

— Нѣтъ! нѣтъ! Вы должны звать меня: Mein Schätzchen, mein Zuckerpüppchen! Повторяйте за мною.

— Съ величайшимъ моимъ удовольствіемъ, но я боюсь, для меня будетъ затруднительно...

— Все равно, все равно. Скажите: Mein...

— Мэ... инъ...

— Zucker...

— Цук... керъ...

— Püppchen! Püppchen! Püppchen!

— Пю... Пю... Этого я не могу-съ. Нехорошо что-то выходитъ.

— Нѣтъ! Вы должны... Вы должны! А вы знаете, что это значитъ? Это по-нѣмецки самое пріятное для барышень слово. Я вамъ это растолкую послѣ. А теперь вотъ тетенька намъ самоваръ несетъ. Браво! браво! Тетенька, я буду пить чай со сливками... Есть сливки?

— So schweige doch!—отвѣчала тетенька.

IX.

Кузьма Васильевичъ просидѣлъ у мадамъ Фритче до полуночи. Съ самаго своего пріѣзда въ Николаевъ онъ еще не проводилъ такого пріятнаго вечера. Правда, ему не разъ приходило въ голову, что офицеру или дворянину не слѣдовало бы знаться съ особами въ родѣ рижской уроженки и ея „тантушки“, но Эмилія такая была хорошенькая, такъ забавно болтала, такъ ласково на него поглядывала, что онъ махнулъ рукой на свое происхожденіе, званіе, и рѣшился на этотъ разъ пожить въ „собственное удовольствіе“. Одно только обстоятельство его смутило и оставило въ немъ впечатлѣніе не совсѣмъ пріятное. Въ самомъ разгарѣ разговора между имъ, Эмиліей и мадамъ Фритче, дверь изъ передней комнаты чуть-чуть растворилась, и мужская рука въ темномъ обшлагѣ съ тремя крошечными серебряными пуговками тихонько высунулась и тихонько положила на стулъ возлѣ двери довольно большой узелъ. Обѣ дамы тотчасъ бросились къ стулу и начали разсматривать принесенное. „Да это не тѣ ложки!“ воскликнула Эмилія, но тетка толкнула ее локтемъ и унесла узелъ, не завязавъ концовъ. Кузьмѣ Васильевичу показалось, какъ будто одинъ изъ нихъ былъ запачканъ чѣмъ-то краснымъ, словно кровью...

— Что это? — спросилъ онъ Эмилію. — Вамъ еще нѣсколько краденыхъ вещей возвратили?

— Да,—отвѣчала Эмилія, какъ бы нехотя;—еще.

— Это слуга вашъ ихъ отыскалъ?

Эмилія нахмурилась.

— Какой слуга? У насъ нѣтъ никакого слуги.

— Такъ другой какой мужчина?

— Къ намъ мужчины не ходятъ.

— Однако позвольте, позвольте... Я видѣлъ обшлагъ мужского сюртука или венгерки. И, наконецъ, эта фуражка...

— Къ намъ никогда, никогда мужчины не ходятъ,— настойчиво повторила Эмилія... — Что вы видѣли... Ничего вы не видѣли! А фуражка эта моя.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Случится въ маскарадъ... Ну да, моя, und Punctum!

— А кто-жъ вамъ узелъ-то принесъ?

Эмилія ничего не отвѣчала и, надувъ губы, вышла изъ комнаты вслѣдъ за мадамъ Фритче. Спустя минутъ десять, она вернулась одна безъ тетки, и когда Кузьма Васильевичъ снова принялся ее разспрашивать, она посмотрѣла ему въ лобъ, сказала, что стыдно быть кавалеру любопытнымъ (при этихъ словахъ лицо ея немного измѣнилось, словно потемнѣло) и, доставъ изъ ломбернаго стола колоду старыхъ картъ, попросила его погадать на ея счастье и на червоннаго короля.

Кузьма Васильевичъ засмѣялся, взялъ карты и всякія нехорошія мысли тотчасъ выскочили у него изъ головы.

Но онѣ еще разъ вернулись къ нему въ тотъ же день. А именно: онъ уже вышелъ изъ калитки на улицу, уже простился съ Эмиліей, въ послѣдній разъ крикнувъ ей: „Adieu Zuckerpüppchen!“ какъ вдругъ мимо его прошмыгнулъ человѣкъ невысокаго роста и, обернувшись на

мигъ въ его сторону (ночь давно наступила, но луна свѣтила довольно ярко), выставилъ цыганское худощавое лицо съ черными густыми бровями и усами, черными глазами и крючковатымъ носомъ. Человѣкъ этотъ тотчасъ бросился за уголъ, а Кузьмѣ Васильевичу показалось, что онъ узналъ не лицо его,—онъ никогда не видалъ его прежде,—а обшлагъ его рукава: три серебряныя пуговки явственно сверкнули на лунѣ. Тревожное недоумѣніе зашевелилось въ душѣ осторожнаго лейтенанта; вернувшись домой, онъ не закурилъ, по обыкновенію, своей пѣнковой трубки. Впрочемъ, неожиданное знакомство съ любезною Эмиліей и пріятные часы, проведенные въ ея обществѣ, способствовали взволнованному настроенію его чувствъ.

X.

Какія бы ни были опасенія Кузьмы Васильевича, они разсѣялись скоро и не оставили слѣда. Онъ сталъ частенько навѣдываться къ обѣимъ дамамъ изъ Риги. Влюбчивый лейтенантъ сблизился съ Эмиліей. Сперва онъ стыдился этой близости, скрывалъ свои посѣщенія, потомъ пересталъ стыдиться и скрываться; кончилось тѣмъ, что онъ охотнѣе сидѣлъ у своихъ новыхъ знакомыхъ, чѣмъ у кого бы то ни было, не говоря уже о собственныхъ, не слишкомъ веселыхъ четырехъ стѣнахъ. Сама мадамъ Фритче уже не возбуждала въ немъ непріятныхъ ощущеній, хотя обращалась съ нимъ непривѣтливо и угрюмо попрежнему. Особы мало зажиточныя, подобныя госпожѣ Фритче, въ гостяхъ своихъ преимущественно цѣнятъ щедрость; а Кузьма Васильевичъ былъ скупенекъ и дарилъ больше изюмомъ, грецкими орѣхами, пряни-

ками... Только разъ онъ, по собственному выраженію, „разорился“, поднесъ Эмиліи легенькую розовую косынку настоящей французской матеріи; а она въ тотъ же день прожгла на свѣчкѣ его подарокъ. Онъ сталъ ей выговаривать: она нацѣпила косынку на хвостъ кошкѣ; онъ разсердился: она разсмѣялась ему въ носъ. Кузьма Васильевичъ долженъ былъ, наконецъ, самому себѣ сознаться, что онъ нетолько не пользовался уваженіемъ дамъ изъ Риги, но даже довѣрія ихъ не заслужилъ: его никогда не впускали разомъ, безъ предварительнаго осмотра; иногда заставляли дожидаться. иногда отсылали прочь безъ всякой церемоніи и, желая что-нибудь скрыть отъ него, бесѣдовали при немъ по-нѣмецки. Эмилія не отдавала ему никакого отчета въ своихъ поступкахъ и на его вопросы отвѣчала какъ-то вскользь, словно не разслышавъ его словъ; а главное: нѣкоторыя комнаты въ домѣ мадамъ Фритче, который былъ довольно обширенъ, хотя съ улицы казался лачужкой, оставались для него постоянно закрытыми. За всѣмъ тѣмъ, Кузьма Васильевичъ не прекращалъ своихъ посѣщеній, а, напротивъ, учащалъ ихъ: онъ все-таки живыхъ людей видѣлъ. Самолюбіе его удовлетворялось также и тѣмъ, что Эмилія продолжала называть его Флорестаномъ, находила его красавцемъ необыкновеннымъ и увѣряла, что у него глаза какъ у райской птицы, „wie die Augen eines Paradiesvogels!“

XI.

Однажды, въ самый развалъ лѣта, въ полдень, Кузьма Васильевичъ, провозившись цѣлое утро на солнцѣ съ подрядчиками и работниками, притащился измученный, разбитый, къ калиткѣ слишкомъ извѣстнаго ему домика.

Онъ постучался; его впустили. Онъ ввалился въ такъ-называемую гостиную и тотчасъ же прикорнулъ на диванѣ. Эмилія подошла къ нему и отерла платкомъ его взмокшій лобъ.

— Какъ онъ усталъ, мой крошка! Какъ ему жарко! —проговорила она съ соболѣзнованіемъ. — Боже мой! хоть бы воротникъ разстегнулъ. Господи! Такъ душка и прыгаетъ.

— Умаялся я, дружокъ, — простоналъ Кузьма Васильевичъ. — Съ утра на ногахъ, да на самомъ все припекѣ. Бѣда! Домой хотѣлъ идти. Тамъ опять эти аспиды, подрядчики! А у васъ тутъ прохлада... кажется, соснулъ бы.

— Ну что же? Почивай мой цыпленочекъ; здѣсь никто не мѣшаетъ...

— Да совѣстно какъ-будто...

— В-вотъ! что за совѣсть. Почивай. А я тебя буду... какъ это по вашему?... баюбайкать. „Schlaf, mein Kindchen, schlafe!“—запѣла она.

— Водицы бы сперва испить...

— Вотъ тебѣ стаканъ воды. Свѣжая! Какъ кристаллъ! Постой, я подушечку подъ голову положу... А вотъ это отъ мухъ.

Она закрыла ему лицо платкомъ.

— Спасибо, купидончикъ... Я только такъ... вздремну маленько...

Кузьма Васильевичъ закрылъ глаза и заснулъ немедленно.

— „Schlaf, mein Kindchen, schlafe!“ — напѣвала Эмилія, покачиваясь изъ стороны въ сторону и сама тихонько подсмѣиваясь и пѣсенкѣ своей, и своимъ движеніямъ.

„Какое у меня большое дитя!“ думала она. „Мальчикъ!“

XII.

Часа черезъ полтора лейтенантъ проснулся. Ему чудилось сквозь сонъ, какъ-будто кто-то его трогаетъ, наклоняется, дышетъ надъ нимъ. Онъ ощупался, сдернулъ платокъ. Эмилія стояла на колѣняхъ близехонько возлѣ него; выраженіе ея лица показалось ему страннымъ. Она тотчасъ же вскочила, отошла къ окошку и спрятала что-то въ карманъ.

Кузьма Васильевичъ потянулся.

— Однако-жъ я-таки всхрапнулъ лихо!—промолвилъ онъ, зѣвая.—Поди-ка сюда, мэйне зюссе фрейленъ!

Эмилія подошла къ нему. Онъ проворно приподнялся, сунулъ руку въ ея карманъ и досталъ небольшія ножницы.

— Ach, Herr Je!—невольно воскликнула Эмилія.

— Это... это ножницы?—пробормоталъ Кузьма Васильевичъ.

— Ну да, конечно. А ты что думалъ... пистолетъ? Ахъ, какое у тебя смѣшное лицо! Измято какъ подушка, и волосы на затылкѣ всѣ кверху... И не смѣется... Ахъ, ахъ! И глаза опухли... Ахъ!

Эмилія захохотала.

— Ну, будетъ,—проворчалъ Кузьма Васильевичъ и всталъ съ дивана.—Будетъ зубы-то безъ толку скалить. Коли ничего умнѣе придумать не можешь, я вѣдь уйду... Я уйду,—повторилъ онъ, видя, что она не унимается.

Эмилія умолкла.

— Ну, полно, оставайся; я не стану... Только волосы поправить надо...

— Нѣтъ, что-жъ... Оставь! Я лучше уйду,—сказалъ Кузьма Васильевичъ и взялся за фуражку.

Эмилія надулась.

— Фуй, какой злой! Настоящій русскій! Всѣ русскіе злые! Вотъ онъ уходитъ. Фуй! Вчера мнѣ пять рублей обѣщалъ, а сегодня ничего не даетъ и уходитъ.

— У меня съ собой денегъ нѣтъ,—буркнулъ Кузьма Васильевичъ уже въ дверяхъ. – Прощай!

Эмилія посмотрѣла ему вслѣдъ и погрозилась пальцемъ.

— Денегъ нѣтъ! Слышите, слышите, что̀ говоритъ! Охъ, какіѐ обманщики эти русскіе! Но погодите, мопсъ вы этакой... Тантушка, пожалуйте-ка сюда, я вамъ что̀ скажу.

Вечеромъ того же дня, Кузьма Васильевичъ, ложась спать и раздѣваясь, замѣтилъ что въ верхнемъ краѣ его кожанаго пояса, вершка на полтора распоролся шовъ. Какъ человѣкъ аккуратный, онъ тотчасъ досталъ иголку и нитку, навощилъ ее и самъ зашилъ прорѣху, а впрочемъ не обратилъ никакого вниманія на это, повидимому, ничтожное обстоятельство.

XIII.

Весь слѣдующій день Кузьма Васильевичъ посвятилъ служебнымъ обязанностямъ; онъ не выходилъ изъ дому даже послѣ обѣда — и вплоть до ночи, въ нотѣ лица, строчилъ и переписывалъ на-бѣло рапортъ къ начальству, немилосердо путая буквы *ъ* и *е*, всякій разъ ставя послѣ „но“ восклицательный знакъ, а послѣ „впрочемъ“ — точку съ запятой. На другое утро босоногій жиденокъ, въ изорванномъ халатѣ, принесъ ему письмо отъ Эмиліи — первое письмо, полученное отъ нея Кузьмой Васильевичемъ: „Mein aller liebster Florestan, писала она ему, — не-

ушта ты такъ разсердился на твою Zuckerpüppchen, што не пришелъ вчирась? Пожалуста, не сердись, если ты не хочешь, штопъ твоя веселая Эмилія очень много плакала, и приходи непременно сиводни въ 5 часовъ вечера". (Цифра 5 была окружена двумя вѣнками). „Я очень, очень буду рада. Твоя любезная Эмилія". Кузьма Васильевичъ внутренно подивился учености своей любезной, далъ жиденку грошъ и велѣлъ сказать, что хорошо, молъ, приду.

XIV.

Кузьма Васильевичъ сдержалъ слово: пяти часовъ еще не пробило, какъ ужъ онъ стоялъ передъ калиткой госпожи Фритче. Но, къ удивленію своему, онъ не засталъ Эмиліи дома; его встрѣтила сама хозяйка и, сдѣлавъ предварительно—о, чудо!—книксенъ, сообщила ему, что по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ Эмилія принуждена была отлучиться, но что она скоро вернется и проситъ его подождать ее. На госпожѣ Фритче былъ опрятный бѣлый чепецъ; она улыбалась, говорила вкрадчивымъ голосомъ и, очевидно, старалась придать привѣтливое выраженіе своему угрюмому лицу, которое, впрочемъ, нисколько отъ этого не выигрывало, а, напротивъ, принимало какой-то зловѣщій оттѣнокъ.

— Вы, господинъ, присядьте, присядьте,—твердила она, подвигая кресло,—а мы васъ, если позволите, попотчуемъ!

Мадамъ Фритче еще разъ сдѣлала книксенъ, вышла изъ комнаты и скоро вернулась съ чашкой шоколада на маленькомъ желѣзномъ подносѣ. Шоколадъ оказался качества сомнительнаго, однако Кузьма Васильевичъ вы-

пилъ всю чашку съ удовольствіемъ, хотя рѣшительно не могъ понять, откуда бралась такая прыть у мадамъ Фритче, и что̀ все это значило? Со всѣмъ тѣмъ, Эмилія не приходила, и онъ начиналъ терять терпѣніе и скучать, какъ вдругъ ему послышались за стѣной звуки гитары. Сперва раздался одинъ аккордъ, потомъ другой, третій, четвертый,—все громче, громче и полнѣй. Кузьма Васильевичъ изумился: у Эмиліи, точно, была гитара, но съ тремя струнами: онъ все еще не собрался купить ей остальныя; притомъ же Эмиліи дома не было. Кто-жъ это могъ быть? Опять раздался аккордъ, и такъ звонко, словно въ самой комнатѣ... Кузьма Васильевичъ обернулся и чуть не вскрикнулъ отъ испуга. Передъ нимъ, на порогѣ низенькой двери, которой онъ до тѣхъ поръ не замѣтилъ,—тяжелый шкафъ ее задвигалъ,—стояло неизвѣстное существо: дитя не дитя, и не взрослая дѣвушка. Одѣта она была въ бѣлое платьице съ пестрыми разводами и красные башмаки съ каблучками; прихваченные сверху золотымъ ободкомъ, густые черные волосы падали въ видѣ плаща съ небольшой головки на худенькое тѣло. Изъ-подъ мягкой ихъ громады блестѣли темнымъ блескомъ огромные глаза; голыя, смуглыя ручки, обремененныя запястьями и кольцами, неподвижно держали гитару. Лица почти не было видно: такъ оно казалось мало и темно, только губы алѣли, да обозначался узкій прямой носъ. Кузьма Васильевичъ долго стоялъ какъ вкопанный и пристально, не смигнувъ пи разу, глядѣлъ на это странное существо; и оно на него глядѣло, и тоже не мигало и не шевелилось. Наконецъ онъ очнулся и маленькими шажками подошелъ къ нему.

Темное личико начало понемногу улыбаться, бѣлые зубки сверкнули вдругъ, головка приподнялась и, чуть-чуть встряхнувъ кудрями, показалась во всей своей рѣз-

кой и тонкой красотѣ. „Это что за бѣсенокъ?“ подумалъ Кузьма Васильевичъ и, нагнувшись еще поближе, промолвилъ въ полголоса:

— Фигурка! Эй, фигурка! Кто вы такая?

— Сюда, сюда,—промолвила немного сиплымъ голоскомъ, не русскимъ, медлительнымъ говоромъ и съ невѣрными удареніями „фигурка“ и подалась назадъ шага на два.

Кузьма Васильевичъ вслѣдъ за ней переступилъ порогъ и очутился въ крохотной комнаткѣ безъ оконъ, обитой по стѣнамъ и по полу толстыми коврами изъ верблюжьей шерсти. Сильный запахъ мускуса такъ и обдалъ его. Двѣ желтыя восковыя свѣчи горѣли на кругломъ столикѣ передъ низкимъ турецкимъ диванчикомъ. Въ углу стояла кроватка подъ кисейнымъ пологомъ съ шелковыми полосками, и длинныя янтарныя четки, съ красною кистью на концѣ, висѣли близъ изголовья.

— Да позвольте, наконецъ, кто вы такая?—повторилъ Кузьма Васильевичъ.

— Сéстра... сéстра Эмиліи.

— Вы ея сестра? И здѣсь живете?

— Да... Да...

Кузьма Васильевичъ захотѣлъ прикоснуться къ „фигуркѣ“. Она отшатнулась.

— Какъ же это она никогда мнѣ о васъ не говорила?

— А нéльзя... нéльзя...

— Вы, стало-быть, скрываетесь... прячетесь?

— Да...

— Есть такая причина?

— Есте... есте.

— Гм!—Кузьма Васильевичъ опять захотѣлъ прикоснуться къ „фигуркѣ“, она опять отшатнулась.—То-то я васъ никогда не замѣтилъ. Я, признаюсь, и суще-

вованія вашего не подозрѣвалъ. И мадамъ Фритче, аруха эта, вамъ тоже доводится теткой?

— Да... тётка.

— Гм! Вы какъ-будто по-русски плохо понимаете. акъ васъ зовутъ, позвольте узнать?

— Ко́либри.

— Какъ?

— Ко́либри.

— Ко́либри? Вотъ необыкновенное имя! Это, пом-ится, въ Африкѣ бываютъ такія насѣкомыя?

XV.

Колибри засмѣялась короткимъ страннымъ смѣхомъ... чно у ней въ горлѣ стеклышки столкнулись. Она по-чала головой, повела кругомъ глазами, положила ги-ру на столъ и, проворно подойдя къ двери, разомъ ее ѣтворила. Она двигалась живо и ловко съ едва слыш-мъ, быстрымъ шумомъ, какъ ящерица; сзади ея во-осы спускались ниже колѣнъ.

— А зачѣмъ вы дверь-то заперли,—спросилъ Кузьма асильевичъ. Колибри приложила палецъ къ губамъ:

— Эммилія... Не надо... ея не надо.

Кузьма Васильевичъ ухмыльнулся.

— Ужъ не ревнуете ли вы?

Колибри приподняла брови.

— Цо?

— Ревнуете... сердитесь, — объяснилъ Кузьма Ва-льевичъ.

— О, да!

— Вотъ какъ! Много чести!.. Послушайте, сколько мъ лѣтъ?

— Семинадцать.

— Семнадцать, вы хотите сказать?

— Да.

Кузьма Васильевичъ окинулъ внимательнымъ взоромъ свою фантастическую собесѣдницу.

— Какая же вы красоточка,—проговорилъ онъ внушительно.—Чудо! просто чудо! что за волосы! Глаза! А брови-то, брови!.. У!

Колибри опять засмѣялась и опять повела своими великолѣпными глазами.

— Да, я красавица! Садитесь, и я сяду... подлѣ.

— Извольте, извольте... Но, воля ваша, какая же вы сестра Эмиліи? Вы на нее нисколько не похожи.

— Нѣтъ... я сѐстра... куджи́на. Вотъ... возьмите... свѣто̀къ. Хо̀рошій свѣто̀къ. Пахнетъ.—Она вынула изъза пояса вѣтку бѣлой сирени, понюхала, откусила лепестокъ и подала ему всю вѣтку.—Хотите варенья? Хорошее... изъ Константинополи́... шербетъ.—Колибри достала изъ небольшого комода обернутую въ кусокъ алой шелковой матеріи, со стальными блестками, раззолоченную баночку, серебряную ложечку, хрустальный граненый графинчикъ съ водой и такой же стаканчикъ.—Кушайте шербетъ, господинъ; онъ очень прекрасный. Я вамъ буду пѣть... Хотите?—Она схватила гитару.

— А вы поете? — спросилъ Кузьма Васильевичъ, кладя себѣ въ ротъ ложку дѣйствительно превосходнаго шербету.

— О, да!—Она откинула назадъ свою косу, наклонила голову на бокъ и взяла нѣсколько аккордовъ, старательно глядя на концы своихъ пальцевъ и на ручку гитары... потомъ вдругъ запѣла не по росту сильнымъ и пріятнымъ, но гортаннымъ и для уха Кузьмы Васильевича нѣсколько дикимъ голосомъ. „Ахъ ты, моя кошечка!“

подумалъ онъ. Пѣла она пѣсню заунывную, нисколько не русскую и на языкѣ совершенно Кузьмѣ Васильевичу незнакомомъ. По его увѣренію, звуки: „кха, гха“—то и дѣло слышались въ пѣніи, а подъ конецъ она протяжно повторила: „синтамаръ“ или „синцимаръ“, что-то въ этомъ вкусѣ, подперлась рукой, вздохнула и опустила гитару на колѣни.—Хорошо?—спросила она.—Еще хотите?

— Съ моимъ удовольствіемъ,—отвѣчалъ Кузьма Васильевичъ.—Только зачѣмъ это у васъ такое лицо, словно все печальное? Вы бы шербету откушали.

— Нѣтъ... вы сами. А я еще... Эта будетъ весёлѣй.— Она спѣла другую пѣсенку, въ родѣ плясовой, на томъ же непонятномъ языкѣ. Опять послышались Кузьмѣ Васильевичу прежніе гортанные звуки. Ея смуглые пальчики такъ и бѣгали по струнамъ, „какъ паучки“. И кончила она этотъ разъ тѣмъ, что бойко крикнула: „Ганда!“ или „Гасса!“ и застучала кулачкомъ по столу, сверкая глазами...

XVI.

Кузьма Васильевичъ сидѣлъ какъ отуманенный. Голова у него кружилась. Такъ это все было неожиданно... Да и запахъ этотъ, пѣніе... свѣчи днемъ... шербетъ съ ванилью... А тутъ Колибри все ближе къ нему подвигается, волосы ея блестятъ и шуршатъ, и пышетъ отъ нея жаромъ, и это печальное лицо... „Русалка!“ подумалъ Кузьма Васильевичъ. Неловко ему что-то становилось.

— Душечка моя,—промолвилъ онъ, — признайтесь, что вамъ вздумалось меня сегодня къ себѣ позвать?

— Вы молодой, хорошёнькій... Я такихъ люблю.

— А, вотъ что! Но что скажетъ Эмилія! Она мнѣ письмо написала: она должна сейчасъ придти.

— Вы не говорите ей... ничего! Бѣда! Убьетъ!

— Кузьма Васильевичъ засмѣялся.

— Будто она такая злая?

Колибри нѣсколько разъ съ важностью качнула головой.

— И мадамъ Фритче тоже ничего. Ни! ни! ни!— Она тихонько постучала себѣ по лбу.—Понимаешь, офицеръ?

Кузьма Васильевичъ нахмурилъ брови.

— Тайна, значитъ?

— Да... да.

— Ну, пожалуй .. словечка не пророню. Только за это ты поцѣловать меня должна.

— Нѣтъ, послѣ... когда уйдешь.

— Вотъ еще что выдумала!—Кузьма Васильевичъ нагнулся-было къ ней, но она медленно отклонилась и выпрямилась какъ ужъ, на котораго набрели въ лѣсной травѣ. Кузьма Васильевичъ уставился на нее. — Вишь ты!— промолвилъ онъ наконецъ:—злюка какая! Ну, Господь съ тобою!

Колибри задумалась и обернулась къ лейтенанту... Вдругъ три мѣрныхъ, глухихъ удара раздались гдѣ-то въ домѣ. Колибри усмѣхнулась, почти фыркнула.

— Сегодня—нѣтъ, завтра—да. Завтра приходи.

— Въ которомъ часу?

— Въ семь... вечеромъ.

— А какъ быть съ Эмиліей?

— Эмилія... нѣтъ; не будетъ.

— Ты думаешь? Ну, хорошо. А только ты завтра скажешь мнѣ...

— Цо? (лицо Колибри, всякій разъ, когда она что спрашивала, принимало дѣтское выраженіе).

— Зачѣмъ ты отъ меня такъ долго пряталась?

— Да... да; завтра все будетъ, конецъ будетъ.

— Смотри же, а я тебѣ подарочекъ принесу...

— Нѣтъ... не надо.

— Отчего же? Ты вотъ, я вижу, наряжаться любишь.

— Не надо. Это... это... это...—и она указала пальцемъ на свое платье, на свои кольца, запястья, на все, что ее окружало...—это все мое. Не подарокъ. Я не беру.

— Какъ знаешь! А теперь уйдти надо?

— О, да!

Кузьма Васильевичъ приподнялся. Колибри тоже встала.

— Прощай, игрушечка! А когда-жъ поцѣлуй-то?

Колибри вдругъ легко подпрыгнула и, проворно вскинувъ обѣ руки вокругъ шеи молодого лейтенанта, не поцѣловала, а словно клюнула его въ губы. Онъ хотѣлъ поцѣловать ее въ свою очередь, но она мгновенно отскочила прочь и стала за диванчикъ.

— Такъ завтра въ семь часовъ? — промолвилъ онъ не безъ смущенія.

Она кивнула ему головой и, взявъ за конецъ двумя пальцами длинную прядь собственныхъ волосъ, прикусила её своими острыми зубками.

Кузьма Васильевичъ сдѣлалъ ей ручкой, вышелъ и потянулъ за собою дверь. Онъ слышалъ какъ Колибри тотчасъ къ ней подбѣжала... Ключъ звонко щелкнулъ въ замкѣ.

XVII.

Въ гостиной госпожи Фритче никого не было. Кузьма Васильевичъ немедленно отправился въ переднюю. Ему не хотѣлось столкнуться съ Эмиліей. Хозяйка встрѣтила его на крыльцѣ.

— А! Вы уходите, господинъ лейтенантъ,—промолвила она съ тою же притворною и зловѣщею ужимкой...—Эмиліи ждать не будете?

Кузьма Васильевичъ надѣлъ фуражку.

— Мнѣ, доложу вамъ, сударыня, некогда больше ждать. Я и завтра, можетъ-быть, не приду. Такъ вы ей и скажите.

— Хорошо, скажу. Но вѣдь вы не соскучились, господинъ лейтенантъ!

— Нѣтъ-съ; я не соскучился.

— То-то же. Прощенія просимъ-съ.

— Прощайте-съ.

Кузьма Васильевичъ пришелъ домой и, растянувшись на постели, погрузился въ размышленія. Онъ недоумѣвалъ несказанно. „Что за притча во языцѣхъ!“ воскликнулъ онъ не однажды. И зачѣмъ Эмилія ему писала? Назначила свиданіе и не пришла?.. „Онъ досталъ ея записку, повертѣлъ ее въ рукахъ, понюхалъ: пахло отъ нея табакомъ, и въ одномъ мѣстѣ онъ замѣтилъ поправку! стояло: „плакала“, а сперва было написано: „плакалъ“. Но что же можно извлечь изъ этого? И возможно ли, чтобы хозяйка ничего не знала? И *она*... Кто она? Да, кто она? Очаровательная Колибри, эта „игрушечка“, эта „фигурка“ не выходила у него изъ головы, и онъ съ нетерпѣніемъ дожидался завтрашняго вечера, хотя втайнѣ чуть не побаивался самой этой „игрушечки и фигурки“.

XVIII.

На слѣдующій день Кузьма Васильевичъ отправился передъ обѣдомъ въ ряды и, настойчиво поторговавшись, купилъ крошечный золотой крестикъ на бархатной лен-

точкѣ. „Хотя она и увѣряетъ“, такъ размышлялъ онъ, „что ей никакого подарка не требуется, но намъ хорошо извѣстно, что́ подобныя слова обозначаютъ; а, наконецъ, если точно нравъ у нея такой безкорыстный — Эмилія не побрезгаетъ“. Такъ размышлялъ николаевскій Донъ-Жуанъ, вѣроятно, даже не подозрѣвавшій въ то время, чѣмъ былъ и чѣмъ остался въ памяти людской настоящій Донъ-Жуанъ. Въ шестомъ часу вечера Кузьма Васильевичъ выбрился тщательно и,ославъ за знакомымъ цирюльникомъ, велѣлъ хорошенько напомадить и завить себѣ хохолъ, что тотъ и исполнилъ съ особеннымъ рвеніемъ, не жалѣя казенной бумаги на папильйотки; потомъ Кузьма Васильевичъ надѣлъ новый, съ иголочки мундиръ, взялъ въ правую руку пару новыхъ замшевыхъ перчатокъ и, побрызгавъ на себя лоделаваномъ, вышелъ изъ дому. Кузьма Васильевичъ въ этотъ разъ гораздо больше хлопоталъ о своей наружности, чѣмъ когда шелъ на свиданіе съ „Zuckerpüppchen“, не потому, что Колибри ему больше нравилась чѣмъ Эмилія, но въ „игрушечкѣ“ было нѣчто загадочное, нѣчто такое, что невольно возбуждало даже то лѣнивое воображеніе, какимъ обладалъ молодой лейтенантъ.

XIX.

Мадамъ Фритче встрѣтила его по вчерашнему, и какъ бы стакнувшись съ нимъ въ условной лжи, снова объявила ему, что Эмилія отлучилась на короткое время и проситъ ее подождать. Кузьма Васильевичъ наклонилъ голову въ знакъ согласія и присѣлъ на стулъ. Мадамъ Фритче опять улыбнулась, то-есть показала свои желтые клыки, и удалилась, не предложивъ ему шоколаду.

Кузьма Васильевичъ тотчасъ вперилъ взоры въ таинственную дверь. Она оставалась закрытою. Онъ громко кашлянулъ раза два, какъ бы давая знать о своемъ присутствіи... Дверь не шелохнулась. Онъ затаилъ дыханье, приникъ ухомъ... Хоть бы малѣйшій шумъ или шорохъ ему послышался; точно все вымерло кругомъ. Кузьма Васильевичъ всталъ, на цыпочкахъ приблизился къ двери—и, напрасно пошаривъ пальцами, нажалъ на нее колѣномъ... Не тутъ-то было. Тогда онъ нагнулся и раза два произнесъ усиленнымъ шопотомъ: „Колибри, Колибри... Игрушечка!“ Никто не отозвался. Кузьма Васильевичъ выпрямился, одернулъ мундиръ — и, постоявъ немного на мѣстѣ, уже болѣе твердыми шагами подошелъ къ окну и забарабанилъ по стекламъ. Онъ начиналъ чувствовать досаду, негодованіе; офицерскій гоноръ заговорилъ въ немъ: „Что за вздоръ!—подумалъ онъ наконецъ,— за кого меня принимаютъ? Коли такъ, вѣдь я кулаками застучу. Принуждена она будетъ откликнуться! Старуха услышитъ.. Ну что-жъ? Не я виноватъ!“ Онъ быстро повернулся на каблукахъ... Дверь стояла раскрытою на половину.

XX.

Кузьма Васильевичъ немедленно и снова на цыпочкахъ устремился въ потаенную комнатку. На диванѣ, въ бѣломъ платьѣ, съ широкимъ краснымъ поясомъ, лежала Колибри и, закрывъ нижнюю часть лица платкомъ, смѣялась безъ шума, но отъ души. Волосы свои она убрала на этотъ разъ, заплела ихъ въ двѣ тугія длинныя косы и перевила красными лентами; вчерашніе башмачки красовались на ея крошечныхъ, крестъ-на-крестъ положен-

ныхъ ножкахъ; но самыя эти ножки были голы: глядя на нихъ, можно было подумать, что она надѣла темные шелковые чулки. Диванъ стоялъ иначе чѣмъ наканунѣ: ближе къ стѣнѣ; а на столѣ, на китайскомъ подносѣ, виднѣлся толстобрюхій пестрый кофейникъ, рядомъ съ граненою сахарницей и двумя голубенькими фарфоровыми чашечками. Тутъ же лежала гитара, и сизый дымокъ бѣжалъ тонкою струйкой съ верхушки крупной курительной свѣчки.

Кузьма Васильевичъ подошелъ къ дивану и наклонился къ Колибри, но прежде чѣмъ онъ успѣлъ промолвить слово, она протянула руку и, не переставая смѣяться въ платокъ, запустила свои небольшіе жесткіе пальцы въ его волосы и мгновенно растрепала его благоустроенный кокъ.

— Это что еще?—воскликнулъ Кузьма Васильевичъ, не вполнѣ довольный подобною нецеремонностью въ обращеніи.—Ахъ, ты, шалунья!

Колибри приняла платокъ отъ лица.

— Нехорошо такъ; этакъ лучше.—Она отодвинулась къ одному концу дивана и подобрала ноги.—Садитесь... тамъ.

Кузьма Васильевичъ сѣлъ, куда она ему указывала.

— Зачѣмъ же ты удаляешься? — промолвилъ онъ послѣ небольшого молчанья.—Или ты меня боишься?

Колибри свернулась въ клубочекъ и посмотрѣла на него съ боку.

— Я не боюсь... Нѣтъ.

— Ты не должна меня дичиться,—продолжалъ наставительнымъ тономъ Кузьма Васильевичъ. — Ты вѣдь помнишь свое вчерашнее обѣщаніе поцѣловать меня?

Колибри обхватила свои колѣни обѣими руками, положила на нихъ голову и опять посмотрѣла на него.

— Помню.

— То-то же. И ты должна сдержать свое слово.

— Да... должна.

— Въ такомъ случаѣ...—началъ Кузьма Васильевичъ и пододвинулся-было къ ней.

Колибри высвободила свои косы, которыя она захватила вмѣстѣ съ колѣнями, и одною изъ нихъ ударила его по рукѣ.

— Потише, господинъ!

Кузьма Васильевичъ сконфузился.

— Какіе у нея глаза, у разбойницы,—пробормоталъ онъ, какъ бы про себя.—Однако,—прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ,—зачѣмъ же ты звала меня... въ такомъ случаѣ?

Колибри вытянула шею какъ птица... Она прислушивалась. Кузьма Васильевичъ перетревожился.

— Эмилія?—произнесъ онъ вопросительно.

— Нѣтъ.

— Кто-нибудь другой?

Колибри пожала плечомъ.

— Да ты что-нибудь слышишь?

— Ничего.—Колибри отвела назадъ, и тоже птичьимъ движеніемъ, свою небольшую, яйцевидную головку, съ красивымъ проборомъ и короткими вихрами курчавыхъ завитушекъ на затылкѣ, тамъ гдѣ начинались косы, и опять въ клубочекъ свернулась.—Ничего.

— Ничего! Такъ я теперь...—Кузьма Васильевичъ потянулся къ Колибри, но тотчасъ же отдернулъ руку. На пальцѣ у него показалась капля крови.—Что за глупости такія!—воскликнулъ онъ, встряхивая пальцемъ.—Вѣчныя эти ваши булавки! Да, и какая это къ черту булавка,—прибавилъ онъ, взглянувъ на длинную золотую шпильку, которую Колибри медленно втыкала себѣ въ

поясъ.—Это цѣлый кинжалъ, это жало... Да, да, это твое жало, и ты оса, вотъ ты кто, оса, понимаешь?

Колибри, повидимому, очень понравилось сравненье Кузьмы Васильевича: она залилась тонкимъ хохотомъ и нѣсколько разъ сряду повторила:

— Да, я ужалю... я ужалю.

Кузьма Васильевичъ глядѣлъ на нее и думалъ: „Вѣдь вотъ смѣется, а лицо все печальное“...

— Посмотри-ка, что я тебѣ покажу,—промолвилъ онъ громко.

— Цо?

— Зачѣмъ ты говоришь: цо? Развѣ ты полька?

— Ни.

— Теперь вотъ: „ни!“ Ну да все равно!—Кузьма Васильевичъ досталъ свой подарочекъ и повертѣлъ имъ на воздухѣ.—Глянь-ка сюда... Хороша штучка?

Колибри равнодушно вскинула глазами.

— А! Крестъ! Мы не носимо.

— Какъ? Креста не носите? Да ты жидовка, что ли?

— Не носимо,—повторила Колибри и, вдругъ встрепенувшись, глянула назадъ черезъ плечо. — Хотите? я пѣть буду...—торопливо спросила она.

Кузьма Васильевичъ сунулъ крестикъ въ карманъ мундира и оглянулся тоже. Ему почудился легкій трескъ за стѣной...

— Что такое?—пробормоталъ онъ.

— Мышь... мышь,—поспѣшно проговорила Колибри, и вдругъ, совершенно неожиданно для Кузьмы Васильевича, обняла его голову своими гибкими, гладкими руками, и быстрый поцѣлуй обжогъ его щеку... точно уголекъ къ ней приложился.

Онъ стиснулъ Колибри въ своихъ объятіяхъ, но она

выскользнула какъ змѣя—ея станъ былъ немного толще змѣинаго туловища—и вскочила на ноги:

— Постой,—шепнула она,— прежде надо кофе пить...

— Полно! Что за кофе! Послѣ.

— Нѣтъ, теперь. Теперь горячій, послѣ холодный. — Она ухватила кофейникъ за ручку и, высоко приподнявъ его, стала лить въ обѣ чашки. Кофе падалъ тонкою, какъ бы перекрученою струей; Колибри положила голову на плечо и смотрѣла какъ онъ лился. — Вотъ, клади сахару... пей... и я буду!

Кузьма Васильевичъ бросилъ въ чашку кусокъ сахару и выпилъ ее разомъ. Кофе ему показался очень крѣпкимъ и горькимъ. Колибри глядѣла на него улыбаясь и чуть-чуть расширяя ноздри надъ краемъ своей чашки. Она тихонько опустила ее на столъ

— Что же ты не пьешь? — спросилъ Кузьма Васильевичъ.

— Я... понемножку...—отвѣчала она.

— Кузьма Васильевичъ пришелъ въ азартъ.

— Да сядь же наконецъ возлѣ меня!

— Сейчасъ.—Она нагнула голову и, все не спуская глазъ съ Кузьмы Васильевича, взялась за гитару. — Только прежде я пѣть буду.

— Да, да, только сядь.

— И танцовать буду. Хочешь?

— Ты танцуешь? Ну, это бы я посмотрѣлъ. Но нельзя ли послѣ?

— Нѣтъ, теперь... А я тебя очень люблю.

— Ты меня любишь! Смотри же... а впрочемъ, танцуй, чудачка ты этакая!

XXI.

Колибри стала по ту сторону стола и, пробѣжавъ нѣсколько разъ пальцами по струнамъ гитары, затянула, къ удивленію Кузьмы Васильевича, который ожидалъ веселаго, живого напѣва, затянула какой-то медлительный, однообразный речитативъ, сопровождая каждый отдѣльный, какъ бы съ усиліемъ выталкиваемый звукъ, мѣрнымъ раскачиваніемъ всего тѣла направо и налѣво. Она не улыбалась и даже брови свои сдвинула, свои высокія, круглыя, тонкія брови, между которыми рѣзко выступалъ синій знакъ, похожій на восточную букву, вѣроятно, вытравленный порохомъ. Глаза она почти закрыла, но зрачки ея тускло свѣтились изъ-подъ нависшихъ рѣсницъ, попрежнему упорно вперяясь въ Кузьму Васильевича. И онъ также не могъ отвести взора отъ этихъ чудныхъ, грозныхъ глазъ, отъ этого смуглаго, постепенно разгоравшагося лица, отъ полурасхрытыхъ и неподвижныхъ губъ, отъ двухъ черныхъ змѣй, мѣрно колебавшихся по обѣимъ сторонамъ стройной головы. Колибри продолжала раскачиваться, не сходя съ мѣста, и только ноги ея пришли въ движеніе: она слегка ихъ передвигала, приподнимая то носокъ, то каблукъ. Разъ она вдругъ быстро перевернулась и пронзительно вскрикнула, высоко встряхнувъ на воздухѣ гитарой... Потомъ опять началась прежняя однообразная пляска, сопровождаемая тѣмъ же однообразнымъ пѣніемъ. Кузьма Васильевичъ сидѣлъ между тѣмъ преспокойно на диванѣ и продолжалъ глядѣть на Колибри. Онъ ощущалъ въ себѣ нѣчто странное, необычайное: ему было очень легко и свободно, даже слишкомъ легко; онъ какъ-будто тѣла своего не чувствовалъ, какъ-будто плавалъ, и въ то же время мурашки по немъ ползали, какое-то пріятное без-

силіе распространялось по ногамъ, и дремота щекотала ему вѣки и губы. Онъ уже ничего не желалъ, не думалъ ни о чемъ, а только ему было очень хорошо, словно кто его баюкалъ, „байбайкалъ“, какъ выразилась Эмилія, и шепталъ онъ про себя: „игрушечка!“ По временамъ лицо „игрушечки“ заволакивалось... „Отчего бы это?“ спрашивалъ себя Кузьма Васильевичъ. „Отъ курева“, успокоивалъ онъ себя... „Такой есть тутъ синій дымокъ“. И опять его кто-то баюкалъ и даже разсказывалъ ему на ухо что-то такое хорошее... Только почему-то все не договаривалъ. Но вотъ вдругъ на лицѣ „игрушечки“ глаза открылись огромные, величины небывалой, настоящія мостовыя арки... Гитара покатилась и, ударившись о полъ, прозвенѣла гдѣ-то за тридевятью землями... Какой-то очень близкій и короткій пріятель Кузьмы Васильевича нѣжно и плотно обнялъ его сзади и галстухъ ему поправилъ. Кузьма Васильевичъ увидалъ передъ самымъ лицомъ своимъ крючковатый носъ, густые усы и пронзительные глаза незнакомца съ обшлагомъ о трехъ пуговкахъ... и хотя глаза находились на мѣстѣ усовъ, и усы на мѣстѣ глазъ, и самый носъ являлся опрокинутымъ, однако Кузьма Васильевичъ не удивился нисколько, а, напротивъ, нашелъ, что такъ оно и слѣдовало; онъ собрался даже сказать этому носу: „здорово, братъ Григорій“, но отмѣнилъ свое намѣреніе и предпочелъ... предпочелъ немедленно отправиться съ Колибри въ Царьградъ для предстоящаго бракосочетанія, такъ какъ она была турчанка, а государь его пожаловалъ въ дѣйствительные турки.

XXII.

Кстати-жъ, передъ нимъ очутилась лодочка: онъ занесъ въ нее ногу, и хотя по неловкости споткнулся и ушибся довольно сильно, такъ что нѣкоторое время не зналъ, гдѣ что́ находится, однако справился и, сѣвъ на лавочку, поплылъ по той самой большой рѣкѣ, которая въ видѣ Рѣки Временъ протекаетъ на картѣ на стѣнѣ Николаевской гимназіи, въ Царьградъ. Съ великимъ удовольствіемъ плылъ онъ по той рѣкѣ и наблюдалъ за множествомъ красныхъ гагаръ, безпрестанно ему попадавшихся; онѣ однако не подпускали его и, ныряя, превращались въ круглыя розовыя пятна. И Колибри съ нимъ ѣхала; но, желая предохранить себя отъ зноя, помѣстилась подъ лодкой и изрѣдка стучала въ дно... Вотъ, наконецъ, и Царьградъ. Дома́, какъ слѣдуетъ быть домамъ, въ видѣ тирольскихъ шляпъ; и у турокъ все такія крупныя, степенныя лица; только не годится долго на нихъ глядѣть: они начинаютъ корчиться, рожи строить, а послѣ и совсѣмъ распадаются, какъ талый снѣгъ. Вотъ и дворецъ, въ которомъ онъ будетъ жить съ Колибри... И такъ все въ немъ отлично устроено! Стѣны съ генеральскимъ шитьемъ, вездѣ эполеты, по угламъ люди трубятъ, и на лодкѣ можно въѣхать въ гостиную. Ну, разу́мѣется, портретъ Магомета... Только Колибри бѣжитъ все впередъ по комнатамъ, и косы ея волочатся за нею по полу, и никакъ она не хочетъ обернуться, и все меньше она становится, все меньше... Ужъ это не Колибри, а мальчикъ въ курточкѣ, и онъ его гувернеръ, и онъ долженъ влѣзать за этимъ мальчикомъ въ подзорную трубку, и труба та все у́же, у́же, вотъ ужъ и двинуться нельзя... ни впередъ, ни назадъ, и дышать невозможно, и что-то обрушилось на спину... и земля въ ротъ...

XXIII.

Кузьма Васильевичъ открылъ глаза. Свѣтло кругомъ, тихо... пахнетъ уксусомъ, мятой. Надъ нимъ и по бокамъ что-то бѣлое; онъ вглядывается: пологъ постельный. Онъ хочетъ голову приподнять... нельзя; руку... нельзя тоже. Что такое значитъ? Онъ опускаетъ глаза... Какое-то длинное тѣло протянуто передъ нимъ, и на томъ тѣлѣ шерстяное одѣяло, желтое съ коричневою каймой. Тѣло оказывается его, Кузьмы Васильевича. Онъ пытается крикнуть... ничего не выходитъ. Онъ пытается опять, напрягаетъ всѣ свои силы... дряхлый стонъ раздается и дрожитъ подъ его носомъ. Слышатся тяжелые шаги, жилистая рука раздвигаетъ пологъ. Сѣдой инвалидъ въ военной заплатанной шинели стоитъ передъ нимъ и глядитъ на него... И онъ глядитъ на инвалида. Большая оловянная кружка придвигается къ губамъ Кузьмы Васильевича. Кузьма Васильевичъ жадно пьетъ холодную воду. Языкъ его развязывается. —Гдѣ я?—Инвалидъ еще разъ взглядываетъ на него, уходитъ и возвращается съ другимъ человѣкомъ, въ темномъ мундирѣ.—Гдѣ я?—повторяетъ Кузьма Васильевичъ. —Ну, теперь будетъ живъ,—говоритъ человѣкъ въ мундирѣ.—Вы въ госпиталѣ—прибавляетъ онъ громко—но извольте почивать. Вамъ вредно разговаривать. –Кузьма Васильевичъ готовъ удивиться, но снова впадаетъ въ забытье...

На другое утро явился докторъ. Кузьма Васильевичъ пришелъ въ себя. Докторъ поздравилъ его съ выздоровленіемъ и велѣлъ перевязать ему голову.

— Какъ? голову? Да развѣ у меня...

— Вы не должны говорить, не должны безпокоиться,— перебилъ его докторъ.—А теперь лежите смирно и благо-

дарите Всевышняго Создателя. Гдѣ компрессы, Поплевкинъ?

— Да гдѣ же деньги... казенныя...

— Ну! опять сталъ бредить... Побольше льду, Поплевкинъ!

XXIV.

Прошла еще недѣля. Кузьма Васильевичъ настолько оправился, что доктора нашли возможнымъ сообщить ему случившееся съ нимъ происшествіе. Вотъ что онъ узналъ.

16-го іюня, въ семь часовъ вечера, посѣтилъ онъ въ послѣдній разъ домъ госпожи Фритче, а 17-го іюня, къ обѣду, т.-е. почти черезъ сутки, пастухъ нашелъ его въ оврагѣ возлѣ большой Херсонской дороги, въ двухъ верстахъ отъ Николаева, безчувственнаго, съ разрубленною головой, съ багровыми пятнами на шеѣ. Мундиръ и жилетка на немъ были разстегнуты, всѣ карманы выворочены, фуражки и кортика не оказалось, кожаннаго пояса съ деньгами тоже. По измятой травѣ, по широкому слѣду въ пескѣ и глинѣ можно было заключить, что несчастнаго лейтенанта волокомъ волокли на дно оврага и только тамъ нанесли ему ударъ въ голову, не топоромъ, а саблей, вѣроятно, его же кортикомъ: вдоль всего слѣда отъ самой дороги, не замѣчалось ни капли крови, а вокругъ головы стояла цѣлая лужа. Не оставалось сомнѣнія въ томъ, что убійцы его сперва опоили, потомъ пытались придушить и, отвезя ночью за городъ, стащили въ оврагъ и тамъ окончательно прихлопнули. Кузьма Васильевичъ не умеръ, благодаря лишь своему, по истинѣ желѣзному, сложенію. Пришелъ онъ въ себя 22-го іюля, то-есть цѣлыхъ пять недѣль спустя.

XXV.

Кузьма Васильевичъ немедленно довелъ до свѣдѣнія начальства постигшее его несчастье, изложилъ всѣ обстоятельства дѣла изустно и на бумагѣ, сообщилъ адресъ мадамъ Фритче. Полиція бросилась въ указанный домъ, но никого въ немъ не нашла; птички уже вылетѣли изъ гнѣзда. Схватились за хозяина дома; но отъ этого хозяина, престарѣлаго и глухого мѣщанина, большого толку не добились. Самъ онъ проживалъ въ другомъ кварталѣ и зналъ одно: четыре мѣсяца тому назадъ, отдалъ онъ свой домъ въ наймы одной еврейкѣ съ паспортомъ, по имени Шмуль или Шмульке, которую онъ тогда же и прописалъ въ части.—„Пріѣзжала къ ней другая жинка,—такъ показывалъ онъ,—тоже съ пачпортомъ,—по какимъ рукомесломъ онѣ обѣ занимались и то ему неизвѣстно; и были ли у нихъ другіе постояльцы тоже не слыхалъ и не знаетъ; а какой паренекъ у него въ томъ домѣ жилъ дворникомъ или караульщикомъ, и тотъ сошелъ не то въ Одесть, не то въ Питеръ; а новый дворникъ поступилъ недавно, съ перваго числа іюля“.—Навели справки въ полиціи и по околотку: оказалось, что Шмульке, вмѣстѣ съ товаркой, настоящее имя которой было Фридерика Бенгель, выѣхала изъ Николаева около 20-го іюня, а куда неизвѣстно. Таинственнаго человѣка съ цыганскимъ лицомъ и тремя пуговками на обшлагѣ, а равно и черномазой дѣвки иностранки съ огромною косой никто и не видывалъ. Кузьма Васильевичъ, какъ только выписался изъ госпиталя, самъ посѣтилъ роковой для него домъ. Въ маленькой комнаткѣ, гдѣ онъ бесѣдовалъ съ Колибри, и гдѣ все еще пахло мускусомъ, находилась другая, тоже скрытая дверь; къ ней-то, во второе его посѣщеніе, былъ

придвинутъ диванъ, и черезъ нее вошелъ, вѣроятно, убійца и обхватилъ его сзади. Кузьма Васильевичъ подалъ жалобу по формѣ; началось дѣло. Нѣсколько занумерованныхъ отношеній и предписаній полетѣло въ разныя стороны; поступили въ свое время надлежащія отписки и справки... но тѣмъ все и кончилось. Подозрительныя личности такъ и канули въ воду,— а вмѣстѣ съ ними исчезли и похищенныя казенныя деньги, тысяча девятьсотъ семнадцать рублей съ копѣйками, ассигнаціями и золотомъ. Сумма немаловажная въ ту эпоху! Цѣлыхъ десять лѣтъ потомъ ихъ выплачивалъ Кузьма Васильевичъ, пока не попалъ подъ всемилостивѣйшій манифестъ.

XXVI.

Самъ онъ на первыхъ порахъ былъ твердо убѣжденъ въ томъ, что виной всей бѣды, начальницей заговора, была Эмилія, его коварная „Zuckerpüppchen“. Онъ вспомнилъ, какъ въ самый день послѣдняго свиданія съ нею, онъ неосторожно задремалъ на диванѣ, какъ, проснувшись, увидѣлъ ее возлѣ себя на колѣнкахъ, и какъ она смѣшалась, и какъ, наконецъ, онъ въ тотъ же вечеръ открылъ прорѣху въ своемъ поясѣ, прорѣху, очевидно, продѣланную ея ножницами. „Она увидѣла“, думалъ Кузьма Васильевичъ, „она сказала старой чертовкѣ и тѣмъ двумъ діаволамъ, она залучила меня, написавъ ко мнѣ письмо... меня и обработали. Но кто бы могъ это отъ нея ожидать!“ Онъ представлялъ себѣ хорошенькое, добренькое лицо Эмиліи, ея свѣтлые глазки... „Женщины! женщины!“ твердилъ онъ, скрежеща зубами; „крокодилово изчадіе!“ Но переѣхавъ окончательно изъ госпиталя къ себѣ домой, онъ узналъ одно обстоятельство,

которое привело его въ недоумѣніе, поставило его въ тупикъ. Въ самый тотъ день, когда его, полумертваго, привезли въ городъ, дѣвушка, по всѣмъ примѣтамъ, какъ двѣ капли воды похожая на Эмилію, прибѣжала, вся въ слезахъ, съ растрепанными волосами къ нему на квартиру и, освѣдомившись о немъ у деньщика, бросилась, какъ сумасшедшая, въ госпиталь. Въ госпиталѣ ей сказали, что Кузьма Васильевичъ непремѣнно долженъ умереть, и она тотчасъ скрылась, ломая руки, съ выраженіемъ отчаянія на лицѣ. Явно было, что она не предвидѣла, не ожидала убійства. Или, можетъ быть, ее самое обманули—не выдали ей обѣщанной части? Раскаяніе ею вдругъ овладѣло? Но однако-жъ она потомъ выѣхала изъ Николаева вмѣстѣ съ тою отвратительною старухой, которая навѣрное все знала... Кузьма Васильевичъ терялся въ догадкахъ и порядкомъ-таки наскучилъ своему деньщику, безпрестанно заставляя его сызнова описывать наружность прибѣжавшей дѣвушки и повторять ея слова.

XXVII.

Цѣлые полтора года спустя, Кузьма Васильевичъ получилъ отъ Эмиліи—alias, Фридерики Бенгель—письмо на нѣмецкомъ языкѣ, которое онъ немедленно велѣлъ себѣ перевести и впослѣдствіи неоднократно намъ показывалъ. Оно было испещрено орѳографическими ошибками и восклицательными знаками; на кувертѣ стоялъ штемпель: „Бреславль“. Вотъ по возможности вѣрный переводъ этого письма:

„Мой дорогой, незабвенный и несравненный Флорестанъ! Господинъ лейтенантъ Ергенгофъ!

„Сколько разъ я порывалась къ вамъ писать! И всегда,

къ сожалѣнію, откладывала, хотя мысль, что вы меня **можете** считать участницей въ томъ ужасномъ злодѣяніи, **была** всегда для меня самая убійственная мысль! О, мой **милый** господинъ лейтенантъ! Повѣрьте мнѣ, день, когда **я узнала**, что вы остались живы и здоровы, былъ самый **счастливый** день въ моей жизни! Но я не намѣрена вполнѣ **себя** оправдывать! Я не буду лгать! Я, точно, первая **открыла** вашу привычку носить деньги на вашемъ желудкѣ! (впрочемъ, въ нашихъ краяхъ всѣ мясники и торговцы мясомъ такъ поступаютъ!) И имѣла неосторожность немножко сказать объ этомъ! Я даже въ шутку тогда сказала, что вотъ было бы хорошо взять у васъ немножко этихъ денегъ! Но старая злодѣйка (господинъ Флорестанъ! она *не была* моею теткой) вступила въ заговоръ съ этимъ безбожнымъ извергомъ Луиджи и его сообщницей! Клянусь вамъ гробомъ моей матери, я до сихъ поръ не знаю, кто были эти люди! Знаю только, что имя его было Луиджи, и что они оба пріѣхали изъ Бухарешта и были, навѣрное, большіе преступники, и прятались отъ полиціи и имѣли деньги и драгоцѣнныя вещи! Луиджи былъ ужасный субъектъ (ein schröckliches Subject), убить себѣ подобнаго (einen Mitmenschen) для него ничего не значило! Онъ говорилъ на всѣхъ языкахъ — и это *онъ* тогда возвратилъ вещи отъ нашей кухарки! Не спрашивайте, какъ! Онъ все, все могъ сдѣлать, онъ былъ ужасный человѣкъ! Онъ увѣрялъ старуху, что только опоитъ васъ немного и потомъ вывезетъ и броситъ, и будетъ говорить, что ничего не знаетъ и что вы сами виноваты — гдѣ-нибудь много вкусили вина! Но злодѣй уже тогда имѣлъ въ умѣ, что лучше васъ совсѣмъ убить, дабы ни одинъ пѣтухъ о томъ не прокричалъ! Письмо отъ моего имени онъ къ вамъ написалъ, а меня старуха удалила лукавствомъ! Я ни-

чего не подозрѣвала, и я ужасно боялась Луиджи! Онъ говорилъ мнѣ: „Я зарѣжу, зарѣжу тебя какъ цыпленка!“ И такъ при этомъ страшно шевелилъ усами! Притомъ меня увезли въ одну компанію... Мнѣ очень стыдно, господинъ лейтенантъ! И я даже теперь плачу горькими слезами при этихъ мысляхъ!.. Мнѣ кажется... ахъ! я не была рождена для такихъ занятій... Но этому помочь нельзя; и вотъ какъ все случилось! Потомъ я ужасно испугалась, и поневолѣ уѣхала, потому что если бы полиція насъ открыла—что бы было со мной тогда? Проклятый Луиджи тотчасъ бѣжалъ, какъ только узналъ, что вы остались живы. Но я въ скорости съ ними со всѣми разсталась, и хотя я теперь безъ куска хлѣба часто сижу, однако душа моя покойна! Вы меня, можетъ быть, спросите, зачѣмъ я пріѣзжала въ Николаевъ? Но я не могу ничего отвѣчать! Я клялась! Кончаю просьбой очень, очень для меня важною: пожалуйста, когда вы будете вспоминать о вашей маленькой пріятельницѣ Эмиліи, не думайте о ней, какъ о черной преступницѣ! Вѣчный Богъ видитъ мое сердце. Я имѣю дурную нравственность (Ich habe eine schlechte Moralität) и я вѣтрена, но я не злодѣйка. И я всегда буду васъ любить и помнить, мой несравненный Флорестанъ, и всегда буду вамъ желать всего хорошаго на земномъ шарѣ (auf diesem Erdenrund)! Не знаю, дойдетъ ли до васъ мое письмо, но если дойдетъ, то напишите мнѣ нѣсколько строкъ, чтобъ я видѣла, что вы получили мое письмо! Этимъ вы очень осчастливите вашу вамъ неизмѣнно преданную Эмилію.

„P. S. Пишите подъ буквами F. E. poste restante, въ Бреславль, въ Силезію.

„P. S. S. Я писала вамъ по-нѣмецки; я иначе не могла выразить свои чувства; но вы мнѣ пишите по русски“.

XXVIII.

— Ну, и что же? Отвѣчали вы ей?— спрашивали мы Кузьму Васильевича.

— Собирался, много разъ собирался. Да какъ написать? По-нѣмецки я не умѣю, а по-русски... Кто бы перевелъ ей? Такъ и не написалъ.

И всякій разъ, окончивъ свой разсказъ, Кузьма Васильевичъ вздыхалъ, качалъ головою, говорилъ: „Вотъ что значитъ молодость!“ И если въ числѣ слушателей находился новичокъ, въ первый разъ ознакомившійся съ знаменитою исторіей, онъ бралъ его руку, клалъ себѣ на черепъ и заставлялъ щупать шрамъ отъ раны... Рана дѣйствительно была страшная, и шрамъ шелъ отъ одного до другого уха.

1867 г.

БРИГАДИРЪ.

I.

ЧИТАТЕЛЬ, знакомы ли тебѣ тѣ небольшія дворянскія усадьбы, которыми, двадцать-пять, тридцать лѣтъ тому назадъ, изобиловала наша великорусская Украйна? Теперь онѣ попадаются рѣдко, а лѣтъ черезъ десять и послѣднія изъ нихъ, пожалуй, исчезнутъ безслѣдно. Проточный прудъ, заросшій лозникомъ и камышами, приволье хлопотливыхъ утокъ, къ которымъ изрѣдка присосѣживается осторожный „чирокъ"; за прудомъ садъ съ аллеями липъ, этой красы и чести нашихъ черноземныхъ равнинъ, съ заглохшими грядами „шпанской" земляники, со сплошной чащей крыжовника, смородины, малины, посреди которой, въ томный часъ неподвижнаго полуденнаго зноя, ужъ непремѣнно мелькнетъ пестрый платочекъ дворовой дѣвушки и зазвенитъ ея пронзительный голосокъ; тутъ же амбарчикъ на курьихъ ножкахъ, оранжерейка, плохенькій огородъ, со стаей воробьевъ на тычинкахъ и прикорнувшей кошкой близъ провалившагося колодца; дальше — кудрявыя яблони надъ высокой, снизу зеленой, кверху сѣдой травой, жидкія вишни, груши, на которыхъ никогда не бываетъ плода; потомъ клумбы съ цвѣтами — макомъ, піонами, анюти-

ными-глазками, крыжантами, „дѣвицей въ зелени“, кусты татарской жимолости, дикаго жасмину, сирени и акаціи, съ непрестаннымъ пчелинымъ, шмелинымъ жужжаніемъ въ густыхъ, пахучихъ, липкихъ вѣткахъ; наконецъ, господскій домъ, одноэтажный, на кирпичномъ фундаментѣ, съ зеленоватыми стеклами въ узкихъ рамахъ, съ покатой, нѣкогда крашеной крышей, съ балкончикомъ, изъ котораго повыпадали кувшино-образныя перила, съ кривымъ мезониномъ, съ безголосой старой собакой въ ямѣ подъ крыльцомъ; за домомъ широкій дворъ съ крапивой, полынью и лопухами по угламъ, службы съ захватанными дверями, съ голубями и галками на пробуравленныхъ соломенныхъ крышахъ, погребокъ съ заржавѣлымъ флюгеромъ, двѣ-три березы съ грачиными гнѣздами на голыхъ, верхнихъ сучьяхъ—а тамъ уже дорога съ подушечками мягкой пыли по колеямъ — и поле, и длинные плетни коноплянниковъ, и сѣренькія избушки деревни, и крики гусей съ отдаленныхъ заливныхъ луговъ... Знакомо ли тебѣ все это, читатель? Въ самомъ домѣ все немножко на-бокъ, немножко расшаталось — а ничего! Стоитъ крѣпко и держитъ тепло: печи, что твои слоны, мебель сбродная, домодѣльщина; бѣловатыя протоптанныя дорожки бѣгутъ отъ дверей по крашенымъ поламъ; въ передней чижи и жаворонки въ крошечныхъ клѣткахъ; въ углу столовой громадные англійскіе часы въ видѣ башни, съ надписью: „Strike,—silent“; въ гостиной портреты хозяевъ, написанные масляными красками, съ выраженіемъ суроваго испуга на кирпичнаго цвѣта лицахъ, а иногда и старая покоробленная картина, представляющая либо цвѣты и фрукты, либо миѳологическій сюжетъ; вездѣ пахнетъ квасомъ, яблокомъ, олифой, кожей; мухи гудятъ и звенятъ подъ потолкомъ и на окнахъ, бойкій прусакъ внезапно заиграетъ усиками изъ-за зеркальной

рамы... Ничего! жить можно—и даже очень недурно можно жить.

II.

Вотъ такую-то усадьбу пришлось мнѣ посѣтить лѣтъ тридцать тому назадъ... дѣла давно-минувшихъ дней—какъ изволите видѣть. Небольшое имѣньице, въ которомъ находилась та усадьба, принадлежало одному моему университетскому товарищу; оно недавно къ нему поступило послѣ смерти троюроднаго дяди, холостяка, и самъ онъ въ немъ не жилъ... Но въ недальнемъ разстояніи оттуда зачинались пространныя степныя болота, въ которыхъ, во время лѣтняго прилета, водилось много дупелей; мой товарищъ и я—мы оба были страстные охотники, а потому и сговорились съѣхаться—онъ изъ Москвы, я изъ своей деревеньки—къ Петрову дню въ его домикъ. Пріятель мой замѣшкался въ Москвѣ и опоздалъ двумя днями; я безъ него не хотѣлъ начать охоты. — Меня принялъ старый слуга, по имени Наркизъ Семеновъ: его предувѣдомили о моемъ пріѣздѣ. Этотъ старый слуга нисколько не походилъ на „Савельича“ или на „Калеба“, мой товарищъ звалъ его въ шутку „Маркизомъ“. Въ немъ было что-то самоувѣренное, даже утонченное, не безъ достоинства: онъ смотрѣлъ на насъ молодыхъ людей свысока, но и къ другимъ помѣщикамъ не питалъ особеннаго уваженія; о прежнемъ баринѣ отзывался небрежно, а свою братью просто презиралъ—за невѣжество. Самъ онъ умѣлъ читать и писать, выражался правильно и вразумительно—и водки не пилъ. Въ церковь ходилъ рѣдко—такъ что его раскольникомъ считали. Изъ себя онъ былъ худощавъ и высокъ, лицо имѣлъ длинное и благообразное, острый носъ и нависшія брови, которыя онъ

безпрестанно то надвигалъ, то поднималъ; носилъ просторный, опрятный сюртукъ и сапоги до колѣнъ съ вырѣзанными въ видѣ сердца голенищами.

III.

Въ самый день моего прибытія, Наркизъ, подавъ мнѣ позавтракать и убравъ со стола, остановился въ дверяхъ, пристально посмотрѣлъ на меня и, поигравъ бровями, промолвилъ:

— Что же вы, сударь, теперь дѣлать будете?

— А я, право, не знаю. Если бы Николай Петровичъ слово свое сдержалъ, пріѣхалъ — мы бы на охоту вмѣстѣ отправились.

— А вы, стало, сударь, надѣялись, что они такъ въ самый разъ и пріѣдутъ, какъ обѣщались?

— Конечно, надѣялся.

— Гмъ. — Наркизъ опять посмотрѣлъ на меня, и какъ бы съ сожалѣньемъ покачалъ головою. — Коли чтеніемъ позабавиться желательно, — продолжалъ онъ: — отъ стараго барина остались книжки; я ихъ, буде угодно, принесу; только вы ихъ читать не станете, такъ полагать надо.

— Почему?

— Книжки-то пустыя; не для теперешнихъ господъ писаны.

— Ты ихъ читалъ?

— Не читалъ, не сталъ бы говорить. Сонникъ, напримѣръ... это что-жъ за книга? Ну, есть другія... только вы ихъ тоже не станете читать.

— А что?

— Божественныя.

Я помолчалъ... Наркизъ помолчалъ тоже.

— Главное-то мнѣ досадно,—началъ я;—въ этакую погоду—дома сидѣть.

— Въ саду прогуляйтесь; а не-то въ рощу сходите. Тутъ у насъ роща за гумномъ. Не охочи ли вы рыбу ловить?

— А у васъ есть рыба?

— Есть, въ прудѣ. Гольцы, пескари, окуни попадаются. Теперь, конечно, настоящая пора прошла: іюль на дворѣ. Ну... а все-таки попытаться можно... Прикажете удочку снарядить?

— Сдѣлай одолженіе.

— Я съ вами мальчика пошлю... червей насаживать. А то развѣ самому пойти?—Наркизъ очевидно сомнѣвался въ томъ, съумѣю ли я одинъ справиться.

— Пойдемъ, пожалуйста, пойдемъ.

Наркизъ улыбнулся молча, но во весь ротъ, потомъ вдругъ надвинулъ брови... и вышелъ изъ комнаты.

IV.

Полчаса спустя, мы отправились ловить рыбу. Наркизъ надѣлъ какой-то необыкновенный, ушастый картузъ, и сталъ еще величественнѣе. Онъ выступалъ впереди, степеннымъ, ровнымъ шагомъ; двѣ удочки мѣрно колыхались на его плечѣ; босоногій мальчишка несъ за нимъ лейку и горшокъ съ червями.

— Тутъ, возлѣ плотины на плоту лавочка устроена для удобства,—началъ пояснять мнѣ Наркизъ, заглянулъ впередъ и вдругъ воскликнулъ: — Эге! да наши убогіе ужъ тутъ... Повàдились!

Я вытянулъ изъ-за него голову и увидалъ на плоту,

на той самой лавочкѣ, о которой онъ говорилъ, двухъ сидѣвшихъ къ намъ спиною людей: они преспокойно удили рыбу.

— Кто это?—спросилъ я.

— Сосѣди, — отвѣчалъ съ неудовольствіемъ Наркизъ.—Дома-то ѣсть имъ нечего, такъ вотъ они къ намъ и жалуютъ.

— А имъ позволяется?

— Прежній баринъ позволялъ... развѣ вотъ Николай Петровичъ не разрѣшитъ... Длинный-то—дьячекъ изъ заштатныхъ: совсѣмъ пустой человѣкъ; ну а тотъ, что потолще—бригадиръ.

— Какъ бригадиръ,— повторилъ я съ изумленіемъ. Одежда на этомъ „бригадирѣ“ была чуть ли не хуже дьячковской.

— Я же вамъ докладываю: бригадиръ. И состояніе у нихъ было хорошее. А теперь вотъ изъ милости уголъ отведенъ, и живутъ... такъ, чѣмъ Господь пошлетъ. Однако, между прочимъ, какъ же быть? Заняли они лучшее мѣсто... Надо будетъ дорогихъ гостей потревожить.

— Нѣтъ, Наркизъ, пожалуйста, не тревожь ихъ. Мы тутъ же присядемъ въ сторонѣ: они намъ не мѣшаютъ. Мнѣ съ бригадиромъ хочется познакомиться.

— Какъ угодно-съ. А только, что если на счетъ знакомства... много удовольствія вы, сударь, получить не надѣйтесь; слабы они очень понятіемъ стали, и въ „разговоркѣ“ тупы... что малый ребенокъ. И то сказать: восьмой десятокъ доживаютъ.

— Какъ его зовутъ?

— Васильемъ Ѳомичемъ. По фамиліи—Гуськовъ.

— А дьячка какъ?

— Дьячка-то?.. прозвище ему—Огурецъ. Его здѣсь

всѣ такъ величаютъ, а какое его настоящее имя—Господь вѣдаетъ! Пустой человѣкъ! Какъ есть проходимецъ!

— Они живутъ вмѣстѣ?

— Нѣтъ, не вмѣстѣ; да чортъ ихъ... знаете... веревочкой связалъ.

V.

Мы подошли къ плоту. Бригадиръ вскинулъ на насъ глазами... и тотчасъ устремилъ ихъ на поплавокъ; Огурецъ вскочилъ, выдернулъ удочку, снялъ свою истасканную поповскую шляпу, провелъ трепетной рукой по жесткимъ, жолтымъ волосамъ, поклонился на-отмашъ и засмѣялся дряблымъ смѣхомъ. Его припухлое лицо изобличало горькаго пьяницу; съеженные глазки униженно моргали. Онъ толкнулъ своего сосѣда въ бокъ, какъ бы давая ему знать, что надо-молъ убираться... Бригадиръ зашевелился на лавочкѣ.

— Сидите, прошу васъ, не безпокойтесь,—поспѣшно заговорилъ я.—Вы намъ нисколько не мѣшаете. Мы тутъ помѣстимся; сидите.

Огурецъ запахнулъ свой дырявый балахонъ, передернулъ плечами, губами, бородкой... Наше присутствіе видимо его стѣсняло... и онъ бы охотно улизнулъ, но бригадиръ снова погрузился въ созерцаніе своего поплавка... „Проходимецъ“ кашлянулъ раза два, присѣлъ на самый край лавочки, положилъ шляпу на колѣни и, подобравъ подъ себя свои голыя ноги, скромно закинулъ удочку.

— Клюетъ?—съ важностью спросилъ Наркизъ, медлительно разматывая лѣсу.

— Штучекъ пять гольцовъ залучили, — отвѣчалъ Огурецъ разбитымъ и сиплымъ голосомъ: —да вотъ они порядочнаго окунька поймали.

— Да, окунька,—пискливо повторилъ бригадиръ.

VI.

Я принялся пристально разсматривать — не его, а опрокинутое его отраженіе въ прудѣ. Оно мнѣ представлялось ясно, какъ въ зеркалѣ, немного темнѣй, немного серебристѣй. Широкій прудъ дышалъ на насъ прохладой; прохладой вѣяло и отъ сырого обрывистаго берега; и тѣмъ слаще была она, что тамъ, надъ головою, въ золотистой и темной лазури, надъ купами деревьевъ, ощутительнымъ бременемъ нависъ неподвижный зной. Вода не колыхалась около плота; въ тѣни, падавшей на нее съ раскидистыхъ прибрежныхъ кустовъ, блестѣли, какъ крохотныя свѣтлыя пуговки, водяные паучки, описывавшіе свои вѣчные круги; лишь изрѣдка чуть замѣтная рябь шла отъ поплавковъ, когда рыба „шалила“ съ червякомъ. Бралась она очень плохо: въ теченіе цѣлаго часа мы вытащили двухъ гольцовъ и пескаря. Я бы не съумѣлъ сказать, почему бригадиръ возбуждалъ мое любопытство: чинъ его не могъ на меня дѣйствовать; разоренные дворяне и въ то время не считались рѣдкостью—и самая его наружность не представляла ничего замѣчательнаго. Изъ-подъ теплаго картуза, закрывавшаго всю верхнюю часть его головы до бровей и до ушей, видпѣлось красное, гладкое, выбритое, круглое лицо, съ маленькимъ носомъ, маленькими губками и свѣтло-сѣрыми небольшими глазами. Простоту и слабость душевную и какую-то давнишнюю, безпомощную грусть выражало это смиренное, почти дѣтское лицо; въ пухлыхъ бѣлыхъ ручкахъ съ короткими пальцами было тоже что-то безпомощное, неумѣлое... Я никакъ не былъ въ состояніи себѣ представить, какимъ образомъ этотъ убогій старичекъ могъ когда-то быть военнымъ человѣкомъ,

командовать, распоряжаться—да еще въ екатерининскія, суровыя времена! Я глядѣлъ на него: иногда онъ надувалъ щеки и слабо пыхтѣлъ, какъ ребенокъ, иногда онъ щурился болѣзненно, съ усиліемъ, какъ всѣ дряхлые люди. Разъ онъ широко раскрылъ и поднялъ глаза... Они уставились на меня изъ водной глубины – и странно трогательнымъ и даже значительнымъ показался мнѣ ихъ унылый взоръ.

VII.

Я старался заговорить съ бригадиромъ... но Наркизъ не обманулъ меня: бѣдный старикъ дѣйствительно очень слабъ понятіемъ сталъ. Онъ освѣдомился о моей фамиліи, и переспросивъ меня раза два, подумалъ, подумалъ и промолвилъ наконецъ: „Да у насъ, кажись, былъ такой судья. Огурецъ, былъ у насъ такой судья—ась?“ — „Былъ, былъ, батюшка, Василій Ѳомичъ, ваше благородіе“, —отвѣчалъ ему Огурецъ, который вообще обходился съ нимъ, какъ съ ребенкомъ.—„Былъ точно. А удочку вашу мнѣ пожалуйте: у васъ червячекъ должно, съѣденъ... Съѣденъ и есть“.

— Съ Ломовскимъ семействомъ изволили быть знакомы?—внезапно, напряженнымъ голосомъ спросилъ меня бригадиръ.

— Какое такое Ломовское семейство?

— Какое?—Ну, Ѳедоръ Иванычъ, Евстигнѣй Иванычъ, Алексѣй Иванычъ жидъ, ну, Ѳеодулія Ивановна грабительница... а тамъ еще...

Бригадиръ вдругъ умолкъ и потупился.

— Самые имъ близкіе были люди, — наклонясь ко мнѣ, шепнулъ Наркизъ;—чрезъ нихъ, чрезъ самого этого

Алексѣя Иваныча, что жидомъ они обозвали, да еще черезъ одну Алексѣй-Иванычину сестрицу, Аграфену Ивановну — они, можно сказать, всего состоянія лишились.

— Что ты тамъ объ Аграфенѣ Ивановнѣ толкуешь?— воскликнулъ вдругъ бригадиръ и голова его поднялась, бѣлыя брови нахмурились...—Ты смотри у меня! И какая она тебѣ Аграфена? Агриппина Ивановна — вотъ какъ надо... ее называть.

— Ну-ну-ну-ну, батюшка, — залепеталъ-было Огурецъ.

— Ты развѣ не знаешь, что́ про нее Милоновъ стихотворецъ сочинилъ?—продолжалъ старикъ, внезапно войдя въ совершенно мною неожиданный азартъ.—„Не брачныя свѣщи возженны“ — началъ онъ на распѣвъ, произнося всѣ гласныя въ носъ, а слоги: „ан“ и „ен“— какъ французскіе: *an*, *en*,—и странно было слышать изъ устъ его эту связную рѣчь;—„не факелы“... Нѣтъ, это не то, а вотъ:

Не бреннымъ тлѣнія кумиромъ,
Не амаранѳомъ, не порфиромъ,
Столь услаждаются они...
Одно лишь въ нихъ...

— Это про насъ.—Слышишь?

Одно лишь въ нихъ непреткновенно,
Пріятно, томно, вожделѣнно:
Взаимный жаръ питать въ крови!

А ты—Аграфена!

Наркизъ усмѣхнулся полу-презрительно, полу-равнодушно.—Эхъ-ма, каженникъ! *) — проговорилъ онъ про себя. Но бригадиръ уже опять потупился — удочка вывалилась изъ его руки и соскользнула въ воду.

*) Каженникъ—идіотъ, чудакъ.

VIII.

— А что, какъ я погляжу, дѣло-то наше—дрянь,—промолвилъ Огурецъ;—рыба—вишь—не клюетъ вовсе. Ужъ жарко больно стало, а нашего барина „мехлюдія“ *) постигла. Видно — домой пойти; лучше будетъ. — Онъ осторожно досталъ изъ кармана жестяную фляжку съ деревянной пробочкой, откупорилъ ее, насыпалъ себѣ на соколокъ табаку — да и дернулъ по обѣимъ ноздрямъ разомъ...—Эхъ, табачекъ!—простоналъ онъ, приходя въ чувство;—ажно тоска по зубамъ заиграла!—Ну, голубчикъ Василій Ѳомичъ, извольте подниматься—пора!

Бригадиръ всталъ съ лавочки.

— Далеко вы отсюда живете?—спросилъ я Огурца.

— Да они-то вотъ недалеко... и версты не будетъ.

— Позволите вы мнѣ проводить васъ?—обратился я къ бригадиру. Мнѣ не захотѣлось отстать отъ него.

Онъ посмотрѣлъ на меня и, улыбнувшись той особенной, важной, вѣжливой и нѣсколько жеманной улыбкой, которая, не знаю какъ другимъ, а мнѣ всякій разъ напоминаетъ пудру, французскіе кафтаны съ стразовыми пуговицами—вообще восемнадцатый вѣкъ—проговорилъ съ старомодной разстановкой, что „о-чен-но будетъ радъ“... и тотчасъ опять опустился. Екатерининскій кавалеръ мелькнулъ въ немъ на мгновеніе—и исчезъ.

Наркизъ удивился моему намѣренію; но я не обратилъ вниманія на неодобрительное покачиваніе его ушастаго картуза, и вышелъ изъ сада вмѣстѣ съ бригадиромъ, котораго поддерживалъ Огурецъ. — Старикъ двигался довольно быстро, какъ на деревяшкахъ.

*) Мехлюдія—меланхолія.

IX.

Мы шли чуть-чуть проторенной тропинкой, по травянистой долинѣ, между двумя березовыми рощами. Солнце пекло; иволги перекликались въ зеленой чащѣ, коростели трещали возлѣ самой тропинки, голубенькія бабочки перелетывали стайками по бѣлымъ и краснымъ цвѣтамъ низкаго клевера; пчелы, словно сонныя, путались и вяло жужжали въ недвижной травѣ. Огурецъ встряхнулся, оживился; Наркиза онъ боялся—онъ жилъ у него подъ глазами; я былъ ему чужой, заѣзжій—со мною онъ скоро освоился. — „Вотъ,—зачастилъ онъ,—нашъ баринъ—постникъ, что толковать! а однимъ окунькомъ — какъ тутъ сыту быть? Развѣ вы, ваше благородіе, что пожертвуете? Тутъ сейчасъ за поверткомъ въ кабачкѣ—отличные калачики-ситнички. А коли милость будетъ, такъ и азъ многогрѣшный при этомъ случаѣ за ваше здравіе—долголѣтіе-долгоденствіе, шкальчикъ выкушаю“.—Я далъ ему двугривенный и едва успѣлъ отвернуть руку, которую онъ бросился лобызать. Онъ узналъ, что я охотникъ, и пустился толковать о томъ, что у него есть хорошій знакомый офицеръ, у котораго шведское мин-дин-денгеровское ружье съ мѣднымъ стволомъ—что̀ твоя пушка! выпалишь—такъ словно забытье найдетъ: послѣ французовъ осталось!... и собака — просто игра природы! что онъ самъ всегда большую страсть къ охотѣ имѣлъ, и попъ бы ничего — вмѣстѣ съ нимъ перепеловъ лавливалъ—да благочинный до безконечности его затиранилъ; а что до Наркиза Семеныча,—промолвилъ опъ на-распѣвъ,—такъ ежели я по ихнему понятію необстоятельный человѣкъ на семъ свѣтѣ есть—и я на то доложу: отростили они себѣ брови не хуже тетерева, да и по-

лагаютъ, что чрезъ то всѣ науки произошли.—Тѣмъ временемъ мы подошли къ кабачку — одинокой ветхой избушкѣ безъ задворка и клѣти; отощалая собака лежала свернувшись подъ окошкомъ; курица копалась въ пыли передъ самымъ ея носомъ. Огурецъ усадилъ бригадира на завалинкѣ и мгновенно шмыгнулъ въ избушку. Пока онъ покупалъ калачики да подносилъ себѣ шкаликъ—я глазъ не сводилъ съ бригадира, который, Богъ вѣдаетъ почему, мнѣ представлялся загадкой. Въ жизни этого человѣка—думалось мнѣ—навѣрное произошло что-нибудь необыкновенное. А онъ, казалось, и не замѣчалъ меня вовсе; сидѣлъ, сгорбившись, на завалинкѣ и перебиралъ въ пальцахъ нѣсколько гвоздиковъ, сорванныхъ имъ въ саду моего пріятеля. Огурецъ появился, наконецъ, со связкой калачиковъ въ рукѣ; появился, весь красный и потный, съ выраженіемъ радостнаго удивленія на лицѣ, какъ-будто онъ только-что увидалъ нѣчто чрезвычайно пріятное и для него неожиданное. Онъ тотчасъ предложилъ бригадиру откушать калачика—и тотъ откушалъ. Мы отправились далѣе.

X.

Въ силу выпитой водки, Огурца совершенно, какъ говорится, „разлимонило“. Онъ принялся утѣшать бригадира, который продолжалъ спѣшить впередъ, пошатываясь, какъ на деревяшкахъ.—Что вы, батюшка баринъ, невеселы, носъ повѣсили? Позвольте я вамъ пѣсенку спою. Сейчасъ всякое удовольствіе получите... Вы не извольте сумлѣваться,—обратился онъ ко мнѣ;—баринъ у насъ пресмѣшливый, и Боже ты мой! Вчерась я гляжу: баба на плоту портки моетъ — да толстая же и попа-

лась баба — а они сзаду стоятъ, да отъ смѣху такъ и киснутъ, ей Богу!... Вотъ позвольте сейчасъ: про зайца пѣсню знаете? Вы не глядите на меня, что я невзраченъ есть; у насъ тутъ въ городѣ цыганка живетъ: рыло-рыломъ — а запоетъ: гробъ! ложись да помирай.—Онъ широко раскрылъ свои мокрыя, красныя губы и запѣлъ, загнувъ голову на-бокъ, закрывъ глаза и потряхивая бородкой:

Лежитъ заяцъ подъ кустомъ;
Ѣздятъ охотнички по пустомъ...
Лежитъ заяцъ, еле дышетъ—
Между тѣмъ онъ ухомъ слышитъ—
Смерти ждетъ!

Чѣмъ вамъ, охотнички, я досадилъ?
Иль какую бѣдушку учинилъ?
Я въ капустахъ хоть бываю,
По одномъ листу съѣдаю—
И то не у васъ!
Да-съ!

Огурецъ все болѣе задавалъ форсу:

Скакнулъ заяцъ въ темный лѣсъ—
И охотничкамъ фостъ поднесъ.
Вы, охотнички, простите,
На мой фостикъ поглядите—
Я не вашъ!

Огурецъ уже не пѣлъ... Онъ оралъ.

Ѣздили охотники до су-такъ...
Разбирали заячій па-сту-пакъ...
Межъ собой все толковали
И другъ дружку обругали:
Заяцъ-то не нашъ!
Косой обманулъ!!

Первые два стиха каждаго куплета Огурецъ пѣлъ протяжнымъ голосомъ—остальные три, напротивъ, очень живо, при чемъ щеголевато подпрыгивалъ и переступалъ

ногами; по окончаніи же куплета откалывалъ „колѣно“, т. е. ударялъ самого себя пятками. Воскликнувъ во все горло: „Косой обманулъ!“ онъ перекувырнулся... Ожиданія его оправдались. Бригадиръ вдругъ залился тонкимъ слезливымъ хохотомъ, да такъ усердно, что дальше идти не могъ—и слегка присѣлъ, безсильно похлопывая руками по колѣнкамъ. Я глядѣлъ на его побагровѣвшее, судорожно-искривленное лицо, и очень мнѣ жаль его стало—именно въ это мгновенье. Воодушевленный успѣхомъ, Огурецъ пустился въ присядку, безпрестанно приговаривая: „шилды-будылды“ да „начики-чикалды!“... Онъ ткнулся, наконецъ, носомъ въ пыль... Бригадиръ внезапно пересталъ хохотать и заковылялъ дальше.

XI.

Мы прошли еще съ четверть версты. — Показалась маленькая деревушка на краю неглубокаго оврага; въ сторонѣ виднѣлся „флигелекъ“ съ полуразметанной крышей и одинокой трубой; въ одной изъ двухъ комнатъ этого флигелька помѣщался бригадиръ. Владѣтельница деревушки, постоянная обитательница Петербурга, статская совѣтница Ломова, отвела—какъ я узналъ впослѣдствіи—этотъ уголокъ бригадиру. Она велѣла выдавать ему мѣсячину, а также приставить къ нему для услуженія проживавшую въ той же деревнѣ дурочку изъ дворовыхъ, которая, хотя и плохо понимала человѣческую рѣчь, однако могла, по мнѣнію совѣтницы, и полъ подмести, и щи сварить. На порогѣ флигелька бригадиръ снова обратился ко мнѣ съ прежней екатерининской улыбкой: не угодно ли-молъ мнѣ пожаловать въ его апартаментъ? Вошли мы въ этотъ „апартаментъ“. Все въ

немъ было до крайности грязно и бѣдно, такъ грязно и такъ бѣдно, что бригадиръ, вѣроятно, замѣтивъ, по выраженію моего лица, какое впечатлѣніе произвело на меня его жилище, промолвилъ, пожавъ плечами и прищурившись: „се-не-па... бль-де-пердри“... Что собственно хотѣлъ онъ этимъ сказать — осталось мнѣ не совсѣмъ яснымъ... Заговоривъ съ нимъ по-французски, я не получилъ отвѣта на этомъ языкѣ. Два предмета особенно поразили меня въ жилищѣ бригадира: во-первыхъ, большой офицерскій георгіевскій крестъ въ черной рамѣ, подъ стекломъ, съ надписью старинным почеркомъ: „полученъ полковникомъ Черниговскаго Дерфельдена полка Василіемъ Гуськовымъ за штурмъ Праги въ 1794 году“; а, во-вторыхъ — поясной масляный портретъ красивой черноглазой женщины съ продолговатымъ и смуглымъ лицомъ, высоко взбитыми и напудренными волосами, съ мушками на вискахъ и подбородкѣ, въ пестромъ вырѣзномъ робъ-ронѣ, съ голубыми оборками, эпохи восьмидесятыхъ годовъ. Портретъ былъ плохо написанъ — но навѣрное очень схожъ: чѣмъ-то слишкомъ жизненнымъ и несомнѣннымъ вѣяло отъ этого лица. Оно не глядѣло на зрителя, какъ бы отворачивалось отъ него и не улыбалось; въ горбинѣ узкаго носа, въ правильныхъ, но плоскихъ губахъ, въ почти прямой чертѣ густыхъ, сдвинутыхъ бровей, сказывался повелительный, надменный, вспыльчивый нравъ. Не нужно было особаго усилія, чтобы представить себѣ, какъ это лицо могло внезапно загораться страстію или гнѣвомъ. Подъ самымъ портретомъ, на небольшой тумбочкѣ, стоялъ полузавядшій букетъ простыхъ полевыхъ цвѣтовъ въ толстой стеклянной банкѣ. Бригадиръ приблизился къ тумбочкѣ, воткнулъ въ банку принесенныя имъ гвоздики, и, обернувшись ко мнѣ и поднявъ руку въ направленіи портрета, промолвилъ:

„Агриппина Ивановна Телѣгина, Ломова урожденная". Слова Наркиза пришли мнѣ на память: я съ удвоеннымъ вниманіемъ посмотрѣлъ на выразительное и недоброе лицо женщины, изъ-за которой бригадиръ всего состоянія лишился.

— Вы, я вижу, присутствовали при штурмѣ Праги, господинъ бригадиръ,—началъ я, указывая на георгіевскій крестъ,—и удостоились получить знакъ отличія, во всякое время рѣдкій, а тогда подавно; вы, стало-быть, помните Суворова?

— Александра Васильича-то?—отвѣчалъ бригадиръ, помолчавъ немного и какъ бы собираясь съ мыслями;—какъ же, помню, маленькій былъ, живой старичекъ. Ты стоишь, не чукнешь—а онъ туды-сюды (бригадиръ захохоталъ). Въ Варшаву-то на казачьей лошади въѣхалъ; самъ весь въ браліантахъ, а полякамъ говоритъ: нѣту у меня часовъ, въ Питерѣ забылъ, нѣту, нѣту! а они-то: вивать! вивать!—Чудаки! Эй! Огурецъ! малый!—прибавилъ онъ вдругъ, перемѣнивъ и возвысивъ голосъ (балагуръ-дьячекъ оставался за дверью):—Гдѣ-жъ,—калачики то? Да Грунькѣ скажи... какъ бы кваску!

— Сейчасъ, батюшка баринъ,—послышался голосъ Огурца.

Онъ вручилъ бригадиру связку ситничковъ—и, выйдя изъ флигелька, подошелъ къ какому-то взъерошенному существу въ лохмотьяхъ — должно быть, самой той дурочкѣ Грунькѣ—и, сколько я могъ разобрать сквозь запыленное окошко, началъ требовать отъ нея „кваску"—ибо нѣсколько разъ сряду приставлялъ одну руку воронкой ко́ рту, а другою махалъ въ нашу сторону.

XII.

Я снова попытался вступить въ бесѣду съ бригадиромъ; но онъ видимо усталъ, опустился, кряхтя, на лежанку и, простонавъ: „ой, ой, косточки, косточки", развязалъ свои подвязки. Помнится, меня тогда удивило, какъ это у мужчины могли быть подвязки? Я не сообразилъ, что въ прежнее время всѣ ихъ носили. Бригадиръ принялся зѣвать продолжительно и откровенно, не спуская съ меня отупѣлыхъ глазъ: такъ зѣваютъ очень маленькія дѣти. Бѣдный старикъ, казалось, не совсѣмъ даже понималъ мои вопросы... И онъ бралъ Прагу! Онъ, со шпагой на-голо́, въ дыму, въ пыли—въ челѣ суворовскихъ солдатъ, прострѣленное знамя надъ головой, обезображенные трупы подъ ногами... Онъ... онъ?! Не удивительно-ли?—Но мнѣ все-таки сдавалось, что въ жизни бригадира происходили событія еще болѣе необыкновенныя. Огурецъ принесъ бѣлаго квасу въ желѣзномъ ковшикѣ; бригадиръ напился съ жадностью — руки его тряслись.—Огурецъ поддерживалъ дно ковшика. Старикъ старательно отеръ свой беззубый ротъ обѣими ладонями — и снова, уставившись на меня, зажевалъ и зачмокалъ губами. Я понялъ въ чемъ дѣло, раскланялся и вышелъ изъ комнаты.

— Теперь почивать будутъ,—замѣтилъ Огурецъ, выступая за мною.—Очень ужъ уморились сегодня—на могилку съ утра ходили.

— На чью могилку?

— А къ Аграфенѣ Ивановнѣ на поклоненіе... Онѣ тутъ у насъ въ приходскомъ кладбищѣ похоронены; верстъ отсюда пять будетъ. Василій Ѳомичъ каждую недѣлю безпремѣнно къ нимъ ходятъ. Да онъ же ихъ и похоронилъ и ограду поставилъ на свой коштъ.

— А давно она скончалась?

— Да лѣтъ—почитай—съ двадцать.

— Она ему пріятельницей была, что̀-ли?

— Всю жисть, какъ есть, съ ними провели... помилуйте. Самъ я барыни той, признаться, не знавалъ,—а, говорятъ, промежъ ихъ дѣла были... ннну!—Господинъ,—поспѣшно прибавилъ дьячекъ, видя, что я отвернулся,—не соблаговолите-ли, не пожалуете-ли „ощѣ“ на шкаликъ — а то мнѣ пора въ пуньку *) — да подъ шептуху **).

Я не почелъ за нужное разспрашивать Огурца — далъ ему еще двугривенный—и отправился домой.

XIII.

Дома я обратился за свѣдѣніями къ Наркизу. Онъ, какъ и слѣдовало ожидать, поломался немного, поважничалъ, выразилъ свое удивленіе, что меня такіе пустяки „антересовать“ могутъ, и, наконецъ, разсказалъ, что̀ зналъ. Я услышалъ слѣдующее.

Василій Ѳомичъ Гуськовъ познакомился съ Аграфеной Ивановной Телѣгиной въ Москвѣ, вскорѣ послѣ польскаго погрома; мужъ ея служилъ при генералъ-губернаторѣ, а Василій Ѳомичъ находился въ отпуску. Онъ тогда же въ нее влюбился, но въ отставку не выходилъ: человѣкъ онъ былъ одинокій, лѣтъ сорока, съ состояніемъ. Мужъ ея вскорѣ умеръ. Она осталась послѣ него бездѣтной, въ бѣдности, въ долгахъ... Василій Ѳомичъ узналъ объ ея положеніи, бросилъ службу (ему дали при отставкѣ бригадирскій чинъ) и отыскалъ свою

*) Клѣть.

**) Одѣяло изъ грубаго сукна.

любезную вдовушку, которой всего двадцать-пятый годъ пошелъ, заплатилъ всѣ ея долги, выкупилъ имѣніе... Съ тѣхъ поръ онъ уже съ нею не разставался и кончилъ тѣмъ, что поселился у нея. Она тоже словно полюбила его, но выдти за него за-мужъ не хотѣла.—„Блажная была покойница,—замѣтилъ при этомъ Наркизъ;—мнѣ,—говоритъ,—своя воля дороже всего.—А пользоваться имъ—она пользовалась—„во всѣхъ частяхъ"—и деньги какія у него были, онъ всѣ къ ней тащилъ, какъ „муравей". Но блажь Аграфены Ивановны принимала иногда размѣры необычайные: нраву она была неукротимаго и на руку дерзка... Однажды она съ лѣстницы своего казачка столкнула, а тотъ возьми да переломи себѣ два ребра да ногу... Аграфена Ивановна испугалась... тотчасъ велѣла запереть казачка въ чуланъ, и до тѣхъ поръ сама изъ дому не выходила и ключъ отъ чулана никому не отдала, пока не прекратились въ немъ стенанья... Казачка тайкомъ похоронили...—И будь это при императрицѣ Екатеринѣ, — прибавилъ шопотомъ, пригнувшись, Наркизъ:—можетъ, и такъ бы дѣло обошлось, много такихъ дѣловъ тогда осталось подъ спудомъ, а то...—тутъ Наркизъ выпрямился и возвысилъ голосъ: — воцарился тогда справедливый государь Александръ Благословенный... ну и завязалось дѣло... Пріѣхалъ судъ, отрыли тѣло... оказались боевые знаки... пошелъ дымъ коромысломъ. И какъ же вы полагаете? Василій Ѳомичъ все на себя взялъ. —Я, молъ, причиной, я толкнулъ да я же и заперъ.—Ну, разумѣется, сейчасъ, всѣ судьи тамъ, приказные, полицейскіе... на него, да на него, и до тѣхъ поръ, доложу вамъ... его трепали, пока послѣдній грошъ изъ мошны не выскочилъ. Нѣтъ, нѣтъ... да опять за-воротъ. До самаго француза—вотъ какъ французъ къ намъ въ Расею приходилъ—все тре-

пали; тогда только бросили. Ну, а Аграфену Ивановну онъ обезпечилъ—точно; онъ ее спасъ—такъ сказать надо. Ну и послѣ, до самой ея кончины онъ у ней жилъ, и, сказываютъ, помыкала же она имъ—бригадиромъ-то—зря; пѣшкомъ изъ Москвы въ деревню посылала, ей-Богу—за оброкомъ, значитъ. Онъ изъ-за нея, изъ-за самоё тоё Аграфены Ивановны, съ англійскимъ милордомъ Гузѣ-Гузомъ на шпантонахъ дрался; и англійскій милордъ долженъ былъ произнести извинительный комплиментъ. Такъ вотъ онъ, бригадиръ-то, съ тѣхъ мѣстъ и скопытился... Ну, а теперь ужъ онъ, конечно, не въ числѣ человѣковъ.

— Кто же этотъ Алексѣй Иванычъ жидъ,—спросилъ я:—черезъ кого онъ разорился?

— А братецъ Аграфены Ивановны. Алчная была душа, ужъ точно жидовская. Сестрѣ въ ростъ деньги отдавалъ, а Василій Ѳомичъ поручителемъ. Поплатился тоже... лихо!

— А Ѳеодулія Ивановна грабительница? Это... кто была?

— Тоже сестрица... и ловкая тоже.—Копьё, что̀ называется... бѣдовая!

XIV.

„Вотъ гдѣ проявился Вертеръ!“ думалъ я на слѣдующій день, снова направляясь къ жилищу бригадира. Я былъ тогда очень молодъ—и, быть можетъ, именно потому и считалъ своей обязанностью не вѣрить въ продолжительность любви. Все же я былъ пораженъ и нѣсколько озадаченъ слышаннымъ мною разсказомъ и ужасно мнѣ захотѣлось расшевелить старика, заставить его

разговориться. „Сперва упомяну опять о Суворовѣ“, такъ разсуждалъ я съ самимъ собою, „должна же въ немъ таиться хоть искра прежняго огня... а, потомъ, когда онъ разогрѣется, наведу рѣчь на эту... какъ бишь ее?.. Аграфену Ивановну. Странное имя для „Шарлотты“ — Аграфена!“

Я засталъ Вертера-Гуськова посреди крохотнаго огородца, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ флигелька, возлѣ стараго, крапивой поросшаго сруба никогда не выведенной избы. По заплѣснѣвшимъ верхнимъ бревнамъ этого сруба съ пискомъ пробирались, безпрестанно скользя и хлопая крыльями, щедушныя индюшата. На двухъ-трехъ грядахъ росла кое-какая убогая зелень. Бригадиръ только-что вытащилъ изъ земли молодую морковь и, продернувъ ее у себя подъ мышкою — „для очищенія“ — принялся жевать ея тонкій хвостикъ... Я поклонился ему и освѣдомился объ его здоровьѣ.

Онъ очевидно не узналъ меня, хотя и отдалъ мнѣ мой поклонъ — то-есть, прикоснулся рукой къ картузу, не переставая однако жевать морковь.

— Сегодня вы не пришли ловить рыбу? — началъ я, въ надеждѣ напомнить ему мою фигуру этимъ вопросомъ.

— Сегодня? — повторилъ онъ и задумался... а морковь воткнутая въ его ротъ сокращалась да сокращалась. — Да вѣдь это Огурецъ ловитъ рыбу!.. А мнѣ тоже позволяютъ.

— Конечно, конечно, почтеннѣйшій Василій Ѳомичъ... Я не съ тѣмъ... Но вамъ не жарко... этакъ на солнцѣ?

На бригадирѣ былъ толстый ваточный халатъ.

— А? Жарко? — повторилъ онъ опять, какъ бы недоумѣвая и, окончательно проглотивъ морковь, разсѣянно посмотрѣлъ вверхъ.

— Не угодно-ли пожаловать въ мой апартамент? —

заговорилъ онъ внезапно. У бѣднаго старика, видно, одна только эта фраза и осталась въ распоряженіи.

Мы вышли изъ огорода... но тутъ я невольно остановился. Между нами и флигелемъ стоялъ огромный быкъ. Склонивъ голову до самой земли, злобно поводя глазами, онъ тяжко и сильно фыркалъ и, быстро сгибая одну переднюю ногу, высоко взбрасывалъ пыль своимъ широкимъ раздвоеннымъ копытомъ, билъ хвостомъ себѣ по бокамъ и вдругъ немного пятился, упорно трясъ мохнатой шеей и мычалъ—не громко, жалобно и грозно. Я, признаюсь, смутился; но Василій Ѳомичъ преспокойно выступилъ впередъ и, проговоривъ строгимъ голосомъ: „Ну ты, деревеньщина“, махнулъ платкомъ. Быкъ еще попятился, склонилъ рога... и вдругъ бросился въ сторону и побѣжалъ, мотая головой направо и налѣво.

„А онъ точно, бралъ Прагу,“—подумалъ я.

Мы вошли въ комнату. Бригадиръ стащилъ картузъ со вспотѣвшихъ волосъ, воскликнулъ: фа!.. прикорнулъ на край стула... и понурился...

— Я зашелъ къ вамъ, Василій Ѳомичъ,—началъ я свои дипломатическіе апроши,—собственно за тѣмъ, что такъ какъ вы служили подъ начальствомъ великаго Суворова—вообще участвовали въ такихъ важныхъ событіяхъ—то для меня было бы весьма интересно знать подробности...

Бригадиръ уставился на меня... Лицо его странно оживилось—я уже ожидалъ, если не разсказа, то по крайней мѣрѣ одобрительнаго, сочувственнаго слова...

— А я, господинъ, должно, скоро умру,—проговорилъ онъ въ полголоса.

Я пришелъ въ тупикъ.

— Какъ, Василій Ѳомичъ,—вымолвилъ я наконецъ,—почему же вы... это полагаете?

Бригадиръ внезапно задергалъ руками — вверхъ, внизъ—опять-таки по ребячьи.

— А потому, господинъ .. Я... вы, можетъ, знаете... Агриппину Ивановну покойницу — царство ей небесное! — часто во снѣ вижу — и никакъ я ее поймать не могу; все гоняюсь за нею—а не поймаю. А въ прошлую ночь—вижу я—стоитъ она этакъ будто передо мной въ полъ-оборота и смѣется... Я тотчасъ же къ ней побѣгъ— и поймалъ... И она будто обернулась вовсе и говоритъ мнѣ: ну Васинька, теперь ты меня поймалъ.

— Что же вы изъ этого заключаете, Василій Ѳомичъ?

— А то, господинъ, заключаю: стало, вмѣстѣ намъ быть. Да и слава Богу, доложу вамъ; слава Господу Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу — (бригадиръ запѣлъ): и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, аминь!

Бригадиръ началъ креститься. Больше я ничего отъ него добиться не могъ—такъ и ушелъ.

XV.

На слѣдующій день мой пріятель пріѣхалъ... Я упомянулъ о бригадирѣ, о моихъ посѣщеніяхъ...—Ахъ, да! какъ же! я его исторію знаю,—отвѣчалъ мой пріятель;—я и со статской совѣтницей Ломовой хорошо знакомъ, по милости которой онъ тутъ пріютился. Да постой, у меня, кажется, здѣсь должно письмо его храниться, къ той самой статской совѣтницѣ; она ему въ силу этого письма и уголокъ отвела. — Пріятель мой порылся въ своихъ бумагахъ и дѣйствительно нашелъ письмо бригадира. Вотъ оно отъ слова до слова, за исключеніемъ орѳографическихъ ошибокъ. Бригадиръ, какъ всѣ люди тогдаш-

ней эпохи, путался въ буквахъ „е“ и „ѣ“ — писалъ: „хкому, штопъ, слюдми“ и т. д.—Сохранить эти ошибки не предстояло надобности: письмо его и безъ того носитъ отпечатокъ своего времени.

„Милостивая государыня!
„Раиса Павловна!

„По кончинѣ друга моего, а вашей тетушки, имѣлъ я счастіе писать къ вамъ два письма, первое іюня отъ перваго, второе же іюля отъ шестого числа 1815 года— а она скончалась шестого мая того-жъ года; въ нихъ былъ я вамъ открытъ въ чувствахъ души и сердца моего, которыя стѣснены были убійственнымъ оскорбленіемъ и изображали въ полномъ видѣ ожесточенное мое и жалости достойное отчаяніе; оба письма посланы по коронной почтѣ страховыми, а по сему и не можно усумниться, чтобъ они не были вами прочтены. Чрезъ откровенность мою въ нихъ я надѣялся получить ваше благодѣтельное ко мнѣ вниманіе; но сострадательныя ваши чувства отдалены были отъ меня горькаго! Оставшись же послѣ единственнаго друга, Агрипшины Ивановны, въ самомъ разстроенномъ и бѣдственномъ состояніи, я только и полагалъ, по словамъ ея, всю мою надежду на ваше благоутробіе; она, чувствуя уже кончину жизни своей, сказала мнѣ именно сими, яко бы надгробными и мнѣ вѣчно памятными словами: „другъ мой, я твоя змѣя и виновница всего твоего несчастія, я чувствую, сколько много ты мнѣ жертвовалъ и за то оставляю тебя въ злополучномъ и во-истину обнаженномъ положеніи; по смерти моей прибѣгни ты къ Раисѣ Павловнѣ“ — то-есть къ вамъ — „и проси у ней помощи, взывай! Она имѣетъ душу чувствительную, и въ ней я увѣрена, что она тебя сироту не оставитъ“.—Милостивая государыня, примите

во свидѣтельство всевышняго Создателя міра, что это ея слова, и я говорю ея языкомъ; а посему, утвердясь въ добродѣтели вашей, къ первой къ вамъ отнесся съ чистосердечными и откровенными моими письмами; но по долговременномъ ожиданіи не получа на нихъ отвѣта, иначе не мыслилъ, что добродѣтельное ваше сердце оставило меня безъ вниманія! Таковое неблагорасположеніе ваше ко мнѣ въ вящшее меня ввергло отчаяніе—куды-жъ и къ кому было мнѣ безталанному прибѣгнуть — я не зналъ; разсудокъ былъ потерянъ, духъ блуждалъ—наконецъ, къ совершенной моей погибели Провидѣнію угодно было еще жесточайшимъ образомъ меня наказать и обратить мои мысли къ покойницѣ же, вашей же тетушкѣ, Ѳеодуліи Ивановнѣ, Агриппины Ивановны сестрѣ единоутробной, но не единосердечной! Представя самому себѣ въ воображеніи то, что уже двадцать лѣтъ былъ я преданъ всему родственному Ломовскому вашему дому — особливо же Ѳеодуліи Ивановнѣ, которая иначе не называла Агриппину Ивановну, какъ „сердечный мой дружёчекъ“, а меня, „препочтенный радѣтель нашего семейства“, — представя все сіе въ обильной воздыханіями и слезами тишинѣ скорбныхъ ночныхъ бдѣній, я подумалъ: ну, бригадиръ! такъ, видно, тому и быть!—и обратившись къ оной Ѳеодуліи Ивановнѣ съ моими письмами, получилъ точное удостовѣреніе, что послѣднюю кроху со мной раздѣлятъ! Бывъ симъ обѣщаньемъ обнадеженъ, собралъ убогіе свои остатки и поѣхалъ къ Ѳеодуліи Ивановнѣ! Привезенные мною гостинцы, болѣе какъ на пять сотъ рублей, были приняты съ отмѣннымъ удовольствіемъ; а потомъ и деньги, которыя я привезъ для содержанія себя, Ѳеодуліи Ивановнѣ угодно было, подъ видомъ сохраненія, взять въ свое вѣдѣніе, чему, угождая ей, я не противился. Если же вы спросите меня: отколѣ

и въ силу чего таковое довѣріе я возымѣлъ,—на сіе, сударыня, одинъ отвѣтъ: Агриппинѣ Ивановнѣ сестра и Ломовскаго семейства вѣтвь!! — Но увы и ахъ! денегъ сихъ я всѣхъ въ скорости лишился, и надежда моя, которую я полагалъ на Ѳеодулію Ивановну — что хотѣла послѣднюю кроху со мной раздѣлить, оказалась тщетной и суетной: напротивъ, оная Ѳеодулія Ивановна моимъ же добромъ себя угобзила. А именно, въ день ея ангела, пятаго февраля, я ей зеленой французской матеріи на пятьдесятъ рублей, по пяти рублей аршинъ, преподнесъ; самъ же изъ обѣщаннаго получилъ: бѣлаго пикé на жилетъ на пять рублей, да кисейный на шею платокъ, которые подарки при мнѣ же были куплены и, какъ мнѣ извѣстно, изъ моихъ же денегъ—и вотъ все, чѣмъ я, по благодѣянію Ѳеодуліи Ивановны ко мнѣ, воспользовался! Вотъ оная послѣдняя кроха! И я бы могъ далѣе въ самой истинѣ обнаружить всѣ недоброжелательные Ѳеодуліи Ивановны со мной поступки—а также и мои, всяческую мѣру превосходящіе депансы, какъ-то, между прочимъ, на конфекты и фрукты, которые Ѳеодулія Ивановна была великая охотница кушать; — но все сіе умалчиваю для того, дабы вы таковое объясненіе объ умершей не отнесли въ дурную сторону; и притомъ, такъ какъ Богъ призвалъ ее къ себѣ на судъ — и все, что я отъ нея претерпѣлъ изъ сердца моего истребилось, — то я ей, какъ христіанинъ, простилъ давно и умоляю Бога, чтобы онъ ей простилъ!!

Но, милостивая государыня Раиса Павловна! Неужели-жъ вы обвиняете меня за то, что я былъ вѣрнымъ и неложнымъ другомъ вашего семейства, и за то, что такъ много и непреоборимо любилъ Агриппину Ивановну, жертвовалъ ей моей жизнью, моей честью и всѣмъ моимъ состояніемъ! былъ въ совершенной ея власти и по-

тому не могъ уже управлять ни самимъ собою, ни моей собственностью — а распоряжалась она по своей волѣ какъ мною, такъ и моимъ состояньемъ! Вамъ извѣстно и то, что по дѣлу ея съ людьми ея я терпѣлю *невинно* убійственное оскорбленіе — дѣло сіе я перенесъ послѣ смерти ея въ сенатъ, въ шестый департаментъ — оно еще теперь не рѣшено — по которому сдѣлали меня соучастникомъ съ нею, отдали въ опеку и все еще судятъ уголовнымъ судомъ! Въ моемъ званіи, въ мои лѣта, таковое безчестіе несносно мнѣ; и остается мнѣ только симъ горестнымъ размышленіемъ ублажать свое сердце, что, слѣдовательно, и по смерти Агриппины Ивановны я страдаю за нее — и сіе означаетъ слѣды неизмѣнной любви и добродѣтельной благодарности моей къ ней!

Въ упомянутыхъ моихъ къ вамъ письмахъ я доводилъ до свѣдѣнія вашего о похоронахъ Агриппины Ивановны со всею подробностью — и какое было по ней поминовеніе; дружба и любовь моя къ ней по состоянію ничего не щадили! На все сіе — и съ сорокоустами, и за шесть недѣль за чтеніе по ней псалтыри — (сверхъ того, пятьдесятъ рублей ассигнаціями мои пропали, кои даны въ задатокъ за камень, о которомъ я васъ увѣдомилъ), — на все сіе издержано собственныхъ моихъ денегъ семьсотъ пятьдесятъ рублей ассигнаціями — въ числѣ которыхъ и взнесенныя за мѣсто вкладу въ церковь полтораста рублей ассигнаціями-жъ!

Благотворная душа твоя, внемли гласу отчаяннаго и ввереннаго въ пропасть жесточайшихъ мученіевъ! Одно состраданіе твое къ человѣколюбію можетъ возвратить жизнь погибшаго!! Я, хотя и живъ — но въ страданіи души и сердца моего мертвъ; мертвъ, когда вспомню, чѣмъ былъ, и что̀ есмь: былъ воиномъ и отечеству всею правдою служилъ и прямилъ, какъ истому россіянину и

вѣрному подданному несомнѣнно надлежитъ — и отмѣнными знаками награждаемъ былъ,—и состояніе сообразное съ рожденіемъ и званіемъ имѣлъ; а нынѣ изъ-за насущнаго хлѣбо-питанія горбомъ хребетъ сгибаю; мертвъ же особенно я есмь, когда вспомню, какого друга лишился... и на что́ мнѣ жизнь послѣ сего? Но предѣла своего не ускоришь, и земля не разступится, а скорѣе того въ камень обратится! А потому взываю къ тебѣ, душа добродѣтельная, утиши молву народную, не дай себя въ общее осужденіе, что за таковую мою безграничную преданность я пристанища себѣ не имѣю, удиви милостію твоею ко мнѣ, обрати языкъ злобствующихъ и завидующихъ къ прославленію твоихъ достоинствъ—и осмѣлюсь со всяческимъ смиреніемъ присовокупить, утѣшь въ гробѣ дражайшую тетку твою, незабвенную Агриппину Ивановну, которая за твою благопоспѣшную помощь, моими грѣшными молитвами, простретъ надъ главою твоею свои благословящія длани, успокой на закатѣ дней одинокаго старца, который не такую могъ ожидать себѣ участь!.. А впрочемъ, съ глубочайшимъ почтеніемъ имѣю счастье назваться вашимъ, милостивая государыня,

преданнѣйшимъ слугою
Василій Гуськовъ
бригадиръ и кавалеръ.

XVI.

Нѣсколько лѣтъ спустя, я снова посѣтилъ деревушку моего пріятеля... Василія Ѳомича уже давно въ живыхъ не было: онъ скончался вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ. Огурецъ все еще здравствовалъ. Онъ свелъ меня на могилку Аграфены Ивановны.—Желѣзная ограда

окружала большую плиту съ подробной и пышной эпитафіей покойницы; а тутъ же, рядомъ, и какъ бы у ногъ ея виднѣлся небольшой холмикъ съ покрившимся крестомъ: рабъ Божій, бригадиръ и кавалеръ Василій Гуськовъ покоится подъ этимъ холмикомъ... Прахъ его пріютился, наконецъ, возлѣ праха того существа, которое онъ любилъ такой безграничной, почти безсмертной любовью.

1867 г.

НЕСЧАСТНАЯ.

Да, да,—началъ Петръ Гавриловичъ,—тяжелые то были дни... и не хотѣлось бы возобновлять ихъ въ памяти... Но я далъ вамъ обѣщаніе; придется все разсказать. Слушайте.

I.

Я жилъ тогда (зимою 1835 года) въ Москвѣ, у тетушки, родной сестры покойной матушки. Мнѣ было восемнадцать лѣтъ: я только-что перешелъ со второго на третій курсъ „словеснаго“ факультета (въ то время онъ такъ назывался) въ Московскомъ университетѣ. Тетушка моя была женщина тихая и кроткая, вдова. Она занимала большой деревянный домъ на Остоженкѣ, теплый-претеплый, какихъ, я полагаю, кромѣ Москвы нигдѣ не найдешь, и почти ни съ кѣмъ не видалась, сидѣла съ утра до вечера въ гостиной съ двумя компаньонками, кушала цвѣточный чай, раскладывала пасьянсъ и то и дѣло приказывала покурить. Компаньонки бѣжали въ переднюю; нѣсколько минутъ спустя, старый слуга въ ливрейномъ фракѣ приносилъ мѣдный тазъ съ пучкомъ мяты на раскаленномъ кирпичѣ и, торопливо выступая по узкимъ половикамъ, поливалъ ее уксусомъ. Бѣлый

паръ обдавалъ его сморщенное лицо, онъ хмурился и отворачивался, а канарейки въ столовой такъ и трещали, раздраженныя шипѣніемъ курева.

Тетушка очень любила и баловала меня, круглаго сироту. Она отдала весь антресоль въ полное мое распоряженіе. Меблированы были мои комнаты весьма изящно, ужъ вовсе не по-студенчески: въ спальнѣ красовались розовыя занавѣски и кисейный пологъ съ голубыми помпончиками возвышался надъ кроватью. Эти помпончики меня, признаюсь, нѣсколько смущали: по моему понятію, подобныя „нѣжности“ должны были уронить меня въ глазахъ моихъ товарищей. Они и безъ того прозвали меня институткой: я никакъ не могъ заставить себя курить табакъ. Занимался я, что́ грѣха таить, плохо, особенно въ началѣ курса; много выѣзжалъ. Тетушка подарила мнѣ широкія генеральскія сани съ медвѣжьею полостью и пару откормленныхъ вятокъ. „Благородные“ дома я посѣщалъ рѣдко, но въ театрѣ былъ какъ свой— и пропасть поѣдалъ пирожковъ по кондитерскимъ. Со всѣмъ тѣмъ, я никакихъ безчинствъ себѣ не позволялъ и велъ себя скромно, „en jeune homme de bonne maison“. Я бы ни за что́ не согласился огорчить мою добрую тетушку; къ тому же и кровь у меня довольно спокойно обращалась въ жилахъ.

II.

Я съ раннихъ лѣтъ пристрастился къ шахматамъ; о теоріи не имѣлъ понятія, а игралъ недурно. Однажды, въ кофейной, мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ продолжительной шахматной баталіи между двумя игроками, изъ которыхъ одинъ, бѣлокурый молодой человѣкъ лѣтъ

двадцати-пяти, мнѣ показался сильнымъ. Партія кончилась въ его пользу; я предложилъ ему сразиться со мной. Онъ согласился... и въ теченіе часа разбилъ меня, шутя, три раза сряду.

— У васъ есть способность къ игрѣ,—промолвилъ онъ учтивымъ голосомъ, вѣроятно замѣтивъ страданіе моего самолюбія,—но вы дебютовъ не знаете. Вамъ надо книжку почитать, Аллгайера или Петрова.

— Вы думаете? Но гдѣ могу я такую книжку достать?

— Приходите ко мнѣ; я вамъ дамъ.

Онъ назвалъ себя и сказалъ, гдѣ квартируетъ. На другой день я отправился къ нему, а недѣлю спустя мы уже почти не разставались.

III.

Новаго знакомца моего звали Александромъ Давыдовичемъ Фустовымъ. Онъ жилъ у своей матери, дозольно богатой женщины, статской совѣтницы, въ отдѣльномъ флигелькѣ, на полной свободѣ, такъ же какъ я у тетушки. Онъ числился на службѣ по министерству Двора. Я привязался къ нему искренне. Въ жизни моей я еще не встрѣчалъ молодого человѣка болѣе „симпатичнаго“. Все въ немъ было миловидно и привлекательно: его стройная фигура, его походка, голосъ, и въ особенности его небольшое, тонкое лицо съ золотисто-голубыми глазами, съ изящнымъ, какъ бы кокетливо вылѣпленнымъ носикомъ, съ неизмѣнно-ласковою улыбкой на алыхъ губахъ, съ легкими кудрями мягкихъ волосъ надъ немного съуженымъ, но бѣлоснѣжнымъ лбомъ. Нравъ Фустова отличался чрезвычайною ровностью и какою-то пріятною, сдер-

жанною привѣтливостью; онъ никогда не задумывался, всегда былъ всѣмъ доволенъ; за-то ни отъ чего не приходилъ въ восторгъ. Всякое излишество, даже въ хорошемъ чувствѣ, его оскорбляло: „это дико, дико“, говаривалъ онъ въ такомъ случаѣ, чуть-чуть пожимаясь и прищуривая свои золотистые глаза. И удивительные же были глаза у Фустова! Они постоянно выражали участіе, благоволеніе и даже преданность. Я только впослѣдствіи времени замѣтилъ, что выраженіе его глазъ зависѣло единственно отъ особеннаго ихъ склада, что оно не мѣнялось и тогда, когда онъ кушалъ супъ или закуривалъ сигарку. Аккуратность его вошла между нами въ пословицу. Правда, бабка его была изъ нѣмокъ. Природа надѣлила его разнообразными способностями. Онъ отлично танцовалъ, щегольски ѣздилъ верхомъ и плавалъ превосходно, столярничалъ, точилъ, клеилъ, переплеталъ, вырѣзывалъ силуэтки, рисовалъ акварелью букетъ цвѣтовъ или Наполеона въ профиль въ лазоревомъ мундирѣ, съ чувствомъ игралъ на цитрѣ, зналъ множество фокусовъ, карточныхъ и иныхъ, и свѣдѣнія имѣлъ порядочныя въ механикѣ, физикѣ и химіи, но все въ мѣру. Одни языки ему не дались, даже по-французски онъ изъяснялся довольно плохо. Онъ вообще говорилъ мало и въ нашихъ студенческихъ бесѣдахъ участвовалъ больше оживленною мягкостью взгляда и улыбки. Женскому полу Фустовъ нравился безусловно, но объ этомъ, для молодыхъ людей весьма важномъ вопросѣ, не любилъ распространяться и вполнѣ заслуживалъ данное ему товарищами прозвище „скромнаго Донъ-Жуана“. Я не удивлялся Фустову; удивляться въ немъ было нечему, но я дорожилъ его расположеніемъ, хотя въ сущности оно выражалось только тѣмъ, что онъ во всякое время допускалъ меня до своей особы. Въ моихъ глазахъ Фустовъ

былъ самымъ счастливымъ человѣкомъ на свѣтѣ. Жизнь его текла именно по маслу. Мать, братья, сестры, тетки, дядья, всѣ его обожали, онъ жилъ съ ними со всѣми въ ладахъ необыкновенныхъ и пользовался репутаціей образцоваго родственника.

IV.

Однажды я забрался къ нему довольно рано и не засталъ его въ кабинетѣ. Онъ окликнулъ меня изъ сосѣдней комнаты: фырканіе и плескотня доносились оттуда до моего слуха. Каждое утро Фустовъ обливался холодною водой и потомъ около четверти часа предавался гимнастическимъ упражненіямъ, въ которыхъ достигъ замѣчательнаго мастерства. Излишнихъ заботъ о здоровьѣ тѣла онъ не допускалъ, но не забывалъ необходимыхъ. („Не забывай себя, не волнуйся, умѣренно трудись!“ было его девизомъ). Фустовъ еще не появлялся, какъ наружная дверь комнаты, въ которой я находился, растворилась настежь, и вошелъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, въ мундирномъ фракѣ, коренастый, плотный, съ молочно-бѣлесоватыми глазами на избура-красномъ лицѣ и настоящею шапкой сѣдыхъ курчавыхъ волосъ. Человѣкъ этотъ остановился, посмотрѣлъ на меня, широко разинулъ большой свой ротъ и, захохотавъ металлическимъ хохотомъ, хлестко ударилъ себя ладонью по ляшкѣ сзади, причемъ высоко вынесъ ногу впередъ.

— Иванъ Демьянычъ?—спросилъ изъ-за двери мой пріятель.

— Онъ самый и есть,—отозвался вошедшій.—А вы что-жъ это? туалетъ свой совершаете? Дѣло! Дѣло! (Голосъ человѣка, прозывавшагося Иваномъ Демьянычемъ,

звучалъ, такъ же какъ и смѣхъ его, чѣмъ-то металлическимъ). Я къ братишкѣ вашему приперъ-было урокъ давать; да онъ, знать, простудился, чихаетъ все. Дѣйствовать не можетъ. Вотъ я и завернулъ къ вамъ пока, отогрѣться.

Иванъ Демьянычъ опять засмѣялся тѣмъ же страннымъ смѣхомъ, опять звучно шлепнулъ себя по ляшкѣ и, доставъ клѣтчатый платокъ изъ кармана, высморкался громко, съ свирѣпымъ вращеньемъ глазъ и, плюя въ платокъ, воскликнулъ во все горло: тьфу-у у!

Фустовъ вошелъ въ комнату и, подавъ намъ обоимъ руку, спросилъ насъ, знакомы ли мы другъ съ другомъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, — тотчасъ загремѣлъ Иванъ Демьянычъ, — ветеранъ двѣнадцатаго года чести сей не имѣетъ!

Фустовъ назвалъ сперва меня, потомъ, указавъ на „ветерана двѣнадцатаго года“, промолвилъ: „Иванъ Демьянычъ Ратчъ, преподаватель... разныхъ предметовъ“.

— Именно, именно разныхъ предметовъ, — подхватилъ г-нъ Ратчъ. — Чему, подумаешь, я только не училъ, да и теперь не учу! И математикѣ, и географіи, и статистикѣ, и италіянской бухгалтеріи, ха-ха-ха-ха! и музыкѣ! Вы сомнѣваетесь, милостивый государь? — накинулся онъ вдругъ на меня. — Спросите Александра Давыдыча, каково я на фаготѣ отличаюсь? Какой же я былъ бы, въ противномъ случаѣ, богемецъ, чехъ, сирѣчь? Да, сударь, я чехъ, и родина моя — древняя Прага! Кстати, Александръ Давыдычъ, что васъ давно не видать? Дуэтецъ бы разыграли... ха-ха! Право!

— Я у васъ третьяго дня былъ, Иванъ Демьянычъ, — отвѣчалъ Фустовъ.

— Да это я и называю давно, ха-ха!

Когда господинъ Ратчъ смѣялся, бѣлые глаза его

какъ-то странно и безпокойно бѣгали изъ стороны въ сторону.

— Вы, я вижу, молодой человѣкъ, поведенцу моему удивляетесь,—обратился онъ опять ко мнѣ.—Но это происходитъ отъ того, что вы еще не знаете моей комплекціи. Вы освѣдомьтесь обо мнѣ у нашего добраго Александра Давыдыча. Что̀ онъ вамъ скажетъ? Онъ вамъ скажетъ, что старикъ Ратчъ простякъ, русакъ, хоть и не по происхожденію, а по духу, ха-ха! При крещеніи нареченъ Іоганнъ-Дитрихъ, а кличка моя —Иванъ Демьяновъ! Что́ на умѣ, то и на языкѣ; сердце, какъ говорится, на ладошкѣ, церемоніевъ этихъ разныхъ не знаю и знать не хочу! Ну ихъ! Заходите когда-нибудь ко мнѣ вечеркомъ, сами увидите. Баба у меня—жена, то-есть,—простая тоже; наваритъ намъ, напекетъ... бѣда! Александръ Давыдычъ, правду я говорю?

Фустовъ только улыбнулся, а я промолчалъ.

— Не брезгайте старичкомъ, заходите,—продолжалъ господинъ Ратчъ.—А теперь... (Онъ выхватилъ толстые серебряные часы изъ кармана и поднесъ ихъ къ выпученному правому глазу). Мнѣ, я полагаю, лучше отправиться. Другой птенецъ меня ожидаетъ... Этого я, чортъ знаетъ, чему учу... миѳологіи, ей-Богу! И далеко же живетъ, ракалья! у Красныхъ воротъ! Все равно: пѣшкурой отмахаю, благо братецъ вашъ скиксовалъ, анъ пятиалтынный на извощика цѣлъ, въ мошнѣ остался! Ха-ха! Прощенія просимъ, мосьпа̀не, до зобаченія! А вы, молодой человѣкъ, заверните... Что-жъ такое?.. Дуэтецъ безпремѣнно надо разыграть!—крикнулъ господинъ Ратчъ изъ передней, со стукомъ надѣвая калоши, и въ послѣдній разъ раздался его металлическій смѣхъ.

V.

— Что́ за странный человѣкъ?! — обратился я къ Фустову, который успѣлъ уже приняться за токарный станокъ. — Неужели онъ иностранецъ? Онъ такъ бойко говоритъ по-русски.

— Иностранецъ; только онъ ужъ лѣтъ тридцать какъ поселился въ Россіи. Его, чуть ли не въ тысяча восемьсотъ-второмъ году, какой-то князь изъ-за границы вывезъ... въ качествѣ секретаря... скорѣе, полагать надо, камердинера. А выражается онъ по-русски точно бойко.

— Такъ залихватски, съ такими вывертами и закрутасами, — вмѣшался я.

— Ну да. Только очень ужъ ненатурально. Они всѣ такъ, эти обрусѣвшіе нѣмцы.

— Да вѣдь онъ чехъ.

— Не знаю; можетъ-быть. Съ женой онъ бесѣдуетъ по-нѣмецки.

— А почему онъ себя ветераномъ двѣнадцатаго года величаетъ? Служилъ онъ что-ли въ ополченіи?

— Какое въ ополченіи! Во время пожара въ Москвѣ оставался и имущества всего лишился... Вотъ вся его служба.

— Да зачѣмъ же онъ оставался въ Москвѣ?

Фустовъ не переставалъ точить.

— Господь его знаетъ. Слышалъ я, будто онъ у насъ въ шпіонахъ состоялъ; да это, должно быть, пустое. А что за свои убытки онъ отъ казны вознагражденіе получилъ, это вѣрно.

— На немъ мундирный фракъ... Онъ, стало, служитъ?

— Служитъ. Въ кадетскомъ корпусѣ преподавателемъ. Онъ надворный совѣтникъ.

— Кто его жена?

— Здѣшняя нѣмка, дочь колбасника... мясника...

— И ты часто къ нему ходишь?

— Хожу.

— Что-жъ, весело у нихъ?

— Довольно весело.

— У него есть дѣти?

— Есть. Отъ нѣмки трое и отъ первой жены сынъ и дочь.

— А сколько старшей дочери лѣтъ.

— Лѣтъ двадцать-пять.

Мнѣ показалось, что Фустовъ ниже пригнулся къ станку, и колесо шибче заходило и загудѣло подъ мѣрными толчками его ноги.

— Хороша она собой?

— Какъ на чей вкусъ. Лицо замѣчательное, да и вся она... замѣчательная особа.

„Ага!“ подумалъ я. Фустовъ продолжалъ свою работу съ особеннымъ рвеніемъ и на слѣдующій вопросъ мой отвѣчалъ однимъ мычаніемъ.

„Надо будетъ познакомиться!“ рѣшилъ я про себя.

VI.

Нѣсколько дней спустя, мы вмѣстѣ съ Фустовымъ отправились къ господину Ратчу на вечеръ. Жилъ онъ въ деревянномъ домѣ съ большимъ дворомъ и садомъ въ Кривомъ переулкѣ возлѣ Пречистенскаго бульвара. Онъ вышелъ къ намъ въ переднюю и, встрѣтивъ насъ свойственнымъ ему трескучимъ хохотомъ и гамомъ, тотчасъ повелъ въ гостиную, гдѣ представилъ меня дородной дамѣ въ камлотовомъ тѣсномъ платьѣ, Элеонорѣ Кар-

повнѣ, своей супругѣ. Элеонора Карповна въ первой молодости отличалась, вѣроятно, тѣмъ, что французы, неизвѣстно почему, называютъ „красотою діавола“, то-есть свѣжестью; но когда я съ ней познакомился, она невольно напоминала взору добрый кусокъ говядины, только-что выложенной мясникомъ на опрятный мраморный столъ. Не безъ намѣренія употребилъ я слово „опрятный“: нетолько сама хозяйка казалась образцомъ чистоты, но и все вокругъ нея, все въ домѣ такъ и лоснилось, такъ и блистало; все было выскребено, выглажено, вымыто мыломъ; самоваръ на кругломъ столѣ горѣлъ какъ жаръ; занавѣски передъ окнами, салфетки такъ и коробились отъ крахмала, такъ же какъ и платьица и шемизетки тутъ же сидѣвшихъ четырехъ дѣтей господина Ратча, дюжихъ, откормленныхъ коротышекъ, чрезвычайно похожихъ на мать, съ топорными крѣпкими лицами, вихрами на вискахъ и красными обрубками пальцевъ. У всѣхъ четырехъ были носы нѣсколько приплюснутые, большія, словно припухшія губы и крошечные свѣтло-сѣрые глаза.

— Вотъ и моя гвардія! — воскликнулъ господинъ Ратчъ, кладя свою тяжелую руку поочередно на головы дѣтей. — Коля, Оля, Сашка да Машка! Этому восемь, этой семь, этому четыре, а этой цѣлыхъ два! Ха-ха-ха! Какъ изволите видѣть, мы съ женой не зѣваемъ. Еге? Елеонора Карповна?

— Ужъ вы всегда все такое скажете,—промолвила Елеонора Карповна и отвернулась.

— И писклятамъ своимъ все такія русскія имена понадавала! — продолжалъ господинъ Ратчъ. — Того и смотри, въ греческую вѣру ихъ окреститъ! Ей-богу! Славянка она у меня, чортъ меня совсѣмъ возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка?

Элеонора Карповна разсердилась.

— Я надворная совѣтница, вотъ кто я! И, сталобыть, я русская дама, и все, что вы теперь будете говорить...

— То-есть, какъ она Россію любитъ, просто бѣда!— перебилъ Иванъ Демьянычъ. — Въ родѣ землетрясенья, ха-ха!

— Ну, и что-жъ такое?—продолжала Элеонора Карповна. — И, конечно, я Россію люблю, потому, гдѣ же бы я могла получить дворянскій титулъ? И мои дѣти тоже теперь вѣдь благородные? Kolia, sitze ruhig mit den Füssen!

Ратчъ махнулъ на нее рукой.

— Ну, ты, Сумбека царица, успокойся! А гдѣ „благородный“ Викторка? Чай, все шляется куда попало! Ужъ наскочитъ онъ на инспектора! Задастъ онъ ему трепаніе! Das ist ein Bummler, der Fiktor!

— Dem Fictor kann ich nicht kommandiren, Иванъ Демьянычъ. Sie wissen wohl!— проворчала Элеонора Карповна.

Я посмотрѣлъ на Фустова, какъ бы желая окончательно добиться отъ него, что заставляло его посѣщать подобныхъ людей... но въ эту минуту вошла въ комнату дѣвушка высокаго роста въ черномъ платьѣ, та старшая дочь господина Ратча, о которой упоминалъ Фустовъ... Я понялъ причину частыхъ посѣщеній моего пріятеля.

VII.

Помнится, гдѣ-то у Шекспира говорится о „бѣломъ голубѣ въ стаѣ черныхъ вороновъ“; подобное впечатлѣніе произвела на меня вошедшая дѣвушка: между окру-

жавшимъ ее міромъ и ею было слишкомъ мало общаго; казалось, она сама втайнѣ недоумѣвала и дивилась, какимъ образомъ она попала сюда. Всѣ члены семейства господина Ратча смотрѣли самодовольными и добродушными здоровяками; *ея* красивое, но уже отцвѣтающее лицо носило отпечатокъ унынія, гордости и болѣзненности. *Ть*, явные плебеи, держали себя непринужденно, пожалуй, грубо, но просто; тоскливая тревога сказывалась во всемъ ея несомнѣнно аристократическомъ существѣ. Въ самой ея наружности не замѣчалось склада, свойственнаго германской породѣ: она скорѣе напоминала уроженцевъ юга. Чрезвычайно густые, черные волосы безъ всякаго блеска, впалые, тоже черные и тусклые, но прекрасные глаза, низкій выпуклый лобъ, орлиный носъ, зеленоватая блѣдность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонкихъ губъ и въ слегка углубленныхъ щекахъ, что-то рѣзкое и въ то же время безпомощное въ движеніяхъ, изящество безъ граціи... въ Италіи все это не показалось бы мнѣ необычайнымъ, но въ Москвѣ, у Пречистенскаго бульвара, просто изумило меня! Я всталъ со стула при входѣ ея въ комнату: она бросила на меня быстрый, неровный взглядъ и, опустивъ свои черныя рѣсницы, сѣла близъ окна „какъ Татьяна“ (Пушкинскій *Онѣгинъ* былъ тогда у каждаго изъ насъ въ свѣжей памяти). Я взглянулъ на Фустова, но мой пріятель стоялъ ко мнѣ спиной и принималъ чашку чаю изъ пухлыхъ рукъ Элеоноры Карповны. Еще замѣтилъ я, что вошедшая дѣвушка внесла съ собою струю легкаго, физическаго холода... „Что за статуя?“ подумалось мнѣ.

VIII.

— Петръ Гаврилычъ!—загремѣлъ господинъ Ратчъ, обращаясь ко мнѣ, — позвольте васъ познакомить съ моей... съ моимъ... съ моимъ нумеромъ первымъ, ха-ха-ха! съ Сусанной Ивановной!

Я молча поклонился и тотчасъ же подумалъ: „Вотъ, и имя ея тоже не подъ стать другимъ“, а Сусанна слегка приподнялась, не улыбаясь и не разжимая крѣпко стиснутыхъ рукъ.

— А что же дуэтецъ?—продолжалъ Иванъ Демьянычъ. — Александръ Давыдычъ? а! благодѣтель! Цитра ваша у насъ осталась, а фаготъ я уже изъ футляра вынулъ. Насладимъ ушеса честной компаніи!—(Г-нъ Ратчъ любилъ уснащать свою русскую рѣчь; у него то-и-дѣло вырывались выраженія, подобныя тѣмъ, которыми испещрены всѣ ультра-народныя стихотворенія князя Вяземскаго: „дока для всего“, вмѣсто „на все“, „здѣсь намъ не обиходъ“, „глядитъ въ угоду, не на показъ“, и т. п. Помнится, однажды Иванъ Демьянычъ, увлеченный своею любовью къ бойкимъ словамъ съ энергическимъ окончаніемъ, сталъ увѣрять меня, что у него въ саду вездѣ известнякъ, хворостнякъ и валежнякъ). — Такъ какъ? Идетъ?—воскликнулъ Иванъ Демьянычъ, видя, что Фустовъ не возражаетъ.—Колька, маршъ въ кабинетъ, тащи сюда пюпитры! Ольга, волоки цитру! Да свѣчекъ къ пюпитрамъ соблаговоли, благовѣрная!—(Г-нъ Ратчъ вертѣлся по комнатѣ какъ кубарь).—Петръ Гаврилычъ, вы любите музыку, ась? А коли не любите, бесѣдой займитесь, только чуръ, подъ сурдинкой! Ха-ха-ха! И гдѣ этотъ шутъ Викторъ пропадаетъ? Послушалъ бы тоже! Вы его, Элеонора Карповна, совсѣмъ разбаловали!

Элеонора Карповна вся вспыхнула.

— Aber was kann ich denn, Иванъ Демьянычъ...

— Ну, хорошо, хорошо, не клянчи! Bleibe ruhig, hast verstanden? Александръ Давыдычъ! милости просимъ!

Дѣти немедленно исполнили приказаніе родителя, пюпитры воздвиглись, началась музыка. Я уже сказалъ, что Фустовъ отлично игралъ на цитрѣ, но на меня этотъ инструментъ постоянно производилъ впечатлѣніе самое тягостное. Мнѣ всегда чудилось и чудится доселѣ, что въ цитрѣ заключена душа дряхлаго жида-ростовщика, и что она гнусливо ноетъ и плачется на безжалостнаго виртуоза, заставляющаго ее издавать звуки. Игра г. Ратча также не могла доставить мнѣ удовольствіе; къ тому-жъ его внезапно побагровѣвшее лицо со злобно вращавшимися бѣлыми глазами приняло зловѣщее выраженіе: точно онъ собирался убить кого-то своимъ фаготомъ и заранѣе ругался и грозилъ, выпуская одну за другою удавленно-хриплыя, грубыя ноты. Я присосѣдился къ Сусаннѣ и, выждавъ первую минутную паузу, спросилъ ее, такъ же ли она любитъ музыку, какъ ея батюшка?

Она отклонилась, какъ будто я толкнулъ ее, и промолвила отрывисто:—Кто?

— Вашъ батюшка,—повторилъ я,—господинъ Ратчъ.

— Господинъ Ратчъ мнѣ не отецъ.

— Не отецъ! Извините меня... Я, должно-быть, не такъ понялъ... Но мнѣ помнится, Александръ Давыдычъ...

Сусанна посмотрѣла на меня пристально и пугливо.

— Вы не поняли господина Фустова. Господинъ Ратчъ мой вотчимъ.

Я помолчалъ.

— И вы музыки не любите?—началъ я снова.

Сусанна опять глянула на меня. Рѣшительно, въ ея

глазахъ было что-то одичалое. Она, очевидно, не ожидала и не желала продолженія нашего разговора.

— Я вамъ этого не сказала, — медленно произнесла она.

— Тру-ту-ту-ту-ту-у-у... со внезапною яростью пробурчалъ фаготъ, выдѣлывая окончательную фіоритуру. Я обернулся, увидалъ раздутую, какъ у удава, подъ оттопыренными ушами, красную шею господина Ратча, и очень онъ мнѣ показался гадокъ.

— Но этого... инструмента вы навѣрно не любите, — сказалъ я въ полголоса.

— Да... я не люблю,—отвѣчала она, какъ бы понявъ мой тайный намекъ.

„Вотъ какъ!“ подумалъ я, и словно чему-то обрадовался.

— Сусанна Ивановна,—проговорила вдругъ Элеонора Карповна на своемъ нѣмецко-русскомъ языкѣ,—музыку очень любитъ, и очень сама прекрасно играетъ на фортепіано, только она не хочетъ играть на фортепіано, когда ее очень просятъ играть.

Сусанна ничего не отвѣтила Элеонорѣ Карповнѣ—она даже не поглядѣла на нее—и только слегка, подъ опущенными вѣками, повела глазами въ ея сторону. По одному этому движенію—по движенію ея зрачковъ—я могъ понять, какого рода чувства Сусанна питала ко второй супругѣ своего вотчима... И я опять чему-то порадовался.

Между тѣмъ дуэтъ кончился. Фустовъ всталъ и, нерѣшительными шагами приблизившись къ окну, возлѣ котораго мы сидѣли съ Сусанной, спросилъ ее, получила ли она отъ Ленгольда ноты, которыя тотъ обѣщался выписать изъ Петербурга.

— Попури изъ *Роберта Дьявола*,—прибавилъ онъ,

обращаясь ко мнѣ: — изъ той новой оперы, о которой теперь всѣ такъ кричатъ.

— Нѣтъ, не получила, — отвѣчала Сусанна, и повернувшись лицомъ къ окну, поспѣшно прошептала: — Пожалуйста, Александръ Давыдычъ, прошу васъ, не заставляйте меня играть сегодня! я совсѣмъ не расположена.

— Что такое? *Робертъ Дьяволъ* Мейербера! — возопилъ подошедшій къ намъ Иванъ Демьянычъ: — пари держу, что вещь отличная! Онъ жидъ, а всѣ жиды, такъ же какъ и чехи, урожденные музыканты! Особенно жиды. Не правда ли, Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!

Въ послѣднихъ словахъ г. Ратча, и на этотъ разъ въ самомъ его хохотѣ, слышалось нѣчто другое, чѣмъ обычное его глумленіе — слышалось желаніе оскорбить. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ показалось, и такъ поняла его Сусанна. Она невольно дрогнула, покраснѣла, закусила нижнюю губу. Свѣтлая точка, подобная блеску слезы, мелькнула у ней на рѣсницѣ и, быстро поднявшись, она вышла вонъ изъ комнаты.

— Куда же вы, Сусанна Ивановна?—закричалъ ей въ слѣдъ господинъ Ратчъ.

— А вы оставьте ее, Иванъ Демьянычъ, — вмѣшалась Элеонора Карповна.—Wenn sie einmal so etwas im Kopf hat...

— Натура нервозная,—промолвилъ Ратчъ, повернувшись на каблукахъ, и шлепнулъ себя по ляшкѣ,—plexus solaris страдаетъ. О! да вы не смотрите такъ на меня, Петръ Гаврилычъ! Я и анатоміей занимался, ха-ха! Я и лечить могу! Спросите вотъ Элеонору Карповну... Всѣ ея недуги я излечиваю! Такой у меня есть способъ.

— А вы все должны шутки шутить, Иванъ Демья-

нычъ, — отвѣчала та съ неудовольствіемъ, между тѣмъ какъ Фустовъ, посмѣиваясь и пріятно покачиваясь, глядѣлъ на обоихъ супруговъ.

— И почему же не шутить, mein Mütterchen?— подхватилъ Иванъ Демьянычъ. — Жизнь намъ дана для пользы, а больше для красы, какъ сказалъ одинъ извѣстный стихотворецъ. Колька, утри свой носъ, дикобразъ!

IX.

— Я сегодня по твоей милости былъ въ весьма неловкомъ положеніи, — говорилъ я въ тотъ же вечеръ Фустову, возвращаясь съ нимъ домой. — Ты мнѣ сказалъ, что эта... какъ бишь ее? Сусанна—дочь господина Ратча, а она его падчерица.

— Въ самомъ дѣлѣ! Я тебѣ сказалъ, что она его дочь? Впрочемъ... не все ли равно?

— Этотъ Ратчъ, — продолжалъ я... — Ахъ, Александръ! какъ онъ мнѣ не нравится! Замѣтилъ ты, съ какой онъ особенной насмѣшкой отозвался сегодня при ней о жидахъ? Развѣ она... еврейка?

Фустовъ шелъ впереди, размахивая руками; было холодно, снѣгъ хрустѣлъ, какъ соль, подъ ногами.

— Да, помнится, что-то такое я слышалъ,—промолвилъ онъ наконецъ... — Ея мать была, кажется, еврейскаго происхожденія.

— Стало-быть, господинъ Ратчъ женился въ первый разъ на вдовѣ?

— Вѣроятно.

— Гм!.. А этотъ Викторъ, что̀ не пришелъ вчера, тоже его пасынокъ?

— Нѣтъ... это настоящій его сынъ. Впрочемъ я, ты

знаешь, въ чужія дѣла не вмѣшиваюсь и не люблю разспрашивать. Я не любопытенъ.

Я прикусилъ языкъ. Фустовъ все спѣшилъ впередъ. Подходя къ дому, я нагналъ его и заглянулъ ему въ лицо.

— А что?—спросилъ я,—Сусанна, точно, хорошая музыкантша?

Фустовъ нахмурился.

— Она хорошо играетъ на фортепіано,—проговорилъ онъ сквозь зубы.—Только она очень дика, предваряю!—прибавилъ онъ съ легкою ужимкой. Онъ словно раскаивался въ томъ, что познакомилъ меня съ нею.

Я умолкъ, и мы разстались.

X.

На слѣдующее утро я опять отправился къ Фустову. Сидѣть у него по утрамъ стало для меня потребностью. Онъ принялъ меня ласково, по обыкновенію, но о вчерашнемъ посѣщеніи—ни слова! Какъ воды въ ротъ набралъ. Я принялся перелистывать послѣдній № *Телескопа*.

Новое лицо вошло въ комнату. Оно оказалось тѣмъ самымъ сыномъ г. Ратча, Викторомъ, на отсутствіе котораго наканунѣ пенялъ его отецъ.

Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ восемнадцати, уже испитой и нездоровый, съ сладковато-наглою усмѣшкой на нечистомъ лицѣ, съ выраженіемъ усталости въ воспаленныхъ глазкахъ. Онъ походилъ на отца, только черты его были меньше и не лишены пріятности. Но въ самой этой пріятности было что-то нехорошее. Одѣтъ онъ былъ очень неряшливо, на мундирномъ сюртукѣ его недоставало пуговицы, одинъ сапогъ лопнулъ, табакомъ такъ и разило отъ него.

— Здравствуйте, — проговорилъ онъ сиплымъ голосомъ и съ тѣми особенными подергиваньями плечъ и головы, которыя я всегда замѣчалъ у избаловавшихся и самоувѣренныхъ молодыхъ людей.—Думалъ въ университетъ, а попалъ къ вамъ. Грудь что-то заложило. Дайте-ка сигарку.—Онъ прошелъ черезъ всю комнату, вяло волоча ноги и не вынимая рукъ изъ кармановъ панталонъ, и грузно бросился на диванъ.

— Вы простудились?—спросилъ Фустовъ, и познакомилъ насъ другъ съ другомъ. Мы были оба студентами, но находились на разныхъ факультетахъ.

— Нѣтъ!.. Какое! Вчера, признаться сказать... (Тутъ господинъ Ратчъ junior улыбнулся во весь ротъ, опять-таки не безъ пріятности, но зубы у него оказались дурные) выпито было, сильно выпито. Да.—Онъ закурилъ сигарку и откашлянулся.—Обиходова провожали.

— А онъ куда ѣдетъ?

— На Кавказъ, и возлюбленную свою туда же тащитъ. Вы знаете, ту, черноглазую, съ веснушками. Дуракъ!

— Вашъ батюшка вчера о васъ спрашивалъ,—замѣтилъ Фустовъ.

Викторъ сплюнулъ въ сторону.

— Да, я слышалъ. Вы вчера забрели въ нашъ таборъ. Ну, и что́-жъ? музицировали?

— По обыкновенію.

— А *она*... Небось, передъ новымъ-то гостемъ (тутъ онъ ткнулъ головой въ мою сторону) поломалась? Играть не стала?

— Вы это о комъ говорите?—спросилъ Фустовъ.

— Да, разумѣется, о почтеннѣйшей Сусаннѣ Ивановнѣ!

Викторъ развалился еще покойнѣе, округленно под-

нялъ руку надъ головой, посмотрѣлъ себѣ на ладонь и глухо фыркнулъ.

Я взглянулъ на Фустова. Онъ только плечомъ пожалъ, какъ бы желая дать мнѣ понять, что съ такого оболтуса и спрашивать нечего.

XI.

Викторъ принялся говорить, глядя въ потолокъ, не спѣша и въ носъ, о театрѣ, о двухъ ему знакомыхъ актерахъ, о какой-то Серафимѣ Серафимовнѣ, которая его „надула“, о новомъ профессорѣ Р., котораго обозвалъ скотиной, — потому, представьте, что̀ уродъ выдумалъ? Каждую лекцію съ переклички начинаетъ, а еще либераломъ считается! Въ кутузку я бы всѣхъ вашихъ либераловъ запряталъ! — и, обратившись, наконецъ, всѣмъ лицомъ и тѣломъ къ Фустову, промолвилъ полужалобнымъ, полунасмѣшливымъ голосомъ:

— Что я васъ хотѣлъ попросить, Александръ Давыдычъ... Нельзя ли какъ-нибудь старца моего вразумить... Вы вотъ дуэты съ нимъ разыгрываете... Даетъ мнѣ пять синенькихъ въ мѣсяцъ... Это что же такое?! На табакъ не хватаетъ. Еще толкуетъ: не дѣлай долговъ! Я бы его на мое мѣсто посадилъ и посмотрѣлъ бы! Я вѣдь никакихъ пенсій не получаю; не то что *иные* (Викторъ произнесъ это послѣднее слово съ особеннымъ удареніемъ). А деньжищевъ у него много, я знаю. Со мной Лазаря пѣть нечего, меня не проведешь. Шалишь! Руки-то себѣ нагрѣлъ тоже... ловко!

Фустовъ искоса глянулъ на Виктора.

— Пожалуй, — началъ онъ, — я скажу вашему батюшкѣ. А то, если хотите, я могу... пока... небольшую сумму...

— Нѣтъ, что-жъ! Ужъ лучше старика умаслить... Впрочемъ,—прибавилъ Викторъ, почесавъ себѣ носъ всею пятерней,—дайте, коли можете, рублей двадцать-пять... Сколько бишь, я вамъ долженъ?

— Вы у меня восемьдесятъ-пять рублей заняли.

— Да... Ну это, стало, выйдетъ... всего сто десять рублей. Я вамъ отдамъ все разомъ.

Фустовъ вышелъ въ другую комнату, вынесъ двадцати-пятирублевую бумажку и молча подалъ ее Виктору. Тотъ взялъ ее, зѣвнулъ во все горло, не закрывая рта, промычалъ: „спасибо!“ и, поеживаясь и потягиваясь, приподнялся съ дивана.

— Фу! однако... что-то скучно,—пробормоталъ онъ,—пойти развѣ въ *Италію*.

Онъ направился къ двери.

Фустовъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ. Казалось, онъ боролся самъ собой.

— О какой вы это пенсіи сейчасъ упомянули, Викторъ Иванычъ?—спросилъ онъ наконецъ.

Викторъ остановился на порогѣ и надѣлъ фуражку.

— А вы не знаете? Сусанны Ивановны пенсіи... Она ее получаетъ. Прелюбопытный, доложу вамъ, анекдотъ! Я когда-нибудь вамъ разскажу. Дѣла, батюшка, дѣла! А вы старца-то, старца не забудьте, пожалуйста. Кожа у него, конечно, толстая, нѣмецкая, да еще съ русской выдѣлкой, а все пронять можно. Только чтобъ Элеонорки, мачихи моей, при этомъ не было! Папашка ея боится, она все своимъ прочитъ. Ну, да вы сами дипломатъ! Прощайте!

— Экая, однако, дрянь этотъ мальчишка!—воскликнулъ Фустовъ, какъ только захлопнулась дверь.

Лицо у него горѣло какъ въ огнѣ, и онъ отъ меня

отворачивался. Я не сталъ его разспрашивать и вскорѣ удалился.

XII.

Весь тотъ день я провелъ въ размышленіяхъ о Фустовѣ, о Сусаннѣ, объ ея родственникахъ; мнѣ смутно чудилось нѣчто похожее на семейную драму. Сколько я могъ судить, мой пріятель былъ неравнодушенъ къ Сусаннѣ. Но она? Любила ли она его? Отчего она казалась такою несчастною? И вообще, что она была за существо? Эти вопросы безпрестанно приходили мнѣ на умъ. Темное, но сильное чувство говорило мнѣ, что за разрѣшеніемъ ихъ не слѣдовало обращаться къ Фустову. Кончилось тѣмъ, что я на слѣдующій день отправился одинъ въ домъ къ г. Ратчу.

Мнѣ стало вдругъ очень совѣстно и неловко, какъ только я очутился въ маленькой, темной передней. „Она и не покажется, пожалуй“, мелькнуло у меня въ головѣ, „придется сидѣть съ гнуснымъ ветераномъ и съ его кухаркой-женой.... Да и наконецъ, если даже она появится, что же изъ этого? Она и разговаривать не станетъ.... Ужъ больно не ласково обошлась она со мной намедни. Зачѣмъ же я пришелъ?“ Пока я все это соображалъ, казачекъ побѣжалъ доложить обо мнѣ, и въ сосѣдней комнатѣ, послѣ двухъ или трехъ недоумѣвающихъ: „Кто такое? Кто, ты говоришь?“—послышалось тяжелое шарканье туфель, дверь слегка растворилась и въ щели между обѣими половинками выставилось лицо Ивана Демьяныча, лицо взъерошенное и угрюмое. Оно уставилось на меня и не тотчасъ измѣнило свое выраженіе.... Видно г. Ратчъ не сразу узналъ меня, но

вдругъ щеки его округлились, глаза съузились и изъ раскрывшагося рта, вмѣстѣ съ хохотомъ, вырвалось восклицаніе:

— А, батюшка, почтеннѣйшій! Это вы? Милости просимъ!

Я послѣдовалъ за нимъ тѣмъ неохотнѣе, что, мнѣ казалось, этотъ привѣтливый, веселый г. Ратчъ внутренно посылаетъ меня къ чорту. Однако дѣлать было нечего. Онъ привелъ меня въ гостиную, и что̀ же? въ гостиной сидѣла Сусанна передъ столомъ, за приходо-расходной книгой. Она глянула на меня своими сумрачными глазами и чуть-чуть прикусила ногти пальцевъ на лѣвой рукѣ.... такая у ней была привычка, я замѣтилъ, привычка, свойственная нервическимъ людямъ. Кромѣ ея, въ комнатѣ никого не было.

— Вотъ, сударь,—началъ г. Ратчъ и ударилъ себя по ляшкѣ,—въ какихъ занятіяхъ вы насъ съ Сусанной Ивановной застали: счетами занимаемся. Супруга моя въ „арихметикѣ“ не сильна, а я, признаться, глаза свои берегу. Безъ очковъ не могу читать, что́ прикажете дѣлать? Пускай же молодежь потрудится, ха-ха! Порядокъ требуетъ. Впрочемъ, дѣло не къ спѣху.... Спѣшить, смѣшить, блохъ ловить, ха-ха!

Сусанна закрыла книгу и хотѣла удалиться.

— Постой, однако, постой,—заговорилъ г. Ратчъ.— Что́ за бѣда, что не въ туалетѣ.... (На Сусаннѣ было очень старенькое, почти дѣтское платьице съ короткими рукавчиками). Дорого́й гость не взыщетъ, а мнѣ бы только позапрошлую недѣлю очистить.... Вы позволите?— обратился онъ ко мнѣ.—Мы вѣдь съ вами не на церемоніалахъ!

— Сдѣлайте одолженіе, не стѣсняйтесь,—воскликнулъ я.

— То-то, мой батюшка почтеннѣйшій; вамъ самимъ извѣстно: покойный государь Алексѣй Михайловичъ Романовъ говаривалъ: „Дѣлу время, а потѣхѣ минуту!“ А мы самому дѣлу одну минуту посвятимъ... ха-ха! Какіе же это тринадцать рублей тридцать копѣекъ?—прибавилъ онъ вполголоса, повернувшись ко мнѣ спиной.

— Викторъ взялъ у Элеоноры Карповны; онъ сказалъ, что вы ему разрѣшили,—отвѣчала также вполголоса Сусанна.

— Сказалъ... сказалъ... разрѣшилъ... — проворчалъ Иванъ Демьянычъ. — Кажется, я тутъ самъ на-лицо. Спросить бы могли. А тѣ семнадцать рублей кому пошли?

— Мебельщику.

— Да... мебельщику. Это за что же?

— По счету.

— По счету. Покажь-ка!—Онъ вырвалъ у Сусанны книгу и, насадивъ на носъ круглые очки въ серебряной оправѣ, сталъ водить пальцемъ по строкамъ.—Мебельщику... мебельщику... Вамъ бы лишь бы деньги изъ дому вонъ! Вы рады!.. Wie die Croaten! По счету! А впрочемъ,—прибавилъ онъ громко, и снова поворотился ко мнѣ лицомъ и очки съ носу сдернулъ,—что же это я въ самомъ дѣлѣ! Этими дрязгами можно и послѣ заняться. Сусанна Ивановна, извольте-ка оттащить на мѣсто эту бухгалтерію, да пожалуйте къ намъ обратно и восхитите слухъ сего любезнаго посѣтителя вашимъ мусикійскимъ орудіемъ, сирѣчь фортепіанною игрой... А?

Сусанна отвернула голову.

— Я бы очень былъ счастливъ,—поспѣшно промолвилъ я,—очень было бы мнѣ пріятно послушать игру Сусанны Ивановны. Но я ни за что въ свѣтѣ не желалъ бы безпокоить...

— Какое безпокойство, что́ вы! Ну-съ, Сусанна Ивановна, eins, zwei, drei!

Сусанна ничего не отвѣчала и вышла вонъ.

XIII.

Я не ожидалъ, что она вернется; но она скоро появилась снова: даже платья не перемѣнила и, присѣвъ въ уголъ, раза два внимательно посмотрѣла на меня. Почувствовала ли она въ моемъ обращеніи съ нею то невольное, мнѣ самому неизъяснимое уваженіе, которое, больше чѣмъ любопытство, больше даже чѣмъ участіе, она во мнѣ возбуждала, находилась ли она въ тотъ день въ смягченномъ расположеніи духа, только она вдругъ подошла къ фортепіано и, нерѣшительно положивъ руку на клавиши и склонивъ немного голову черезъ плечо назадъ ко мнѣ, спросила меня, что̀ я хочу, чтобъ она сыграла? Я не успѣлъ еще отвѣтить, какъ она уже сѣла, достала ноты, торопливо ихъ развернула и начала играть. Я съ дѣтства любилъ музыку, но въ то время я еще плохо понималъ ее, мало былъ знакомъ съ произведеніями великихъ мастеровъ, и если бы г. Ратчъ не проворчалъ! съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ: „Aha! wieder dieser Beethoven!“ я бы не догадался, что̀ именно выбрала Сусанна. Это была, какъ я потомъ узналъ, знаменитая Ф-мольная соната, opus 57. Игра Сусанны меня поразила несказанно: я не ожидалъ такой силы, такого огня, такого смѣлаго размаха. Съ самыхъ первыхъ тактовъ стремительно-страстнаго allegro, начала̀ сонаты, я почувствовалъ то оцѣпенѣніе, тотъ холодъ и сладкій ужасъ восторга, которые мгновенно охватываютъ душу, когда въ нее неожиданнымъ налетомъ вторгается кра-

сота. Я не пошевельнулся ни однимъ членомъ до самаго конца; я все хотѣлъ, и не смѣлъ, вздохнуть. Мнѣ пришлось сидѣть сзади Сусанны, ея лица я не могъ видѣть; я видѣлъ только какъ ея темные, длинные волосы изрѣдка прыгали и бились по плечамъ, какъ порывисто покачивался ея станъ и какъ ея тонкія руки и обнаженные локти двигались быстро и нѣсколько угловато. Послѣднія отзвучія замерли. Я вздохнулъ наконецъ. Сусанна продолжала сидѣть передъ фортепіано.

— Ja, ja,—замѣтилъ г. Ратчъ, который, впрочемъ, тоже слушалъ внимательно, — romantische Musik! Это нынче въ модѣ. Только зачѣмъ нечисто играть! Э? Пальчикомъ по двумъ нотамъ разомъ — зачѣмъ? Э? То-то; намъ все поскорѣй хочется, поскорѣй. Этакъ горячѣй выходитъ. Э? Блины горячіе!—задребезжалъ онъ какъ разнощикъ.

Сусанна слегка обратилась къ г. Ратчу; я увидѣлъ лицо ея въ профиль. Тонкая бровь высоко поднялась надъ опущенной вѣкой, неровный румянецъ разлился по щекѣ, маленькое ухо рдѣло подъ закинутымъ локономъ.

— Я всѣхъ лучшихъ виртуозовъ самолично слышалъ,—продолжалъ г. Ратчъ, внезапно нахмурившись,— и всѣ они передъ покойнымъ Фильдомъ—тьфу! Нуль! зеро!! Das war ein Kerl! Und ein so reines Spiel! И композиціи его—самыя прекрасныя! А всѣ эти новые „тлу-ту-ту“ да „тра-та-та“, это, я полагаю, больше для школяровъ писано. Da braucht man keine Delicatesse! Хлопай по клавишамъ какъ попало... Не бѣда! Что-нибудь выйдетъ! Janitscharen-Musik! Пхе! (Иванъ Демьянычъ утеръ себѣ лобъ платкомъ). Впрочемъ, я это говорю не на вашъ счетъ, Сусанна Ивановна; вы играли хорошо и моими замѣчаніями не должны обижаться.

— У всякаго свой вкусъ,—тихимъ голосомъ заго-

ворила Сусанна, и губы ея задрожали; — а ваши замѣчанья, Иванъ Демьянычъ, вы знаете, меня обидѣть не могутъ.

— О, конечно! Только вы не полагайте,—обратился ко мнѣ Ратчъ,—не извольте полагать, милостивый государь, что сіе происходитъ отъ излишней нашей доброты и якобы кротости душевной; а просто мы съ Сусанной Ивановной воображаемъ себя столь высоко вознесенными, что у-у! Шапка назадъ валится, какъ говорится по-русски, и уже никакая критика до насъ досягать не можетъ. Самолюбіе, милостивый государь, самолюбіе! Оно насъ доѣхало, да, да!

Не безъ изумленія слушалъ я Ратча. Желчь, желчь ядовитая такъ и закипала въ каждомъ его словѣ... И давно же она накопилась! Она душила его. Онъ попытался закончить свою тираду обычнымъ смѣхомъ,—и судорожно, хрипло закашлялъ. Сусанна словечка не проронила въ отвѣтъ ему, только головой встряхнула, и лицо приподняла да, взявшись обѣими руками за локти, прямо уставилась на него. Въ глубинѣ ея неподвижныхъ, расширенныхъ глазъ, глухимъ, незагасимымъ огнемъ тлѣла стародавняя ненависть. Жутко мнѣ стало.

— Вы принадлежите къ двумъ различнымъ музыкальнымъ поколѣньямъ, — началъ я съ насильственною развязностью, самою этою развязностью желая дать понять, что я ничего не замѣчаю,—а потому неудивительно, что вы не сходитесь въ своихъ мнѣніяхъ... Но, Иванъ Демьянычъ, вы мнѣ позволите стать на сторону... болѣе молодого поколѣнія. Я профанъ, конечно; но признаюсь вамъ, ничего, въ музыкѣ, еще не произвело на меня такого впечатлѣнія, какъ та... какъ то, что Сусанна Ивановна намъ сейчасъ сыграла.

Ратчъ вдругъ накинулся на меня

— И почему вы полагаете,—закричалъ онъ, весь еще багровый отъ кашля,—что мы желаемъ завербовать васъ въ нашъ лагерь? (Онъ выговорилъ Lager, по-нѣмецки). Нисколько намъ это не нужно, бардзо дзенкуемъ! Вольному воля, спасенному—спасеніе! А что касательно двухъ поколѣній, то это точно: намъ, старикамъ, съ вами, молодыми, жить трудно, очень трудно! Наши понятія ни въ чемъ несогласны: ни въ художествѣ, ни въ жизни, ни даже въ морали. Не правда ли, Сусанна Ивановна?

Сусанна усмѣхнулась презрительною усмѣшкой.

— Особенно на счетъ, какъ вы говорите, морали, наши понятія не сходятся и не могутъ сходиться,—отвѣтила она, и что-то грозное пробѣжало у ней надъ бровями, а губы попрежнему слабо трепетали.

— Конечно, конечно!—подхватилъ Ратчъ.—Я не филозо́фъ! Я не умѣю стать... этакъ, высоко! Я человѣкъ простой, рабъ предразсудковъ, да!

Сусанна опять усмѣхнулась.

— Мнѣ кажется, Иванъ Демьянычъ, и вы иногда умѣли ставить себя выше того, что называютъ предразсудками.

— Wie so? То-есть, какъ же это? Я васъ не понимаю.

— Не понимаете? Вы такъ забывчивы!

Г-нъ Ратчъ словно потерялся.

— Я... я...—повторялъ онъ.—Я...

— Да, вы, господинъ Ратчъ.

Послѣдовало небольшое молчаніе.

— Однако, позвольте, позвольте,—началъ было г. Ратчъ,—какъ вы можете такъ дерзко...

Сусанна внезапно вытянулась во весь ростъ и, не выпуская изъ рукъ локтей своихъ, стискивая ихъ, пере-

бирая по нимъ пальцами, остановилась передъ Ратчемъ. Казалось, она вызывала его на борьбу, она наступала на него. Лицо ея преобразилось: оно стало вдругъ, въ мгновеніе ока, и необычайно красиво, и страшно; какимъ-то веселымъ и холоднымъ блескомъ—блескомъ стали—заблестѣли ея тусклые глаза; недавно еще трепетавшія губы сжались въ одну прямую, неумолимо-строгую черту. Сусанна вызывала Ратча, но тотъ, какъ говорится, воззрился въ нее и вдругъ умолкъ и опустился какъ мѣшокъ, и голову втянулъ въ плечи, и даже ноги подобралъ. Ветеранъ двѣнадцатаго года струхнулъ; въ этомъ нельзя было сомнѣваться.

Сусанна медленно перевела глаза свои съ него на меня, какъ бы призывая меня въ свидѣтели своей побѣды и униженія врага и, въ послѣдній разъ усмѣхнувшись, вышла вонъ изъ комнаты.

Ветеранъ остался нѣсколько времени неподвиженъ на своемъ креслѣ; наконецъ, точно вспомнивъ забытую роль, онъ встрепенулся, всталъ и, ударивъ меня по плечу, захохоталъ своимъ зычнымъ хохотомъ:

— Вотъ, подите вы, ха-ха-ха! кажется, не первый десятокъ живемъ мы съ этою барышней, а никогда она не можетъ понять, когда я шутку шучу, и когда говорю въ суріозѣ! Да и вы, почтеннѣйшій, кажется, недоумѣваете... Ха-ха-ха! Значитъ, вы еще старика Ратча не знаете!

„Нѣтъ... Я теперь тебя знаю“, думалъ я не безъ нѣкотораго страха и омерзѣнія.

— Не знаете старика, не знаете! — твердилъ онъ, провожая меня до передней и поглаживая себя по животу.—Я человѣкъ тяжелый, битый, ха-ха! Но я добрый, ей-Богу!

Я опрометью бросился съ крыльца на улицу. Мнѣ хотѣлось поскорѣе уйти отъ этого добраго человѣка.

XIV.

„Что они другъ друга ненавидятъ, это ясно,—думалъ я, возвращаясь къ себѣ домой,—несомнѣнно также и то, что онъ человѣкъ скверный, а она хорошая дѣвушка. Но что̀ такое произошло между ними? Какая причина этого постояннаго раздраженія? Какой смыслъ этихъ намековъ? И какъ это неожиданно вспыхнуло! Подъ какимъ пустымъ предлогомъ!“

На слѣдующій день мы съ Фустовымъ собрались идти въ театръ смотрѣть Щепкина въ *„Горе отъ ума“*. Комедію Грибоѣдова только-что разрѣшили тогда, предварительно обезобразивъ ее цензурными урѣзками. Мы много хлопали Фамусову, Скалозубу. Не помню, какой актеръ исполнялъ роль Чацкаго, но очень хорошо помню, что онъ былъ невыразимо дуренъ; сперва появился въ венгеркѣ и въ сапогахъ съ кисточками, а потомъ во фракѣ моднаго въ то время цвѣта „flamme de punch“, и фракъ этотъ на немъ сидѣлъ какъ на нашемъ старомъ дворецкомъ. Помню также, что балъ въ третьемъ актѣ привелъ насъ въ восхищеніе. Хотя, вѣроятно, никто и никогда въ дѣйствительности не выдѣлывалъ такихъ па̀, но это уже было такъ принято—да, кажется, исполняется такимъ образомъ и до сихъ поръ. Одинъ изъ гостей чрезвычайно высоко прыгалъ, причемъ парикъ его развѣвался во всѣ стороны, и публика заливалась смѣхомъ. Выходя изъ театра, мы въ корридорѣ столкнулись съ Викторомъ.

— Вы были въ театрѣ! — воскликнулъ онъ, взмахнувъ руками.—Какъ же это я васъ не видалъ? Я очень радъ, что встрѣтилъ васъ. Вы непремѣнно должны со мной поужинать. Пойдемте; я угощаю!

Молодой Ратчъ казался въ состояніи взволнованномъ, почти восторженномъ. Глазенки его бѣгали, онъ ухмылялся, красныя пятна выступали на лицѣ.

— На какой это радости? — спросилъ Фустовъ.

— На какой? А вотъ не угодно ли полюбопытствовать?

Викторъ отвелъ насъ немного въ сторону и, вытащивъ изъ кармана панталонъ цѣлую пачку тогдашнихъ красныхъ и синихъ ассигнацій, потрясъ ими въ воздухѣ.

Фустовъ удивился.

— Вашъ батюшка разщедрился?

Викторъ захохоталъ.

— Нашли щедраго! Какъ же, держи карманъ!.. Сегодня утромъ, понадѣявшись на ваше ходатайство, я попросилъ у него денегъ. Что же, вы думаете, мнѣ отвѣчалъ жидоморъ? Я, говоритъ, твои долги, изволь, заплачу. До двадцати-пяти рублей включительно! Слышите: включительно! Нѣтъ, милостивый государь, это на мое сиротство Богъ послалъ. Случай такой вышелъ.

— Ограбили кого-нибудь? — небрежно промолвилъ Фустовъ.

Викторъ нахмурился.

— Ухъ, такъ вотъ и ограбилъ! Выигралъ-съ, выигралъ у офицера, у гвардейца! Вчера только изъ Петербурга прикатилъ. И какое стеченіе обстоятельствъ. Стоитъ разсказать... да тутъ неловко. Пойдемте къ Яру: два шага всего. Сказано, я угощаю!

Намъ, быть можетъ, слѣдовало отказаться, но мы пошли безъ возраженій.

XV.

У Яра насъ провели въ особую комнату, подали ужинъ, принесли шампанскаго. Викторъ разсказалъ намъ

со всѣми подробностями, какъ онъ въ одномъ пріятномъ домѣ встрѣтилъ этого офицера-гвардейца, очень милаго малаго и хорошей фамиліи, только безъ царя въ головѣ; какъ они познакомились, какъ онъ, офицеръ то-есть, вздумалъ для шутки предложить ему, Виктору, играть въ дурачки старыми картами, почти-что на орѣхи и съ тѣмъ условіемъ, чтобъ офицеру играть на счастіе Вильгельмины, а Виктору на свое собственное счастіе; какъ потомъ пошло дѣло на пари.

— А у меня-то, у меня-то,—воскликнулъ Викторъ, и вскочилъ, и въ ладоши захлопалъ,—всего шесть рублей въ карманѣ. Представьте! И сначала я совсѣмъ профершпилился... Каково положеніе?! Только тутъ, ужъ я не знаю чьими молитвами, фортуна улыбнулась. Тотъ горячиться сталъ, всѣ карты показываетъ... Глядь! семьсотъ пятьдесятъ рублей и пробухалъ! Сталъ еще просить поиграть, ну, да я малый не промахъ, думаю: нѣтъ, этакою благодатью злоупотреблять не надо; шапку сгребъ и маршъ! Вотъ теперь и старику не зачѣмъ кланяться, и товарищей угостить можно... Эй! человѣкъ! Еще бутылку! Господа, чокнемтесь!

Мы чокнулись съ Викторомъ и продолжали пить и смѣяться, хотя разсказъ его намъ вовсе не понравился, да и самое его общество намъ удовольствія доставляло мало. Онъ принялся любезничать, балагурить, расходился, однимъ словомъ, и сдѣлался еще противнѣе. Викторъ замѣтилъ, наконецъ, какое онъ производилъ на насъ впечатлѣніе и насупился; рѣчи его стали отрывистѣй, взгляды мрачнѣе. Онъ началъ зѣвать, объявилъ, что спать хочетъ и, обругавъ со свойственною ему грубостью трактирнаго слугу за худо прочищенный чубукъ, внезапно, съ выраженьемъ вызова на искривленномъ лицѣ, обратился къ Фустову:

— Послушайте-ка, Александръ Давыдычъ,—промолвилъ онъ,—скажите, пожалуйста, за что́ вы меня презираете?

— Какъ такъ? — не сразу нашелся отвѣтить мой пріятель.

— Да такъ же... Я очень хорошо чувствую и знаю, что вы меня презираете, и этотъ господинъ (онъ указалъ на меня пальцемъ) тоже, туда же! И хоть бы вы сами очень уже высокою нравственностью отличались, а то такой же грѣшникъ, какъ мы всѣ. Еще хуже. Въ тихомъ омутѣ... пословицу знаете?

Фустовъ покраснѣлъ.

— Что вы хотите этимъ сказать?—спросилъ онъ.

— А то, что я еще не ослѣпъ и отлично вижу все, что у меня передъ носомъ дѣлается: шуры-то-муры ваши съ сестрицей моей я вижу... И ничего я противъ этого не имѣю, потому: во-первыхъ, не въ моихъ правилахъ, а во-вторыхъ, моя сестрица Сусанна Ивановна сама черезъ всѣ тяжкія прошла... Только меня-то за что́ же презирать?

— Вы сами не понимаете, что́ вы такое лепечете! Вы пьяны, — проговорилъ Фустовъ, доставая пальто со стѣны. — Обыгралъ навѣрное какого-то дурака и вретъ теперь чортъ знаетъ что́!

Викторъ продолжалъ лежать на диванѣ и только заболталъ ногами, перевѣшенными черезъ ручку.

— Обыгралъ! Зачѣмъ же вы вино пили? Оно вѣдь на выигрышныя деньги куплено. А врать мнѣ нечего. Не я виноватъ, что Сусанна Ивановна въ своей прошедшей жизни...

— Молчите! — закричалъ на него Фустовъ. — Молчите... или...

— Или что́?

— Вы узнаете что́. Петръ, пойдемъ.

— Ага!—продолжалъ Викторъ:—великодушный рыцарь нашъ въ бѣгство обращается. Видно не хочется правду-то узнать! Видно колется она, правда-то!

— Да пойдемъ же, Петръ, — повторилъ Фустовъ, окончательно потерявшій обычное свое хладнокровіе и самообладаніе.—Оставимъ этого дрянного мальчишку!

— Этотъ мальчишка не боится васъ, слышите,—закричалъ намъ вслѣдъ Викторъ,—презираетъ васъ этотъ мальчишка, пре-зи-раетъ! Слышите!

Фустовъ такъ проворно шелъ по улицѣ, что я съ трудомъ поспѣвалъ за нимъ. Вдругъ онъ остановился и круто повернулъ назадъ.

— Куда ты?—спросилъ я.

— Да надо узнать, что этотъ глупецъ... Онъ, пожалуй, спьяна, Богъ знаетъ что... Только ты не иди за мной... мы завтра увидимся. Прощай!

И торопливо пожавъ мою руку, Фустовъ направился къ гостинницѣ Яръ.

На другой день мнѣ не удалось увидѣть Фустова, а на слѣдующій за тѣмъ день я, зайдя къ нему на квартиру, узналъ, что онъ выѣхалъ къ своему дядѣ въ подмосковную. Я полюбопытствовалъ, не оставилъ ли онъ записки на мое имя, но никакой записки не оказалось. Тогда я спросилъ лакея, не знаетъ ли онъ, сколько времени Александръ Давыдычъ останется въ деревнѣ.—Недѣли съ двѣ, а то побольше, такъ полагать надо,—отвѣчалъ лакей. Я на всякій случай взялъ точный адресъ Фустова и въ раздумьѣ побрелъ домой. Эта неожиданная отлучка изъ Москвы, зимой, окончательно повергла меня въ недоумѣніе. Моя добрая тетушка замѣтила мнѣ за обѣдомъ, что я все ожидаю чего-то и гляжу на пирогъ съ капустой, какъ будто въ первый разъ отъ роду

его вижу.—Pierre, vous n'êtes pas amoureux?—воскликнула она, наконецъ, предварительно удаливъ своихъ компаньонокъ. Но я успокоилъ ее:—нѣтъ, я не былъ влюбленъ.

XVI.

Прошло дня три. Меня подмывало пойти къ Ратчамъ; мнѣ сдавалось, что въ ихъ домѣ я долженъ былъ найти разгадку всего, что̀ меня занимало, что̀ я понять не могъ... Но мнѣ пришлось бы опять встрѣтиться съ ветераномъ... Эта мысль меня удерживала. Вотъ, въ одинъ ненастный вечеръ—на дворѣ злилась и выла февральская вьюга, сухой снѣгъ по временамъ стучалъ въ окна, какъ брошенный сильною рукою крупный песокъ,—я сидѣлъ въ моей комнаткѣ и пытался читать книгу. Мой слуга вошелъ и не безъ нѣкоторой таинственности доложилъ, что какая-то дама желаетъ меня видѣть. Я удивился... дамы меня не посѣщали, особенно въ такую позднюю пору, однако, велѣлъ просить. Дверь отворилась, и быстрыми шагами вошла женщина, вся закутанная въ легкій лѣтній плащъ и желтую шаль. Порывистымъ движеніемъ сбросила она съ себя эту шаль и этотъ плащъ, занесенный снѣгомъ, и я увидѣлъ предъ собой Сусанну. Я до того изумился, что слова не промолвилъ, а она приблизилась къ окну и, прислонившись къ стѣнѣ плечомъ, осталась неподвижною; только грудь судорожно поднималась и глаза блуждали, и съ легкимъ оханьемъ вырывалось дыханіе изъ помертвѣлыхъ губъ. Я понялъ, что не простая бѣда привела ее ко мнѣ; я понялъ, не смотря на свое легкомысліе и молодость, что въ этотъ мигъ предо мной завершалась судьба цѣлой жизни — горькая и тяжелая судьба.

— Сусанна Ивановна, — началъ я, — какимъ образомъ...

Она внезапно схватила мою руку своими застывшими пальцами, но голосъ измѣнилъ ей. Она вздохнула прерывисто и потупилась. Тяжелыя космы черныхъ волосъ упали ей на лицо... Снѣжная пыль еще не сошла съ нихъ.

— Пожалуйста, успокойтесь, сядьте,—заговорилъ я опять, — вотъ тутъ, на диванѣ. Что такое случилось? Сядьте, прошу васъ.

— Нѣтъ,—промолвила она чуть слышно и опустилась на подоконникъ.—Мнѣ здѣсь хорошо... Оставьте... Вы не могли ожидать... но если-бъ вы знали... если-бъ я могла... если-бъ...

Она хотѣла переломить себя, но съ потрясающею силой хлынули изъ глазъ ея слезы—и рыданія, поспѣшныя, жадныя рыданія огласили комнату. Сердце во мнѣ перевернулось... Я потерялся. Я видѣлъ Сусанну всего два раза; я догадывался, что нелегко ей было жить на свѣтѣ, но я считалъ ее за дѣвушку гордую, съ твердымъ характеромъ, и вдругъ эти неудержимыя, отчаянныя слезы... Господи! Да такъ плачутъ только передъ смертью!

Я стоялъ самъ какъ къ смерти приговоренный.

— Извините меня,—промолвила она, наконецъ, нѣсколько разъ, почти со злобой, утирая одинъ глазъ за другимъ.—Это сейчасъ пройдетъ. Я къ вамъ пришла...— Она еще всхлипывала, но уже безъ слезъ.—Я пришла... Вы вѣдь знаете, Александръ Давыдычъ уѣхалъ?

Однимъ этимъ вопросомъ Сусанна во всемъ призналась, и при этомъ такъ на меня взглянула, точно желала сказать: „Вѣдь ты поймешь, ты пощадишь, не правда-ли?“ Несчастная! Стало-быть, ей уже не оставалось другого исхода!

Я не зналъ, что ей отвѣтить...

— Онъ уѣхалъ, онъ уѣхалъ... онъ повѣрилъ! — говорила между тѣмъ Сусанна. — Онъ не захотѣлъ даже спросить меня; онъ подумалъ, что я не скажу ему всей правды, онъ могъ это подумать обо мнѣ! Какъ будто я когда-нибудь его обманывала!

Она закусила нижнюю губу и, слегка нагнувшись, начала царапать ногтемъ ледяные узоры, наросшіе на стеклѣ. Я поспѣшно вышелъ въ другую комнату и, услав моего слугу, немедленно вернулся и зажегъ другую свѣчку. Я хорошенько не зналъ, зачѣмъ я все это дѣлалъ... очень ужъ я былъ смущенъ.

Сусанна попрежнему сидѣла на подоконникѣ, и я тутъ только замѣтилъ, какъ легко она была одѣта: сѣрое платьице съ бѣлыми пуговицами и широкій кожаный поясъ, вотъ и все. Я приблизился къ ней, но она не обратила на меня вниманія.

— Онъ повѣрилъ... онъ повѣрилъ, — шептала она, тихонько покачиваясь изъ стороны въ сторону. — Онъ не поколебался, онъ нанесъ этотъ послѣдній... послѣдній ударъ! — Она вдругъ повернулась ко мнѣ. — Вы знаете его адресъ?

— Да, Сусанна Ивановна... я узналъ отъ его людей... у него въ домѣ. Онъ мнѣ самъ ничего не сказалъ о своемъ намѣреніи, я его два дня не видалъ, пошелъ освѣдомиться, а онъ уже уѣхалъ изъ Москвы.

— Вы знаете его адресъ? — повторила она. — Ну, такъ напишите ему, что онъ убилъ меня. Вы хорошій человѣкъ, я знаю. Съ вами онъ не говорилъ обо мнѣ, навѣрное, а со мной онъ говорилъ о васъ. Напишите... ахъ, напишите ему, чтобъ онъ поскорѣе вернулся, если онъ хочетъ еще застать меня въ живыхъ!.. Да нѣтъ! Онъ меня уже не застанетъ.

Голосъ Сусанны утихалъ съ каждымъ словомъ и вся она утихала. Но мнѣ это спокойствіе казалось еще страшнѣе, чѣмъ тѣ недавнія рыданія.

— Онъ повѣрилъ ему...—сказала она еще разъ и оперлась подбородкомъ на сложенныя руки.

Внезапный порывъ вѣтра съ рѣзкимъ свистомъ и стукомъ снѣга ударилъ въ окно, холодная струя пробѣжала по комнатѣ... Пламя свѣчей пошатнулось... Сусанна вздрогнула.

Я снова попросилъ се сѣсть на диванъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, оставьте,—отвѣчала она,—мнѣ здѣсь хорошо. Пожалуйста.—Она прижалась къ промерзлому стеклу, точно она нашла себѣ гнѣздышко въ углубленіи окна.—Пожалуйста.

— Но вы дрожите, вы озябли, — воскликнулъ я.— Посмотрите, ваши ботинки промокли.

— Оставьте... пожалуйста...—прошептала она и закрыла глаза.

Страхъ нашелъ на меня.

— Сусанна Ивановна! — чуть не вскрикнулъ я:— придите въ себя, прошу васъ! Что съ вами? Къ чему такое отчаяніе! Вы увидите, все разъяснится, какое-нибудь недоразумѣніе... неожиданный случай... Вы увидите, онъ скоро возвратится. Я ему дамъ знать, я сегодня же ему напишу... Но я не повторю ему вашихъ словъ... Какъ можно!

— Онъ меня не застанетъ, — промолвила Сусанна все тѣмъ же тихимъ голосомъ.—Неужели бы я пришла сюда, къ вамъ, къ незнакомому человѣку, если бы не знала, что не останусь жива? Ахъ, все мое послѣднее унесено безвозвратно! Вотъ мнѣ и не хотѣлось умереть такъ, въ одиночку, въ молчанку, не сказавъ никому: „Я все потеряла... и я умираю... Посмотрите!“

Она снова ушла въ свое холодное гнѣздышко... Не забуду я вовѣкъ этой головы, этихъ неподвижныхъ глазъ съ ихъ глубокимъ и погасшимъ взоромъ, этихъ темныхъ разсыпанныхъ волосъ на блѣдномъ стеклѣ окна, самаго этого сѣренькаго тѣснаго платья, подъ каждой складкой котораго еще билась такая молодая, горячая жизнь!

Я невольно всплеснулъ руками.

— Вамъ... вамъ умереть, Сусанна Ивановна! Вамъ только жить... Вамъ жить должно!

Она посмотрѣла на меня... Мои слова ее какъ будто удивили.

— Ахъ, вы не знаете,—начала она и тихонько уронила обѣ руки. — Мнѣ нельзя жить. Слишкомъ, слишкомъ много пришлось терпѣть, слишкомъ! Я переносила... я надѣялась... но теперь... когда и это рушилось... когда...

Она подняла глаза къ потолку и словно задумалась. Трагическая черта, которую я нѣкогда замѣтилъ у ней около губъ, теперь обозначалась еще яснѣе, она распространилась по всему лицу. Казалось, чей-то неумолимый перстъ провелъ ее безвозвратно, навсегда отмѣтилъ это погибшее существо.

Она все молчала.

— Сусанна Ивановна,—сказалъ я, чтобы чѣмъ нибудь нарушить эту страшную тишину: — онъ вернется, увѣряю васъ!

Сусанна опять посмотрѣла на меня.

— Что вы говорите?—промолвила она съ видимымъ усиліемъ.

— Онъ вернется, Сусанна Ивановна, Александръ вернется!

— Онъ вернется? — повторила она. — Но если бы даже онъ вернулся, не могу я простить ему это униженіе, это недовѣріе...

Она схватила себя за голову.

— Боже мой! Боже мой! Что я говорю! И зачѣмъ я здѣсь? Что это такое? О чемъ... о чемъ я пришла просить... и кого? Ахъ, я съ ума схожу!..

Глаза ея остановились.

— Вы хотѣли просить меня, чтобъ я написалъ Александру,—поспѣшилъ я подсказать ей.

Она встрепенулась.

— Да, напишите... напишите, что хотите... А вотъ это... Она торопливо пошарила у себя въ карманѣ и достала небольшую тетрадку.—Это я-было для него написала... передъ его бѣгствомъ... Но вѣдь онъ повѣрилъ... повѣрилъ тому!

Я понималъ, что рѣчь шла о Викторѣ, Сусанна не хотѣла назвать его, не хотѣла произнести его ненавистное имя.

— Однако, позвольте, Сусанна Ивановна, — началъ я,—почему же вы полагаете, что Александръ Давыдычъ имѣлъ разговоръ... съ тѣмъ человѣкомъ?

— Почему? Почему? Но тотъ самъ пришелъ ко мнѣ и все разсказалъ, и хвастался... и такъ же смѣялся какъ его отецъ! Вотъ, вотъ, возьмите, — продолжала она, всовывая мнѣ тетрадку въ руку, — прочтите, пошлите ему, сожгите, бросьте, дѣлайте, что хотите, какъ хотите... Но нельзя же умереть такъ, чтобы никто не зналъ... А теперь мнѣ пора... Мнѣ идти надо.

Она поднялась съ подоконника... Я остановилъ ее.

— Куда же вы, Сусанна Ивановна, помилуйте! Послушайте, какая вьюга! Вы такъ легко одѣты... И домъ вашъ отсюда неблизко. Позвольте, я хоть за каретой пошлю, за извощикомъ...

— Не надо, ничего не надо,—промолвила она, настойчиво отклоняя меня и взявшись за плащъ и за шаль.

—Не удерживайте меня, ради Бога! а то... я ни за что не отвѣчаю! Я чувствую бездну, темную бездну подъ ногами... Не подходите! не трогайте меня!—Съ лихорадочной поспѣшностью надѣла она плащъ, накинула шаль... —Прощайте... Прощайте... О, бѣдное, бѣдное мое племя, племя вѣчныхъ странниковъ, проклятіе лежитъ на тебѣ! Но вѣдь меня никто не любилъ, съ какой же стати было ему...—Она вдругъ умолкла.—Нѣтъ, меня любилъ одинъ,—заговорила она опять, ломая руки,—но смерть всюду, всюду неизбѣжная смерть! Теперь моя очередь... Не идите за мной,—пронзительно вскрикнула она.—Не идите! Не идите!

Я остолбенѣлъ, а она бросилась вонъ и, мгновенье спустя, я слышалъ, какъ грохнула внизу тяжелая дверь на улицу, и оконныя рамы снова вздрогнули подъ напоромъ мятели.

Я не скоро опомнился. Я только-что начиналъ жить тогда: не испыталъ ни страсти, ни скорби, и рѣдко бывалъ свидѣтелемъ того, какъ выражаются въ другихъ тѣ сильныя чувства... Но искренность этой скорби, этой страсти меня поразила. Если бы не тетрадка въ рукахъ моихъ, я, право, могъ бы подумать, что я все это во снѣ видѣлъ — до того это все было необычайно и пронеслось какъ мгновенный грозовой ливень. До полуночи читалъ я эту тетрадку. Она состояла изъ нѣсколькихъ листовъ почтовой бумаги, кругомъ исписанныхъ крупнымъ, но неправильнымъ почеркомъ, почти безъ помарокъ. Ни одна строка не шла прямо и, казалось, въ каждой чувствовался тревожный трепетъ руки, водившей перомъ. Вотъ что стояло въ этой тетрадкѣ (я ее сберегъ до сихъ поръ):

XVII.

Моя исторія.

„Мнѣ въ нынѣшнемъ году минетъ двадцать-восемь лѣтъ. Вотъ мои первыя воспоминанія: я живу въ Тамбовской губерніи, у одного богатаго помѣщика, Ивана Матвѣича Колтовского, въ его деревенскомъ домѣ, въ небольшой комнатѣ второго этажа. Со мной вмѣстѣ живетъ мать моя, еврейка, дочь умершаго живописца, вывезеннаго изъ-за границы, болѣзненная женщина съ необыкновенно-красивымъ, какъ воскъ блѣднымъ лицомъ и такими грустными глазами, что, бывало, какъ только она долго посмотритъ на меня, я, и не глядя на нее, непремѣнно почувствую этотъ печальный, печальный взоръ и запла́чу, и брошусь ее обнимать. Ко мнѣ ѣздятъ наставники, меня учатъ музыкѣ и зовутъ меня барышней. Я обѣдаю за господскимъ столомъ вмѣстѣ съ матушкой. Г-нъ Колтовской—высокій, видный старикъ съ величавою осанкой; отъ него всегда пахнетъ амброй. Я боюсь его до-смерти, хоть онъ зоветъ меня Suzon и даетъ мнѣ цѣловать, сквозь кружевную манжетку, свою сухую, жилистую руку. Съ матушкой онъ изысканно-вѣжливъ, но бесѣдуетъ и съ нею мало: скажетъ ей два-три благосклонныя слова, на которыя она тотчасъ торопливо отвѣтитъ,—скажетъ и умолкнетъ, и сидитъ, съ важностью озираясь кругомъ и медленно перебирая щепотку испанскаго табаку въ золотой, круглой табатеркѣ, съ вензелемъ императрицы Екатерины.

„Девятый годъ моего возраста остался мнѣ навсегда памятнымъ... Я узнала тогда, черезъ горничныхъ въ дѣвичьей, что Иванъ Матвѣичъ Колтовской мнѣ отецъ, и почти въ тотъ же день мать моя, по его приказанію,

вышла замужъ за г. Ратча, который состоялъ у него чѣмъ-то въ родѣ управляющаго. Я никакъ не могла понять, какъ это возможно, я недоумѣвала, я чуть не заболѣла, моя голова изнемогала, умъ становился въ тупикъ. „Правда ли, правда ли, мама“,—спросила я ее, —„этотъ *бука пахучій* (такъ я звала Ивана Матвѣича) мой папа?“ Матушка испугалась чрезвычайно, зажала мнѣ ротъ... — „Никогда, никому не говори объ этомъ, слышишь, Сусанна, слышишь—ни слова!“...—твердила она трепетнымъ голосомъ, крѣпко прижимая мою голову къ своей груди... И я точно никому объ этомъ не говорила... Это приказаніе моей матери я поняла... Я поняла, что я должна была молчать, что моя мать у меня прощенія просила!

„Несчастье мое началось тогда же. Г-нъ Ратчъ не любилъ моей матери и она его не любила. Онъ женился на ней изъ-за денегъ, а она должна была повиноваться. Г-нъ Колтовской, вѣроятно, нашелъ, что такимъ образомъ все устроилось къ лучшему—„la position etait régularisée“. Помню, наканунѣ свадьбы—мать моя и я—мы обѣ, обнявшись, проплакали почти цѣлое утро—горько, горько и молча. Не диво, что она молчала... Чтó могла она сказать мнѣ? Но что я ее не разспрашивала—это доказываетъ только то, что несчастныя дѣти умнѣютъ скорѣе счастливыхъ... на свою бѣду.

„Г-нъ Колтовской продолжалъ заниматься моимъ воспитаніемъ и даже понемногу приблизилъ меня къ своей особѣ. Онъ со мной не разговаривалъ... но утромъ и вечеромъ, стряхнувъ двумя пальцами съ своего жабó табачныя пылинки, онъ тѣми же двумя пальцами, холодными какъ ледъ, трепалъ меня по щекѣ и давалъ мнѣ какія-то темныя конфетки, тоже съ запахомъ амбры; которыхъ я никогда не ѣла. Двѣнадцати лѣтъ отъ роду я

стала его лектрисой, „sa petite lectrice“. Я читала ему французскія сочиненія прошлаго столѣтія, мемуары Сенъ-Симона, Мабли, Реналя, Гельвеція, переписку Вольтера, энциклопедистовъ, ничего, конечно, не понимая, даже тогда, когда онъ, осклабясь и зажмурясь, приказывалъ мнѣ: „relire ce dernier paragraphe, qui est bien remarquable!“ Иванъ Матвѣичъ былъ совершенный французъ. Онъ жилъ въ Парижѣ, до революціи, помнилъ Марію-Антуанету, получилъ приглашеніе къ ней въ Тріанонъ; видѣлъ и Мирабо, который, по его словамъ, носилъ очень большія пуговицы—„exagéré en tout“—и былъ вообще человѣкъ дурного тона—„en dépit de sa naissance!“ Впрочемъ, Иванъ Матвѣичъ рѣдко разсказывалъ о томъ времени; но раза два или три въ годъ произносилъ, обращаясь къ кривому старичку-эмигранту, котораго держалъ на хлѣбахъ и называлъ, Богъ знаетъ почему, „M. le Commandeur“, произносилъ, своимъ неспѣшнымъ, носовымъ голосомъ экспромптъ, нѣкогда сказанный имъ на вечерѣ у герцогини Полиньякъ. Я помню только первые два стиха... (Дѣло шло о параллели между русскими и французами):

L'aigle se plait aux régions austères,
Où le ramier ne saurait habiter...

— Digne de M. de Saint Aulaire!—всякій разъ восклицалъ M. le Commandeur.

„Иванъ Матвѣичъ до самой смерти казался моложавымъ: щеки у него были розовыя, зубы бѣлые, брови густыя и неподвижныя, глаза пріятные и выразительные: свѣтлые черные глаза, настоящій агатъ; онъ вовсе не былъ капризенъ и обходился со всѣми, даже со слугами, очень учтиво... Но, Боже мой! какъ мнѣ было тяжело съ нимъ, съ какою радостью я всякій разъ отъ него ухо-

дила, какія нехорошія мысли возмущали меня въ его присутствіи! Ахъ, я не была въ нихъ виновата!.. Не виновата я въ томъ, что̀ изъ меня сдѣлали...

„Г-ну Ратчу, послѣ его свадьбы, былъ отведенъ флигель недалеко отъ господскаго дома. Я жила тамъ съ моею матерью. Невесело было мнѣ и тамъ. У нея скоро родился сынъ, тотъ самый Викторъ, котораго я вправѣ считать и называть моимъ врагомъ. Съ самаго его рожденія, здоровье моей матушки, и прежде слабое, уже не поправилось. Г-нъ Ратчъ въ то время не считалъ нужнымъ выказывать ту веселость, которой онъ теперь предается: онъ имѣлъ видъ постоянно суровый и старался прослыть за дѣльца. Со мной онъ былъ жестокъ и грубъ. Я чувствовала удовольствіе, когда уходила отъ Ивана Матвѣича; но и свой флигель я покидала охотно... Несчастная моя молодость! Вѣчно отъ одного берега къ другому, и ни къ которому не хочется пристать! Бывало бѣжишь черезъ дворъ, зимой, по глубокому снѣгу, въ холодномъ платьицѣ, бѣжишь въ господскій домъ къ Ивану Матвѣичу на чтеніе и словно радуешься... А придешь, увидишь эти большія унылыя комнаты, эти пестрыя штофныя мебели, этого привѣтливаго и бездушнаго старика въ шелковой „дульеткѣ“ на распашку, въ бѣломъ жабо и бѣломъ галстукѣ, съ манжетками на пальцахъ, съ „супсономъ“ пудры (такъ выражался его камердинеръ) на зачесанныхъ назадъ волосахъ, захватитъ тебѣ дыханіе этотъ душный запахъ амбры, и сердце такъ и упадетъ. Иванъ Матвѣичъ сидѣлъ обыкновенно въ просторныхъ вольтеровскихъ креслахъ: на стѣнѣ, надъ его головой висѣла картина, изображавшая молодую женщину съ яснымъ и смѣлымъ выраженіемъ лица, одѣтую въ богатый еврейскій костюмъ и всю покрытую драгоцѣнными камнями, жемчугомъ... Я часто заглядывалась на

эту картину, но только впослѣдствіи узнала, что это былъ портретъ моей матери, писанный ея отцомъ по заказу Ивана Матвѣича. Измѣнилась же она съ того времени! Умѣлъ онъ сломить и уничтожить ее! „И она его любила! Любила этого старика!“ думалось мнѣ... „Какъ это возможно! Его любить!“ А между тѣмъ, когда я вспоминала иные взгляды матушки, иныя недомолвки и невольныя движенія... „Да, да, она любила его!“ твердила я съ ужасомъ. Ахъ, не дай Богъ никому испытывать такія ощущенія!

„Каждый день я читала Ивану Матвѣичу, иногда три, четыре часа сряду... Мнѣ было вредно такъ много и такъ громко читать. Докторъ нашъ боялся за мою грудь и даже однажды доложилъ объ этомъ Ивану Матвѣичу. Но тотъ только улыбнулся (то-есть, нѣтъ: онъ никогда не улыбался, а какъ-то завастривалъ и выдвигалъ впередъ губы) и сказалъ ему: „Vous ne savez pas ce qu'il y a de ressources dans cette jeunesse“. „Однако, въ прежніе годы, M. le Commandeur“... осмѣлился-было замѣтить докторъ. Иванъ Матвѣичъ опять усмѣхнулся. „Vous rêvez, mon cher, — перебилъ онъ его: — le commandeur n'a plus de dents et il crache à chaque mot. J'aime les voix jeunes“.

„И я продолжала читать, хоть и много кашляла по утрамъ и по ночамъ...

„Иногда Иванъ Матвѣичъ заставлялъ меня играть на фортепіано. Но музыка дѣйствовала усыпительно на его нервы. Глаза его тотчасъ закрывались, голова мѣрно опускалась, и только изрѣдка слышалось: „C'est du Steibelt, n'est-ce-pas? Jouez moi du Steibelt!“ Иванъ Матвѣичъ считалъ Штейбельта великимъ геніемъ, умѣвшимъ побѣдить въ себѣ „la grossière lourdeur des Allemands“, и упрекалъ его въ одномъ: „trop de fougue! trop d'ima-

gination!"... Когда же Иванъ Матвѣичъ замѣчалъ, что я уставала за фортепіано, онъ предлагалъ мнѣ „du cachou de Bologne". Такъ шли дни за днями...

„И вотъ, въ одну ночь—незабвенную ночь! страшное несчастіе меня поразило. Моя матушка скончалась почти внезапно. Мнѣ только-что минуло пятнадцать лѣтъ. О, какое это было горе, какимъ злымъ вихремъ оно налетѣло на меня! Какъ запугала меня эта первая встрѣча со смертію! Бѣдная моя матушка! Странныя были наши отношенія: мы обѣ страстно любили другъ друга... страстно и безнадежно; мы обѣ словно хранили и скрывали отъ самихъ себя общую намъ тайну, упорно молчали о ней, хотя знали, знали все, что́ происходило въ глубинѣ сердецъ нашихъ! Даже о прошедшемъ, о раннемъ своемъ прошедшемъ, матушка со мной не говорила и никогда не жаловалась словами, хотя все существо ея было одна нѣмая жалоба! Мы избѣгали всякаго нѣсколько серьёзнаго разговора. Ахъ! я все надѣялась, что придетъ часъ, и она выскажется наконецъ, и я выскажусь, и легче станетъ намъ... Но заботы ежедневныя, нерѣшительный и робкій нравъ, болѣзни, присутствіе г-на Ратча, а главное: этотъ вѣчный вопросъ „къ чему?" и это неуловимое, безпрерывное утеканіе времени, жизни... Кончилось все громовымъ ударомъ, и не только тѣхъ словъ, которыя бы разрѣшили нашу тайну, даже обычныхъ предсмертныхъ прощаній мнѣ не пришлось услышать отъ моей матушки! Только и осталось у меня въ памяти, что восклицаніе г. Ратча: „Сусанна Ивановна, извольте идти, мать васъ благословить желаетъ!" а потомъ блѣдная рука изъ-подъ тяжелаго одѣяла, дыханіе мучительное, закатившійся глазъ... О, довольно! довольно!

„Съ какимъ ужасомъ, съ какимъ негодованіемъ, съ какимъ тоскливымъ любопытствомъ я на слѣдующій день

и въ день похоронъ смотрѣла на лицо моего отца... да, моего отца! Въ шкатулкѣ покойницы нашлись его письма. Мнѣ показалось, что онъ поблѣднѣлъ немного и осунулся... а впрочемъ, нѣтъ! Ничего не шевельнулось въ этой каменной душѣ. Точно такъ же, какъ и прежде, позвалъ онъ меня спустя недѣлю въ кабинетъ; точно тѣмъ же голосомъ попросилъ читать: „Si vous le voulez bien, les observations sur l'histoire de France de Mably, à la page 74... là, ou nous avons été interrompus". И даже портрета матушки онъ не велѣлъ вынести! Правда, отпуская меня, онъ подозвалъ меня къ себѣ и, давъ вторично поцѣловать свою руку, промолвилъ: „Suzanne, la mort de votre mère vous a privée de votre appui naturel; mais vous pourrez toujours compter sur ma protection", но тотчасъ же слегка пихнулъ меня въ плечо другою рукой и, съ обычнымъ своимъ завастриваніемъ губъ, прибавилъ: „Allez, mon enfant". Я хотѣла-было закричать ему: „да вѣдь вы мой отецъ!" но я ничего не сказала и вышла.

„На другое утро, рано, я пошла на кладбище. Май мѣсяцъ стоялъ тогда во всей красѣ цвѣтовъ и листьевъ, и долго я сидѣла на свѣжей могилѣ. Я не плакала, не грустила; у меня одно вертѣлось въ головѣ: „Слышишь, мама? Онъ хочетъ и мнѣ оказывать покровительство!" И мнѣ казалось, что мать моя не должна была оскорбиться тою усмѣшкой, которая невольно просилась мнѣ на губы.

„Иногда я спрашиваю себя: что̀ заставляло меня такъ настойчиво желать, добиваться—не признанья... куда! а хоть теплаго родственнаго слова отъ Ивана Матвѣича? Развѣ я не знала, что́ онъ былъ за человѣкъ и какъ мало онъ походилъ на то, чѣмъ въ моихъ мечтаніяхъ представлялся мнѣ *отецъ*?... Но я была такъ одинока, такъ

одинока на землѣ! И потомъ, все та же неотступная мысль не давала мнѣ покоя: „Вѣдь она его любила? За что-нибудь она полюбила же его?“

„Прошло еще три года. Ничего не измѣнялось въ нашей однообразной, заранѣе размѣренной, разсчитанной жизни. Викторъ подросталъ. Я была старше его восемью годами и охотно занялась бы имъ, но г. Ратчъ этому воспротивился. Онъ приставилъ къ нему няню, которая должна была строго наблюдать, чтобы ребенокъ не „баловался“, то-есть не допускать меня до него. Да и самъ Викторъ меня чуждался. Однажды г. Ратчъ пришелъ въ мою комнату разстроенный, взволнованный, злобный. Уже наканунѣ дошли до меня дурные слухи о моемъ вотчимѣ: люди толковали, будто онъ былъ уличенъ въ утайкѣ значительной суммы, во взяткѣ съ купца.

— Вы можете помочь мнѣ, — началъ онъ,—нетерпѣливо постукивая пальцами по столу.—Подите, попросите за меня Ивана Матвѣича.

— Попросить? съ какой стати? о чемъ?

— Походатайствуйте за меня... вѣдь я вамъ все-таки не чужой. Меня обвиняютъ... Ну, словомъ, я могу безъ хлѣба остаться, да и вы тоже.

— Но какъ же я къ нему пойду? Какъ я стану его безпокоить?

— Вотъ еще! Вы имѣете *право* его безпокоить!

— Какое же право, Иванъ Демьянычъ?

— Ну, не притворяйтесь... *Вамъ* онъ не можетъ отказать по многимъ причинамъ. Неужели же вы меня не понимаете?

„Онъ нагло посмотрѣлъ мнѣ въ глаза, и я почувствовала, что щеки мои такъ и загорѣлись. Ненависть, презрѣніе—поднялись во мнѣ разомъ, хлынули волной, залили меня.

— Да, я понимаю васъ, Иванъ Демьянычъ. — отвѣтила я ему наконецъ. Мой голосъ мнѣ самой показался незнакомымъ:—и я не пойду къ Ивану Матвѣичу, и не стану его просить. Безъ хлѣба, такъ безъ хлѣба!

„Г-нъ Ратчъ дрогнулъ, стиснулъ зубы, сжалъ кулаки.

— Ну, погоди же, царевна Меликитриса! — хрипло прошепталъ онъ.— Я тебѣ этого не забуду!

„Въ тотъ же день Иванъ Матвѣичъ потребовалъ его къ себѣ и, говорятъ, грозилъ ему тростью, тою самою тростью, которою нѣкогда обмѣнялся съ дюкомъ де-Ларошфуко, кричалъ: „Вы суть подлецъ и мздолюбецъ! Я васъ поставлю наружу!“ (Иванъ Матвѣичъ почти совсѣмъ не умѣлъ говорить по-русски и презиралъ наше „грубое нарѣчіе“, ce jargon vulgaire et rude. Кто-то при немъ сказалъ однажды: „это само собою разумѣется“. Иванъ Матвѣичъ пришелъ въ негодованіе и часто потомъ приводилъ эту фразу какъ примѣръ безсмыслицы и нелѣпости русскаго языка. „Что такое есть: само собою разумѣется?“ спрашивалъ онъ *по-русски*, напирая на каждый слогъ. „А почему же не съ простотою: разумѣется? и зачѣмъ: само собою?!“).

„Иванъ Матвѣичъ, однако, не прогналъ г. Ратча, даже не лишилъ его мѣста. Но мой вотчимъ сдержалъ слово: онъ мнѣ *этого* не забылъ.

„Я начинала замѣчать перемѣну въ Иванѣ Матвѣичѣ. Онъ сталъ грустить, скучалъ, здоровье его пошатнулось. Его розовое, свѣжее лицо пожелтѣло и сморщилось, одинъ зубъ спереди выпалъ. Онъ совсѣмъ пересталъ выѣзжать и прекратилъ введенные имъ пріемные дни съ угощеніемъ для крестьянъ, безъ участія духовенства—„sans le concours du clergé“. Въ такіе дни Иванъ Матвѣичъ, съ розаномъ въ петличкѣ, выходилъ къ крестьянамъ въ залу или на балконъ и, коснувшись губами серебрянаго ста-

одинока на землѣ! И потомъ, все та же неотступная мысль не давала мнѣ покоя: „Вѣдь она его любила? За что-нибудь она полюбила же его?“

„Прошло еще три года. Ничего не измѣнялось въ нашей однообразной, заранѣе размѣренной, разсчитанной жизни. Викторъ подросталъ. Я была старше его восемью годами и охотно занялась бы имъ, но г. Ратчъ этому воспротивился. Онъ приставилъ къ нему няню, которая должна была строго наблюдать, чтобы ребенокъ не „баловался“, то-есть не допускать меня до него. Да и самъ Викторъ меня чуждался. Однажды г. Ратчъ пришелъ въ мою комнату разстроенный, взволнованный, злобный. Уже наканунѣ дошли до меня дурные слухи о моемъ вотчимѣ: люди толковали, будто онъ былъ уличенъ въ утайкѣ значительной суммы, во взяткѣ съ купца.

— Вы можете помочь мнѣ, — началъ онъ,—нетерпѣливо постукивая пальцами по столу.—Подите, попросите за меня Ивана Матвѣича.

— Попросить? съ какой стати? о чемъ?

— Походатайствуйте за меня... вѣдь я вамъ все-таки не чужой. Меня обвиняютъ... Ну, словомъ, я могу безъ хлѣба остаться, да и вы тоже.

— Но какъ же я къ нему пойду? Какъ я стану его безпокоить?

— Вотъ еще! Вы имѣете *право* его безпокоить!

— Какое же право, Иванъ Демьянычъ?

— Ну, не притворяйтесь... *Вамъ* онъ не можетъ отказать по многимъ причинамъ. Неужели же вы меня не понимаете?

„Онъ нагло посмотрѣлъ мнѣ въ глаза, и я почувствовала, что щеки мои такъ и загорѣлись. Ненависть, презрѣніе—поднялись во мнѣ разомъ, хлынули волной, затопили меня.

— Да, я понимаю васъ, Иванъ Демьянычъ. — отвѣтила я ему наконецъ. Мой голосъ мнѣ самой показался незнакомымъ:—и я не пойду къ Ивану Матвѣичу, и не стану его просить. Безъ хлѣба, такъ безъ хлѣба!

„Г-нъ Ратчъ дрогнулъ, стиснулъ зубы, сжалъ кулаки.

— Ну, погоди же, царевна Меликитриса! — хрипло прошепталъ онъ.— Я тебѣ этого не забуду!

„Въ тотъ же день Иванъ Матвѣичъ потребовалъ его къ себѣ и, говорятъ, грозилъ ему тростью, тою самою тростью, которою нѣкогда обмѣнялся съ дюкомъ де-Ларошфуко, кричалъ: „Вы суть подлецъ и мздолюбецъ! Я васъ поставлю наружу!“ (Иванъ Матвѣичъ почти совсѣмъ не умѣлъ говорить по-русски и презиралъ наше „грубое нарѣчіе“, ce jargon vulgaire et rude. Кто-то при немъ сказалъ однажды: „это само собою разумѣется“. Иванъ Матвѣичъ пришелъ въ негодованіе и часто потомъ приводилъ эту фразу какъ примѣръ безсмыслицы и нелѣпости русскаго языка. „Что такое есть: само собою разумѣется?“ спрашивалъ онъ *по-русски*, напирая на каждый слогъ. „А почему же не съ простотою: разумѣется? и зачѣмъ: само собою?!“).

„Иванъ Матвѣичъ, однако, не прогналъ г. Ратча, даже не лишилъ его мѣста. Но мой вотчимъ сдержалъ слово: онъ мнѣ *этого* не забылъ.

„Я начинала замѣчать перемѣну въ Иванѣ Матвѣичѣ. Онъ сталъ грустить, скучалъ, здоровье его пошатнулось. Его розовое, свѣжее лицо пожелтѣло и сморщилось, одинъ зубъ спереди выпалъ. Онъ совсѣмъ пересталъ выѣзжать и прекратилъ введенные имъ пріемные дни съ угощеніемъ для крестьянъ, безъ участія духовенства—„sans le concours du clergé“. Въ такіе дни Иванъ Матвѣичъ, съ розаномъ въ петличкѣ, выходилъ къ крестьянамъ въ залу или на балконъ и, коснувшись губами серебрянаго ста-

канчика съ водкой, держалъ имъ рѣчь въ родѣ слѣдующей: „Вы довольны моими поступками, сколь и я доволенъ вашимъ усердствованіемъ; сему радуюсь истинно. Мы всѣ *браты;* само рожденіе насъ производитъ равными: пью ваше здравіе!“ Онъ кланялся имъ, и крестьяне кланялись ему въ поясъ, а не въ землю, что̀ было строго запрещено. Угощенія продолжались по прежнему, но Иванъ Матвѣичъ уже не показывался своимъ подданнымъ. Иногда онъ прерывалъ мое чтеніе восклицаніями: „La machine se détraque! Cela se gate!“ Самые глаза его, эти свѣтлые, каменные глаза, потускнѣли и словно уменьшились; онъ засыпалъ чаще прежняго и тяжело вздыхалъ во снѣ. Не измѣнилось лишь его обращеніе со мной; только прибавился оттѣнокъ рыцарской вѣжливости. Онъ, хоть и съ трудомъ, но всякій разъ вставалъ съ кресла, когда я входила, провожалъ меня до двери, поддерживая меня рукой подъ локоть и вмѣсто Suzon сталъ звать меня то „ma chère demoiselle“, то „mon Antigone“. M. le Commandeur умеръ года два послѣ кончины матушки: повидимому, его смерть гораздо глубже поразила Ивана Матвѣича. Ровесникъ исчезъ; вотъ что его смутило. И между тѣмъ, единственная заслуга г. Командора въ послѣднее время состояла только въ томъ, что онъ всякій разъ восклицалъ: „Bien joué mal réussi!“ когда Иванъ Матвѣичъ, играя съ г. Ратчемъ на биліардѣ, давалъ промахъ или не попадалъ въ лузу; да еще, когда Иванъ Матвѣичъ обращался къ нему за столомъ съ вопросомъ въ родѣ, напримѣръ, слѣдующаго: „N'est-ce pas, M. le Commandeur, c'est Montesquieu qui a dit cela dans ses Lettres Persanes?“ Тотъ, иногда уронивъ ложку супу на свою манишку, глубокомысленно отвѣчалъ: „Ah, monsieur de Montesquieu? Un grand écrivain, monsieur, un grand écrivain!“ Только однажды,

когда Иванъ Матвѣичъ сказалъ ему, что les théophilantropes ont eu pourtant du bon!—старикъ взволнованнымъ голосомъ воскликнулъ: „Monsieur de Kolontouskoi! (онъ въ двадцать пять лѣтъ не выучился выговаривать правильно имя своего патрона) Monsieur de Kolontouskoi! Leur fondateur, l'instigateur de cette secte, ce La Reveillère Lepeaux, était un bonnet rouge!"—Non, non, говорилъ Иванъ Матвѣичъ, ухмыляясь и переминая щепотку табаку:—des fleurs, des jeunes vierges, le culte de la Nature... ils ont eu du bon, ils ont du bon!..." Я всегда удивлялась, какъ много зналъ Иванъ Матвѣичъ и какъ безполезно было это знаніе для него самого.

„Иванъ Матвѣичъ видимо опускался, но все еще крѣпился. Однажды, недѣли за три до смерти, съ нимъ тотчасъ послѣ обѣда сдѣлался сильный припадокъ головокруженія. Онъ задумался, сказалъ: „c'est la fin", и, придя въ себя и отдохнувъ, написалъ письмо въ Петербургъ къ своему единственному наслѣднику, брату, съ которымъ лѣтъ двадцать не имѣлъ сношеній. Прослышавъ о нездоровьѣ Ивана Матвѣича, его посѣтилъ одинъ сосѣдъ, нѣмецъ, католикъ, нѣкогда знаменитый врачъ, жившій на покоѣ въ своей деревенькѣ. Онъ весьма рѣдко бывалъ у Ивана Матвѣича, но тотъ всегда принималъ его съ особеннымъ вниманіемъ и вообще очень уважалъ его. Чуть-ли не его одного во всемъ свѣтѣ и уважалъ онъ. Старикъ посовѣтовалъ Ивану Матвѣичу послать за священникомъ, но Иванъ Матвѣичъ отвѣчалъ, что „ces messieurs et moi, nous n'avons rien à nous dire", и просилъ перемѣнить разговоръ; а по отъѣздѣ сосѣда, отдалъ приказъ каммердинеру впредь уже никого не принимать. Потомъ онъ велѣлъ позвать меня. Я испугалась, когда увидала его: синія пятна выступили у него подъ глазами, лицо вытянулось и одервенѣло, челюсть повисла.—

Vous voilà grande, Suzon, заговорилъ онъ, съ трудомъ выговаривая согласныя буквы, но все еще стараясь улыбнуться (мнѣ тогда уже пошелъ девятнадцатый годъ),— „vous allez peut-être bientôt rester seule. Soyez toujours sage et vertueuse. C'est la dernière recommandation d'un...— Онъ кашлянулъ...—d'un vieillard qui vous veut du bien. Je vous ai recommandé à mon frère et je ne doute pas qu'il ne respecte mes volontés"...—Онъ опять кашлянулъ и заботливо пощупалъ себѣ грудь. — Du reste, j'espère encore pouvoir faire quelque chose pour vous... dans mon testament.—Эта послѣдняя фраза меня какъ ножомъ рѣзанула по сердцу. Ахъ, это уже было слишкомъ... слишкомъ презрительно и обидно! Иванъ Матвѣичъ, вѣроятно, приписалъ другому чувству—чувству горести или благодарности то, что выразилось у меня на лицѣ, и какъ бы желая меня утѣшить, потрепалъ меня по плечу, въ то же время, по обыкновенію, ласково меня отодвигая, и промолвилъ: —Voyons, mon enfant, du courage! Nous sommes tous mortels. Et puis, il n'y a pas encore de danger. Ce n'est qu'une précaution que j'ai cru devoir prendre... Allez!"—Какъ въ тотъ разъ, когда онъ позвалъ меня къ себѣ послѣ кончины матушки, я опять хотѣла закричать ему: „Да вѣдь я ваша дочь! я дочь ваша!" Но, подумала я, вѣдь онъ, пожалуй, въ этихъ словахъ, въ этомъ сердечномъ воплѣ услышитъ одно желаніе заявить мои права, права на его наслѣдство, на его деньги... О, ни за что! Не скажу я ничего этому человѣку, который ни разу не упомянулъ при мнѣ имени моей матери, въ глазахъ котораго я такъ мало значу, что онъ даже не далъ себѣ труда узнать, извѣстно ли мнѣ мое происхожденіе! А можетъ быть, онъ это и подозрѣвалъ, и зналъ, да не хотѣлъ „поднимать струшню". (его любимая поговорка, единственная русская фраза, которую онъ употреблялъ),

не хотѣлъ лишить себя хорошей лектрисы съ молодымъ голосомъ! Нѣтъ! нѣтъ! Пускай же онъ останется столь же виноватымъ предъ своею дочерью, какъ былъ онъ виноватъ предъ ея матерью! Пускай унесетъ въ могилу обѣ эти вины! Клянусь, клянусь: не услышитъ онъ изъ устъ моихъ этого слова, которое должно же звучать чѣмъ-то священнымъ и сладостнымъ во всякихъ ушахъ! Не скажу я ему: отецъ! не прощу ему за мать и за себя! Онъ не нуждается въ этомъ прощеніи, ни въ томъ названіи... Не можетъ быть, не можетъ быть, чтобъ онъ не нуждался въ немъ! Но не будетъ ему прощенія, не будетъ, не будетъ!

„Богъ знаетъ, сдержала ли бы я свою клятву и не смягчилось ли бы мое сердце, не превозмогла ли бы я своей робости, своего стыда, своей гордости... но съ Иваномъ Матвѣичемъ случилось то же самое, что съ моей матушкой. Смерть также внезапно унесла его и также ночью. Тотъ же г. Ратчъ разбудилъ меня и вмѣстѣ со мной побѣжалъ въ господскій домъ, въ спальню Ивана Матвѣича... Но я не застала даже тѣхъ послѣднихъ предсмертныхъ движеній, которыя такими неизгладимыми чертами залегли мнѣ въ память у постели моей матушки. На обшитыхъ кружевомъ подушкахъ лежала какая-то сухая, темнаго цвѣта кукла съ острымъ носомъ и взъерошенными сѣдыми бровями... Я закричала отъ ужаса, отъ отвращенья, бросилась вонъ, наткнулась въ дверяхъ на бородатыхъ людей въ армякахъ съ праздничными красными кушаками, и уже не помню какъ очутилась на свѣжемъ воздухѣ...

„Разсказывали потомъ, что когда камердинеръ вбѣжалъ въ спальню на сильный звонъ колокольчика, онъ нашелъ Ивана Матвѣича не на кровати, а въ двухъ шагахъ отъ нея. И будто онъ сидѣлъ на полу скорчившись

и два раза сряду повторилъ: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!“ И будто это были его послѣднія слова. Но я не могу этому вѣрить. Съ какой стати онъ заговорилъ бы по-русски, въ такую минуту и въ такихъ выраженіяхъ!

„Цѣлыя двѣ недѣли ждали мы потомъ пріѣзда новаго барина, Семена Матвѣича Колтовского. Онъ прислалъ приказаніе ничего не трогать, никого не смѣнять до личнаго своего осмотра. Всѣ двери, всѣ мебели, ящики, столы—все заперли, запечатали. Всѣ люди пріуныли и насторожились. Я стала вдругъ однимъ изъ главныхъ лицъ въ домѣ, чуть не самымъ главнымъ лицомъ. Меня и прежде звали барышней; но теперь это слово приняло какой-то новый смыслъ, произносилось съ особеннымъ удареніемъ. Поднялось шушуканіе. „Старый, молъ, баринъ скончался внезапно, и священника позвать къ нему не успѣли, онъ же у исповѣди давнымъ-давно не бывалъ; да вѣдь завѣщаніе написать недолго“. Г-нъ Ратчъ также почелъ за нужное измѣнить свой образъ дѣйствія. Онъ не прикинулся добродушнымъ и ласковымъ: онъ зналъ, что не обманетъ меня, но на лицѣ его изобразилось угрюмое смиреніе. „Видишь, дескать, я покоряюсь“. Всѣ искали во мнѣ; старались мнѣ угождать... а я не знала, что дѣлать и какъ быть, и только дивилась, какъ это люди не понимаютъ, что оскорбляютъ меня. Наконецъ, пріѣхалъ Семенъ Матвѣичъ.

„Семенъ Матвѣичъ былъ годами десятью моложе Ивана Матвѣича и весь свой вѣкъ шелъ по совершенно другой дорогѣ. Онъ состоялъ на службѣ въ Петербургѣ, занималъ важное мѣсто... Онъ былъ женатъ, рано овдовѣлъ; одинъ сынъ былъ у него. Съ лица Семенъ Матвѣичъ походилъ на своего старшаго брата, только ростомъ онъ былъ ниже и толще, голову имѣлъ круглую, лысую, та-

кіе же свѣтлые черные глаза какъ у Ивана Матвѣича, только съ поволокой, и большія красныя губы. Въ противность брату, котораго онъ даже послѣ его смерти величалъ французскимъ философомъ, а иногда просто чудакомъ, Семенъ Матвѣичъ почти постоянно говорилъ порусски, громко, рѣчисто, и то-и-дѣло хохоталъ, причемъ совершенно закрывалъ глаза и непріятно трясся всѣмъ тѣломъ, точно злость его колотила. Онъ принялся за дѣла очень круто, во все входилъ самъ, отъ всѣхъ требовалъ отчета подробнѣйшаго. Въ первый же день своего пріѣзда онъ пригласилъ священника со всѣмъ причтомъ, велѣлъ отслужить молебенъ съ водосвятіемъ и всюду окропилъ водою, всѣ комнаты въ домѣ, даже чердаки, даже подвалы, для того, чтобы, какъ онъ выразился, „радикально выгнать вольтеріянскій и якобинскій духъ". Въ первую же недѣлю нѣкоторые любимцы Ивана Матвѣича слетѣли съ мѣстъ, одинъ даже попалъ на поселеніе, другіе подверглись тѣлеснымъ наказаніямъ; самый даже старый камердинеръ, — онъ былъ родомъ турокъ, зналъ французскій языкъ, его подарилъ Ивану Матвѣичу покойный фельдмаршалъ Каменскій, — самый этотъ камердинеръ получилъ, правда, вольную, но вмѣстѣ съ нею и приказаніе выѣхать въ двадцать четыре часа, „чтобы другимъ соблазна не было". Семенъ Матвѣичъ оказался бариномъ строгимъ; вѣроятно, многіе пожалѣли о покойникѣ. „Съ батюшкой, съ Иваномъ Матвѣичемъ", сокрушался при мнѣ одинъ уже совсѣмъ дряхлый дворецкій: „только и было намъ заботы, чтобы бѣлье подавалось чистое, да въ комнатахъ, чтобы хорошо пахло, да чтобъ людского голоса въ передней не было слышно — это уже сохрани Богъ! А тамъ хоть трава не расти! Мухи въ жизнь свою покойничекъ не обидѣлъ! Ну, теперь бѣда! Помирать надо!" Такъ же скоро измѣнилось

и мое положеніе, то-есть то положеніе, въ которое я попала на нѣсколько дней и противъ воли... Въ бумагахъ Ивана Матвѣича не нашлось никакого завѣщанія, ни одной строки, написанной въ мою пользу. Всѣ вдругъ отхлынули отъ меня... О г. Ратчѣ я уже не говорю, но и другіе всѣ досадовали на меня и старались мнѣ выказать свою досаду: точно я ихъ обманула. Въ одно воскресенье, послѣ обѣдни, которую онъ постоянно прослушивалъ въ алтарѣ, Семенъ Матвѣичъ потребовалъ меня къ себѣ. Я его до того дня видѣла мелькомъ, и онъ, казалось, меня не замѣчалъ. Онъ принялъ меня въ своемъ кабинетѣ, стоя у окна. На немъ былъ вицъ-мундирный фракъ съ двумя звѣздами. Я остановилась возлѣ двери; сердце сильно стучало во мнѣ отъ страха и отъ другого чувства, еще неопредѣленнаго, но уже тяжелаго.— Я желалъ васъ видѣть, молодая дѣвица, — заговорилъ Семенъ Матвѣичъ, взглянувъ мнѣ сперва на ноги, а потомъ вдругъ въ лицо, — этотъ взглядъ точно толкнулъ меня:—я желалъ васъ видѣть для того, чтобъ объявить вамъ мое рѣшеніе и увѣрить васъ въ моемъ несомнительномъ расположеніи быть вамъ полезнымъ.—Онъ возвысилъ голосъ.—Правъ вы никакихъ, конечно, не имѣете, но какъ... лектриса моего брата, вы всегда можете разсчитывать на мое... на мое вниманіе. Я... конечно, увѣренъ въ вашемъ благоразуміи и въ вашихъ правилахъ. Г-нъ Ратчъ, вашъ вотчимъ, уже получилъ отъ меня нужныя инструкціи. Къ тому же я долженъ сказать, что ваша счастливая наружность служитъ мнѣ залогомъ вашихъ благородныхъ чувствъ.—Семенъ Матвѣичъ вдругъ залился тонкимъ хохотомъ, а я... не обидѣлась я... но жалко мнѣ стало самой себя... и тутъ-то я вполнѣ почувствовала себя круглою сиротой. Семенъ Матвѣичъ подошелъ короткими твердыми шагами къ столу, досталъ

изъ ящика пачку ассигнацій и, всунувъ мнѣ ее въ руку, прибавилъ:—Здѣсь небольшая сумма отъ меня вамъ на иголки. Я и впредь васъ не забуду, моя миленькая, а теперь прощайте и будьте умницей.—Я взяла эту пачку машинально, я взяла бы все, что́ бы онъ мнѣ ни далъ и, вернувшись къ себѣ въ комнату, долго проплакала, сидя на своей постели. Я и не замѣтила, какъ я пачку уронила на полъ. Г-нъ Ратчъ нашелъ ее и поднялъ и, спросивъ меня, что́ я съ нею намѣрена сдѣлать, оставилъ ее у себя.

„Въ судьбѣ его произошла тогда значительная перемѣна. Послѣ нѣкоторыхъ разговоровъ съ Семеномъ Матвѣичемъ, онъ попалъ къ нему въ большую милость и скоро получилъ мѣсто главнаго управляющаго. Съ того времени проявилась въ немъ веселость, проявилось это вѣчное хохотаніе: онъ сперва хотѣлъ поддѣлаться къ своему патрону... въ послѣдствіи все это вошло въ привычку. Съ того же времени онъ сталъ русскимъ патріотомъ. Семенъ Матвѣичъ придерживался всего національнаго, самъ называлъ себя русакомъ, смѣялся надъ нѣмецкой одеждой, которую однако носилъ; сослалъ въ дальнюю деревню повара, за воспитаніе котораго Иванъ Матвѣичъ заплатилъ большія деньги,—сослалъ его за то, что тотъ не съумѣлъ приготовить разсольникъ съ гусиными шейками. Изъ алтаря Семенъ Матвѣичъ подтягивалъ дьячкамъ, а когда дѣвушекъ сгоняли хороводъ водить и пѣсни играть, онъ и имъ подтягивалъ и подтопывалъ, и щеки имъ щипалъ... Впрочемъ, онъ скоро уѣхалъ въ Петербургъ и оставилъ моего вотчима чуть не полнымъ властелиномъ всего имѣнія.

„Горькіе дни начались для меня... Единственнымъ моимъ утѣшеніемъ была музыка, и я предалась ей всею душой. Къ счастію, г-нъ Ратчъ былъ очень занятъ, но

при всякомъ удобномъ случаѣ онъ давалъ мнѣ чувствовать свою вражду; по обѣщанію, „не забывалъ“ мнѣ моего отказа. Онъ помыкалъ мною, заставлялъ меня переписывать свои длинныя и лживыя донесенія Семену Матвѣичу, поправлять въ нихъ орѳографическія ошибки; я принуждена была безпрекословно ему повиноваться, и я повиновалась. Онъ объявилъ, что смиритъ меня, сдѣлаетъ меня шелковою. „Что́ это у васъ за бунтовщицкіе глаза?“ кричалъ онъ иногда за обѣдомъ, напившись пива и стуча по столу ладонью: „Вы, можетъ-быть, думаете: я, дескать, молчалива какъ овечка, стало-быть я права... Нѣтъ! Вы извольте глядѣть на меня тоже какъ овечка! Положеніе мое становилось возмутительно, невыносимо... сердце мое ожесточалось. Что-то опасное стало все чаще и чаще подниматься въ немъ; ночи я проводила безъ сна и безъ огня, все думала, думала, и въ наружномъ мракѣ, въ темнотѣ внутренней созрѣвало страшное рѣшеніе. Пріѣздъ Семена Матвѣича далъ другое направленіе моимъ мыслямъ.

„Его никто не ожидалъ: осень давно наступила. Оказалось, что онъ вышелъ въ отставку по непріятности: онъ надѣялся получить Александровскую ленту—а ему дали табатерку. Недовольный правительствомъ, которое не оцѣнило его талантовъ, петербургскимъ обществомъ, которое выказало ему мало сочувствія и не раздѣляло его негодованія, онъ рѣшился поселиться въ деревнѣ, посвятить себя хозяйству. Онъ пріѣхалъ одинъ. Сынъ его, Михаилъ Семенычъ, пріѣхалъ позже, на праздники, къ Новому году. Мой вотчимъ почти не выходилъ изъ кабинета Семена Матвѣича: фаворъ его еще усилился. Меня онъ оставилъ въ покоѣ; не до меня ему было тогда... Семену Матвѣичу вздумалось затѣять бумажную фабрику. Въ мануфактурномъ дѣлѣ г. Ратчъ не смыслилъ

ничего, и Семенъ Матвѣичъ зналъ, что ничего не смыслитъ; но за то мой вотчимъ былъ „исполнитель“ (любимое тогдашнее слово), „Аракчеевъ!“ Семенъ Матвѣичъ именно такъ и называлъ его „мой Аракчеевъ!“ „Сего мнѣ достаточно“, увѣрялъ Семенъ Матвѣичъ; „при усердіи, направленіе я самъ дамъ“. Среди многочисленныхъ хлопотъ по фабрикѣ, по имѣнію, по заведенію канцеляріи, канцелярскихъ порядковъ, новыхъ званій и должностей, Семенъ Матвѣичъ успѣлъ однако обратить и на меня вниманіе. Меня позвали однажды вечеромъ въ гостиную и заставили играть на фортепіано: Семенъ Матвѣичъ музыку любилъ еще меньше чѣмъ покойникъ, однако одобрилъ и поблагодарилъ меня, а на другой день я была приглашена къ обѣденному столу. Послѣ обѣда Семенъ Матвѣичъ довольно долго со мной разговаривалъ, разспрашивалъ меня, смѣялся инымъ моимъ отвѣтамъ, хотя, помнится, ничего въ нихъ не было забавнаго, и такъ странно на меня посматривалъ... Мнѣ неловко становилось. Не любила я его глазъ; не любила ихъ откровеннаго выраженья, ихъ свѣтлаго взора... Мнѣ всегда казалось, что самая эта откровенность скрывала что-то нехорошее, что подъ этимъ свѣтлымъ блескомъ темно тамъ у него на душѣ. „Вы у меня лектрисой не будете“, объявилъ мнѣ наконецъ Семенъ Матвѣичъ, какъ-то гадливо охорашиваясь и одергиваясь: „я, слава Богу, еще не ослѣпъ и читать могу самъ, но кофей мнѣ изъ вашихъ ручекъ покажется вкуснѣе, и вашу игру на фортепіано я буду слушать съ удовольствіемъ“. Послѣ этого дня я уже постоянно ходила обѣдать въ господскій домъ и оставалась въ гостиной иногда до вечера. Попала и я, такъ же какъ мой вотчимъ въ милость; не на радость была мнѣ она. Семенъ Матвѣичъ, я должна въ этомъ признаться, ока-

зывалъ мнѣ нѣкоторое уваженіе; но въ этомъ человѣкѣ, я это чувствовала, было что-то такое, что̀ отталкивало, что̀ пугало меня. И это „что-то“ высказывалось не словами, а въ глазахъ его, въ этихъ нехорошихъ глазахъ, да еще въ его хохотѣ. Онъ никогда не говорилъ со мною о моемъ отцѣ, о своемъ братѣ, и мнѣ казалось, что онъ избѣгалъ этотъ разговоръ не потому, что не желалъ возбуждать во мнѣ честолюбивыхъ мыслей или притязаній, а по другой причинѣ, въ которую я тогда не умѣла вдуматься, но которая заставляла меня недоумѣвать и краснѣть... Къ святкамъ пріѣхалъ его сынъ, Михаилъ Семенычъ.

„Ахъ, я чувствую, я не могу продолжать такъ же, какъ начала; слишкомъ горестны эти воспоминанія. Особенно теперь мнѣ невозможно спокойно разсказывать... И къ чему скрываться? Я полюбила Мишеля, и онъ меня полюбилъ.

„Какъ это случилось, я тоже разсказывать не стану. Знаю, что съ самаго того вечера, когда онъ вошелъ въ гостиную (я сидѣла за фортепіано и играла сонату Вебера), когда онъ вошелъ, красивый и стройный, въ бархатномъ тулупчикѣ и валенкахъ, какъ былъ, прямо съ мороза и, встряхнувъ заиндевѣвшею собольею шапкой, прежде чѣмъ поздоровался съ отцомъ, быстро глянулъ на меня и удивился,—знаю я, что съ того вечера я уже не могла забыть его, не могла забыть это молодое, доброе лицо. Онъ заговорилъ... и голосъ его такъ и прильнулъ къ моему сердцу... Мужественный и тихій голосъ, и въ каждомъ звукѣ такая честная, честная душа! Семенъ Матвѣичъ обрадовался пріѣзду сына, обнялъ его, но тотчасъ же спросилъ: — На двѣ недѣли? а? Въ отпускъ? а?—и услалъ меня. Я долго сидѣла у себя подъ окномъ и глядѣла на огни, забѣгавшіе въ комнатахъ господ-

ского дома. Я слѣдила за ними, я прислушивалась къ новымъ незнакомымъ голосамъ, меня занимала эта оживленная тревога, и что-то новое, незнакомое, свѣтлое тоже перебѣгало по моей душѣ...

„На другой же день предъ обѣдомъ я имѣла первый разговоръ съ нимъ. Онъ зашелъ къ моему вотчиму по порученію Семена Матвѣича и засталъ меня въ нашей маленькой гостиной. Я хотѣла-было уйти, онъ удержалъ меня. Онъ былъ очень живъ и развязенъ во всѣхъ движеніяхъ и рѣчахъ; но высокомѣрія или дерзости, столичнаго презрительнаго тона въ немъ и слѣда не было, и ничего военнаго, гвардейскаго... Напротивъ, въ самой непринужденности его обращенія было что-то ласковое, почти стыдливое, точно онъ васъ просилъ извинить его. У иныхъ людей глаза никогда не смѣются, даже въ минуту смѣха; у *него* губы почти никогда не измѣняли своего красиваго склада, а глаза улыбались почти постоянно. Такъ мы пробесѣдовали съ часъ... о чемъ, не помню, помню только, что и я все время глядѣла ему въ глаза, и такъ мнѣ было съ нимъ легко! Вечеромъ я играла на фортепіано. Онъ очень любилъ музыку, сѣлъ на кресло, и положивъ курчавую голову на руку, внимательно слушалъ. Онъ ни разу не похвалилъ меня, но я понимала, что игра моя ему нравится, и я играла съ увлеченіемъ. Семенъ Матвѣичъ, который сидѣлъ возлѣ сына и разсматривалъ планы, вдругъ нахмурился.—Ну, сударыня,— сказалъ онъ, по обыкновенію охорашиваясь и застегиваясь:—довольно; что́ это растрещались, словно канарейка? Этакъ голова заболѣть можетъ. Для нашего брата, старика, небось, такъ стараться не станете...—прибавилъ онъ вполголоса и опять услалъ меня. Мишель проводилъ меня до двери глазами и всталъ съ креселъ.— Куда? куда? — закричалъ Семенъ Матвѣичъ и вдругъ

засмѣялся, и потомъ сказалъ еще что-то... Я не могла разслышать его словъ; но г. Ратчъ, который тутъ же присутствовалъ въ углу гостиной (онъ всегда „присутствовалъ“, а на этотъ разъ онъ принесъ планы), захохоталъ подобострастно, и его хохотъ достигъ до моихъ ушей... То же, или почти то же повторилось и въ слѣдующій вечеръ... Семенъ Матвѣичъ внезапно охладѣлъ ко мнѣ, наложилъ на меня опалу.

„Дня четыре спустя я встрѣтила Мишеля въ корридорѣ, раздѣлявшемъ надвое господскій домъ. Онъ взялъ меня за руку и ввелъ въ комнату, которая находилась возлѣ столовой и называлась портретной. Я послѣдовала за нимъ не безъ волненія, но съ полнымъ довѣріемъ. Я уже тогда, кажется, ушла бы за нимъ на край свѣта, хотя и не подозрѣвала еще чѣмъ онъ сталъ для меня. Ахъ, я привязалась къ нему со всею страстію, со всѣмъ отчаяніемъ молодого существа, которому не только некого любить, но которое чувствуетъ себя непрошеннымъ и ненужнымъ гостемъ среди чуждыхъ ему, среди враждебныхъ людей!..

Мишель сказалъ мнѣ... И странное дѣло! Я смѣло, прямо глядѣла на него—а онъ не глядѣлъ на меня и слегка покраснѣлъ—онъ сказалъ мнѣ, что онъ понимаетъ мое положеніе и сочувствуетъ ему, и проситъ извинить отца...—Что́ же касается до меня,—прибавилъ онъ,—то прошу васъ быть всегда во мнѣ увѣренною, и знайте, что для меня вы сестра, да сестра.—Тутъ онъ крѣпко пожалъ мнѣ руку. Я смутилась и потупилась въ свою очередь; я словно ожидала чего-то другого, другого слова. Однако я начала благодарить его.—Нѣтъ, пожалуйста,—перебилъ онъ меня;—не говорите такъ... Но помните: обязанность братьевъ заступаться за своихъ сестеръ—и если вамъ нужна будетъ защита, противъ кого бы то

ни было—положитесь на меня. Я недавно здѣсь, но я уже понялъ многое... и между прочимъ я понялъ вашего вотчима.—Онъ опять стиснулъ мою руку и удалился.

„Я узнала впослѣдствіи, что Мишель съ самой первой встрѣчи почувствовалъ отвращеніе къ г-ну Ратчу. Г-нъ Ратчъ попытался поддѣлаться и къ нему; но, убѣдившись въ безполезности своихъ усилій, тотчасъ самъ сталъ къ нему въ отношенія враждебныя и нетолько не скрылъ ихъ отъ Семена Матвѣича, но, напротивъ, старался ихъ выказать, причемъ выражалъ сожалѣніе о томъ, что ему не посчастливилось съ молодымъ наслѣдникомъ. Г-нъ Ратчъ хорошо изучилъ характеръ Семена Матвѣича: разсчетъ его удался. „Преданность этого человѣка ко мнѣ уже потому не подлежитъ сомнѣнію, что послѣ меня онъ погибъ; мой наслѣдникъ его терпѣть не можетъ“... эта мысль утвердилась въ головѣ старика. Говорятъ, всѣ люди со властью, когда старѣютъ, охотно идутъ на эту удочку, на удочку исключительной, личной преданности...

„Не даромъ же Семенъ Матвѣичъ называлъ г. Ратча своимъ Аракчеевымъ... Онъ могъ бы дать ему другое имя. „*Ты* у меня безотвѣтный“, говаривалъ онъ ему. Онъ съ самаго пріѣзда началъ его „тыкать“, и вотчимъ мой умильно глядѣлъ Семену Матвѣичу въ губы, сиротливо склонялъ голову на бокъ и добродушно смѣялся, какъ бы желая сказать: „весь тутъ, весь вашъ“... Ахъ, я чувствую, рука моя дрожитъ и сердце такъ и толкается въ край стола, на которомъ я пишу въ эту минуту... Страшно мнѣ вспоминать тѣ дни, и кровь моя загорается... Но я скажу все до конца... до конца.

„Обращеніе г. Ратча со мною приняло новый оттѣнокъ во время моего кратковременнаго фавора. Онъ началъ ко мнѣ прислуживаться, почтительно фамиліарни-

чать со мною, точно я и поумнѣла-то, и ближе къ нему стала.—Бросили ломаться,—сказалъ онъ мнѣ однажды, возвращаясь изъ главнаго дома во флигель.—Хвалю! Всѣ эти добродѣтели тамъ, чувствительности — хрестоматія, однимъ словомъ—не наше дѣло, барышня, не дѣло голышей!—Когда же мой фаворъ прекратился, и Мишель не счелъ нужнымъ болѣе тянть ни презрѣнія къ нему, ни участія ко мнѣ, г. Ратчъ внезапно усугубилъ свою суровость; онъ постоянно слѣдилъ за мною, точно я была способна на всѣ преступленія и меня слѣдовало держать въ ежовыхъ рукавицахъ.—Вы смотрите у меня,—кричалъ онъ, вваливаясь безъ спросу, въ грязныхъ сапогахъ и съ картузомъ на головѣ, въ мою комнату.—Я вѣдь ничего такого не потерплю! Носу у меня не вздергивать! Меня вамъ не провести, а спѣсь я вашу сшибу! — И тутъ же въ одно утро объявилъ мнѣ, что вышелъ отъ Семена Матвѣича приказъ, чтобы мнѣ впередъ безъ приглашенія къ обѣденному столу не являться... Не знаю, какой бы оборотъ все это приняло, если бы не случилось происшествіе, которое окончательно рѣшило мою судьбу...

„Мишель былъ большой охотникъ до лошадей. Онъ вздумалъ самъ объѣзжать молодого рысака. Тотъ понесъ, началъ бить и выбросилъ его изъ саней... Его принесли домой безъ чувствъ, съ вывихнутою рукой и разбитою грудью. Старикъ перепугался, выписалъ лучшихъ докторовъ изъ города. Они помогли Мишелю; но ему пришлось пролежать съ мѣсяцъ. Въ карты онъ не игралъ, говорить ему доктора запрещали, читать, держа книгу все одною рукой, было неловко. Кончилось тѣмъ, что самъ Семенъ Матвѣичъ послалъ меня къ сыну, по старой памяти, въ качествѣ лектрисы. Тутъ настали незабвенные часы! Я входила къ Мишелю тотчасъ послѣ

обѣда и садилась за круглымъ столикомъ, у полузавѣшеннаго окна. Онъ лежалъ въ небольшой комнатѣ, возлѣ гостиной, у задней стѣны, на широкомъ кожаномъ диванѣ во вкусѣ „имперіи“, съ золотымъ барельефомъ на высокой, прямой спинкѣ; барельефъ этотъ представлялъ свадебную процессію у древнихъ. Блѣдная, слегка завалившаяся голова Мишеля тотчасъ поворачивалась на подушкѣ и обращалась ко мнѣ лицомъ; онъ улыбался, свѣтлѣлъ всѣмъ лицомъ, откидывалъ назадъ свои мягкіе, влажные волосы и говорилъ мнѣ тихимъ голосомъ: „Здравствуйте, моя добрая, моя милая“. Я принималась за книгу — романы Вальтеръ-Скотта были тогда въ славѣ—особенно мнѣ осталось памятнымъ чтеніе *Айвенго*... Какъ голосъ мой невольно звенѣлъ и трепеталъ, когда я передавала рѣчи Ревекки! Вѣдь и во мнѣ текла еврейская кровь, и не походила ли моя судьба на ея судьбу, не ухаживала ли я, какъ она, за больнымъ милымъ человѣкомъ? Всякій разъ, когда я отрывала глаза отъ страницъ книги и поднимала ихъ на него, я встрѣчала его глаза съ тою же тихой и свѣтлой улыбкой всего лица. Говорили мы очень мало: дверь въ гостиную была постоянно отворена и кто-нибудь всегда сидѣлъ тамъ; но когда тамъ затихало, я, сама не знаю почему, переставала читать и опускала книгу на колѣни, и неподвижно глядѣла на Мишеля, и онъ глядѣлъ на меня, и хорошо намъ было обоимъ, и какъ-то радостно и стыдно, и все, все высказывали мы другъ другу тогда, безъ движеній и безъ словъ. Ахъ! наши сердца сходились, шли на-встрѣчу другъ другу, какъ сливаются подземные ключи, невидимо, неслышно... и неотразимо.

— Вы умѣете играть въ шахматы или въ шашки?— спросилъ меня онъ однажды.

— Въ шахматы немного умѣю,— отвѣчала я.

— Ну и прекрасно. Велите принести доску и придвиньте столикъ.

„Я усѣлась возлѣ дивана, а сердце мое такъ и замирало, и не смѣла я взглянуть на Мишеля... А отъ окна, черезъ всю комнату, какъ свободно я глядѣла на него!

„Я стала разставлять шашки... Пальцы мои дрожали.

— Я это... не для того, чтобъ играть съ вами...— проговорилъ вполголоса Мишель, тоже разставляя шашки,—а чтобы вы были ближе ко мнѣ.

„Я ничего не отвѣтила и, не спрося кому начать, ступила пѣшкой... Мишель не отвѣчалъ на мой ходъ... Я посмотрѣла на него. Слегка вытянувъ голову, весь блѣдный, онъ умоляющимъ взоромъ указывалъ мнѣ на мою руку...

„Поняла ли я его—не помню, но что-то мгновенно, вихремъ закружилось у меня въ головѣ... Въ замѣшательствѣ, едва дыша, я взяла ферзь, двинула ею куда-то черезъ всю шашечницу. Мишель быстро наклонился и, поймавъ губами и прижавъ мои пальцы къ доскѣ, началъ цѣловать ихъ безмолвно и жадно... Я не могла, я не хотѣла принять ихъ, я другою рукою закрыла лицо, и слезы, какъ теперь помню, холодныя, но блаженныя... о, какія блаженныя слезы!.. закапали на столикъ одна за одною. Ахъ, я знала, я всѣмъ сердцемъ почувствовала тогда въ чьей власти была моя рука!.. Я знала, что ее держалъ не мальчикъ, увлеченный мгновеннымъ порывомъ, не Донъ-Жуанъ, не военный Ловеласъ, а благороднѣйшій, лучшій изъ людей... и онъ любилъ меня!

— О, моя Сусанна!—послышался мнѣ шопотъ Мишеля:—я никогда не заставлю тебя плакать другими слезами...

„Онъ ошибся... Онъ заставилъ.

„Но къ чему останавливаться на такихъ воспоминаніяхъ... особенно, особенно теперь!

„Мы съ Мишелемъ поклялись принадлежать другъ другу. Онъ зналъ, что Семенъ Матвѣичъ никогда не позволитъ ему жениться на мнѣ и не скрылъ этого отъ меня. Я сама въ этомъ не сомнѣвалась, и я радовалась не тому, что Мишель не лукавилъ, онъ *не могъ* лукавить, а тому, что онъ не старался себя обманывать. Сама я ничего не требовала и пошла бы за нимъ, какъ и куда бы онъ захотѣлъ.—Ты будешь моей женой,—повторялъ онъ мнѣ,—я не Айвенго; я знаю, что не съ леди Ровеной счастье.—Мишель скоро выздоровѣлъ. Я не могла больше ходить къ нему; но все уже было рѣшено между нами. Я уже вся отдалась будущему; я ничего не видѣла вокругъ, точно я плыла по прекрасной, ровной, но стремительной рѣкѣ, окруженная туманомъ. А за нами наблюдали, насъ сторожили. Изрѣдка я замѣчала злые глаза моего вотчима, слышала его гадкій смѣхъ... Но смѣхъ этотъ и глаза тоже какъ-будто выступали изъ тумана, на одинъ мигъ... Я содрогалась, но тотчасъ забывала и опять отдавалась той прекрасной, быстрой рѣкѣ...

„Наканунѣ условленнаго между нами отъѣзда Мишеля (онъ долженъ былъ тайно вернуться съ дороги и увезти меня), я получила отъ него чрезъ его довѣреннаго камердинера записку, въ которой онъ назначилъ мнѣ свиданіе въ половинѣ десятаго часа ночи, въ лѣтней билліардной, большой, низкой комнатѣ, пристроенной къ главному дому со стороны сада. Онъ писалъ мнѣ, что желаетъ окончательно переговорить и условиться со мной. Я уже два раза видѣлась съ Мишелемъ въ билліардной... у меня былъ ключъ отъ наружной

двери. Какъ только пробило половина десятаго, я накинула душегрѣйку на плечи, тихонько вышла изъ флигеля и по скрыпучему снѣгу благополучно добралась до билліардной. Луна, задернутая паромъ, стояла тусклымъ пятномъ надъ самымъ гребнемъ крыши и вѣтеръ свисталъ пискливымъ свистомъ изъ-за угла стѣны. Дрожь пробѣжала по мнѣ, однако я вложила ключъ въ замокъ. Я вошла въ комнату, притворила за собой дверь, обернулась... Темная фигура отдѣлилась отъ одного изъ простѣнковъ, ступила раза два, остановилась...

— Мишель,—прошептала я.

— Мишель по моему приказанію запертъ подъ замокъ, а это я! — отвѣчалъ мнѣ голосъ, отъ котораго сердце у меня такъ и оборвалось...

„Предо мной стоялъ Семенъ Матвѣичъ!

„Я бросилась-было бѣжать, но онъ схватилъ меня за руку.

— Куда? дрянная дѣвчонка! — прошипѣлъ онъ. — Умѣешь къ молодымъ дуракамъ на свиданье ходить, такъ умѣй и отвѣтъ держать!

„Я помертвѣла отъ ужаса, но все порывалась къ двери... Напрасно! Какъ желѣзные крючья впились въ меня пальцы Семена Матвѣича.

— Пустите, пустите меня,—взмолилась я наконецъ.

— Говорятъ вамъ, ни съ мѣста!

„Семенъ Матвѣичъ заставилъ меня сѣсть. Въ полутьмѣ я не могла разглядѣть его лица, я же отворачивалась отъ него, но я слышала, что онъ тяжело дышалъ и скрипѣлъ зубами. Не страхъ чувствовала я и не отчаяніе, а какое-то безсмысленное удивленіе... Пойманная птица, должно быть, такъ замираетъ въ когтяхъ коршуна... да и рука Семена Матвѣича, который все такъ же крѣпко держалъ меня, стискивала меня какъ лапа...

— Ага!—повторялъ онъ:—ага! Вотъ какъ... вотъ до чего... Ну, постой же!

„Я попыталась подняться, но онъ съ такою силой встряхнулъ меня, что я чуть не вскрикнула отъ боли, и бранныя слова, оскорбленія, угрозы полились потокомъ...

— Мишель, Мишель, гдѣ ты, спаси меня,—простонала я.

„Семенъ Матвѣичъ еще разъ встряхнулъ меня... Этотъ разъ я не выдержала... я вскрикнула.

Это, повидимому, подѣйствовало на него. Онъ утихъ немного, выпустилъ мою руку, но остался, гдѣ былъ, въ двухъ шагахъ отъ меня, между мною и дверью.

„Прошло нѣсколько минутъ... Я не шевелилась; онъ тяжело дышалъ попрежнему.

— Сидите смирно,—началъ онъ наконецъ,—и отвѣчайте мнѣ. Докажите мнѣ, что ваша нравственность еще не совсѣмъ испорчена, и что вы въ состояніи внять голосу разсудка. Увлеченіе я еще извинить могу; но упорство закоренѣлое—никогда! Мой сынъ...—Тутъ онъ перевелъ дыханіе. — Михайло Семенычъ обѣщалъ вамъ жениться на васъ? Не правда ли? Отвѣчайте же! Обѣщалъ? а?

„Я, разумѣется, ничего не отвѣчала.

„Семенъ Матвѣичъ чуть-было не вспылилъ опять.

— Я принимаю ваше молчаніе за знакъ согласія,— продолжалъ онъ, погодя немного.—Итакъ, вы задумали быть моею невѣсткой? Прекрасно! Но не говоря уже о томъ, что вы не четырнадцалѣтній ребенокъ и должны же знать, что всѣ молодые балбесы не скупятся на самыя нелѣпыя обѣщанья, лишь бы добиться своихъ цѣлей, не говоря объ этомъ... но неужели же вы могли надѣяться, что я, я, столбовой дворянинъ, Семенъ Матвѣичъ Колтовской, когда-нибудь дамъ мое согласіе на подоб-

ный бракъ! Или вы хотѣли обойтись безъ родительскаго благословенія?.. Хотѣли бѣжать, обвѣнчаться тайно, а потомъ вернуться, комедію разыграть, броситься въ ноги, въ надеждѣ, что старикъ, молъ, разчувствуется... Да отвѣчайте же, чортъ возьми!

„Я только голову наклонила. Убить меня онъ могъ, но заставить говорить... это было не въ его силахъ.

„Онъ немного прошелся взадъ и впередъ.

— Ну, послушайте,—началъ онъ болѣе спокойнымъ голосомъ.—Вы не думайте... не воображайте... я вижу, съ вами надо толковать иначе. Послушайте: я понимаю ваше положеніе. Вы запутаны, растеряны... Придите въ себя. Въ эту минуту я долженъ вамъ казаться извергомъ... тираномъ. Но войдите также и въ мое положеніе: какъ тутъ было мнѣ не вознегодовать, не сказать лишняго? И совсѣмъ тѣмъ я вамъ уже доказалъ, что я не изверг, что и у меня есть сердце. Вспомните, какъ я обошелся съ вами послѣ пріѣзда въ деревню и потомъ, до... до послѣдняго времени... до болѣзни Михаила Семеныча. Я не хочу хвастаться своими благодѣяніями, но мнѣ кажется, одна благодарность должна была удержать васъ отъ того скользкаго пути, на который вы рѣшились ступить!...

„Семенъ Матвѣичъ опять прошелся взадъ и впередъ и, остановившись, потрепалъ меня слегка по рукѣ, по той самой рукѣ, которая еще ныла отъ его насилія и на которой я долго потомъ носила синіе знаки...

— То-то и есть...—заговорилъ онъ снова:—голова... голова у насъ горячая! Не хотимъ мы дать себѣ трудъ подумать, отчета себѣ дать не хотимъ въ чемъ состоитъ наша польза, и гдѣ мы ее искать должны. Вы спросите у меня: гдѣ эта польза? Далеко вамъ ходить нечего... Она, быть можетъ, у васъ подъ руками... Да вотъ хоть

бы я. Какъ родитель, какъ глава, я, конечно, долженъ былъ взыскать... Это моя обязанность. Но я человѣкъ въ то же время, и вы это знаете. Безспорно: я человѣкъ практическій и, конечно, никакой чепухи допустить не могу; ни съ чѣмъ несообразныя надежды надо, конечно, изъ головы выкинуть, потому, какой въ нихъ толкъ? Я ужъ не говорю о безнравственности самого поступка... Вы это все должны понять сами, когда опомнитесь. А я, не хвастаясь скажу, я бы не ограничился тѣмъ, что уже сдѣлалъ для васъ; я всегда готовъ былъ— и готовъ еще теперь, устроить, упрочить ваше благосостояніе, обезпечить васъ вполнѣ, потому что я знаю вамъ цѣну, отдаю справедливость вашимъ талантамъ, вашему уму, да и наконецъ... (Тутъ Семенъ Матвѣичъ слегка пригнулся ко мнѣ)... У васъ такіе глазки, что, признаться... я вотъ старикъ, а совершенно равнодушно видѣть ихъ... я понимаю... это трудно, это дѣйствительно трудно.

„Холодомъ обдало меня отъ этихъ словъ. Я ушамъ своимъ едва повѣрила. Въ первую минуту мнѣ показалось, что Семенъ Матвѣичъ хотѣлъ купить мое отреченіе отъ Мишеля, дать мнѣ „отступного“... Но эти слова! Мои глаза начинали привыкать къ темнотѣ, и я могла различить лицо Семена Матвѣича. Оно улыбалось, это старое лицо, а самъ онъ все расхаживалъ маленькими шагами, сѣменилъ предо мною...

— Ну, такъ какъ же?—спросилъ онъ наконецъ,— нравится вамъ мое предложеніе?

— Предложеніе?.. — повторила я невольно... я рѣшительно ничего не понимала.

„Семенъ Матвѣичъ засмѣялся... дѣйствительно засмѣялся своимъ противнымъ, тонкимъ смѣхомъ.

— Конечно! — воскликнулъ онъ: — вы всѣ молодыя

дѣвки...—онъ поправился:—дѣвицы... дѣвицы... вы всѣ объ одномъ только мечтаете: вамъ все молодыхъ подавай! Безъ любви вы жить не можете! Конечно. Что говорить! Молодость дѣло хорошее! Но развѣ одни молодые любить умѣютъ?.. У иного старика сердце еще горячѣе, и ужъ коли старикъ кого полюбитъ, такъ ужъ это — каменная скала! Это на вѣкъ! Не то что эти безбородые лоботрясы, у которыхъ только вѣтеръ въ головахъ ходитъ! Да, да; старичками брезгать не слѣдуетъ! Они могутъ сдѣлать многое! Только взяться за нихъ надо умѣючи! Да... да! И ласкать старички умѣютъ тоже, хи-хи-хи...— Семенъ Матвѣичъ опять засмѣялся.—Да вотъ, позвольте... Вашу ручку... для пробы... только такъ... для пробы...

„Я вскочила со стула и изо всей силы толкнула его въ грудь. Онъ отшатнулся, онъ издалъ какой-то дряхлый, испуганный звукъ, онъ чуть не упалъ. На человѣческомъ языкѣ нѣтъ словъ, чтобы выразить до какой степени онъ мнѣ показался гнусенъ и ничтожно низокъ. Всякое подобіе страха исчезло во мнѣ.

— Подите прочь, презрѣнный старикъ,—вырвалось у меня изъ груди,—подите прочь, г. Колтовской, столбовой дворянинъ! И во мнѣ течетъ ваша кровь, кровь Колтовскихъ, и я проклинаю тотъ день и часъ, когда она потекла по моимъ жиламъ!

— Что?.. Что ты говоришь?.. Что?—лепеталъ задыхаясь, Семенъ Матвѣичъ.—Ты смѣешь... въ ту минуту, когда я тебя засталъ... когда ты шла къ Мишкѣ... а? а? а?

„Но я уже не могла остановиться... Что-то безпощадно отчаянное проснулось во мнѣ.

— И вы, вы, братъ... братъ вашего брата, вы дерзнули, вы рѣшились... За кого же вы приняли меня? И неужели же вы такъ слѣпы, что не могли давно за-

мѣтить то отвращеніе, которое вы возбуждаете во мнѣ?.. Вы смѣли употребить слово: предложеніе!.. Выпустите меня сейчасъ, сію минуту.

„Я направилась къ двери.

— А, вотъ что! вотъ какъ! вотъ когда она заговорила! — запищалъ Семенъ Матвѣичъ въ изступленіи злобы, но видимо не рѣшаясь подойти ко мнѣ... — Погоди же! Господинъ Ратчъ, Иванъ Демьянычъ! пожалуйте сюда!

„Дверь билліардной, противуположная той, къ которой я приближалась, раскрылась настежь и, съ зажженнымъ канделябромъ въ каждой рукѣ? появился мой вотчимъ. Освѣщенное съ двухъ сторонъ свѣчами, его круглое, красное лицо сіяло торжествомъ удовлетворенной мести, лакейскою радостью удачной услуги... О, эти гадкіе бѣлые глаза! когда я перестану ихъ видѣть!

— Извольте тотчасъ взять эту дѣвушку, — воскликнулъ Семенъ Матвѣичъ, обращаясь къ моему вотчиму и повелительно указывая на меня дрожащей рукой. — Извольте отвести ее къ себѣ въ домъ и запереть на ключъ, на замокъ... чтобъ она... пальцемъ пошевельнуть не могла, чтобы муха къ ней не проскочила! Впредь до моего приказанія! Окна забить, если нужно! Ты отвѣчаешь мнѣ за нее головой!

„Г-нъ Ратчъ поставилъ канделябры на билліардъ, поклонился въ поясъ Семену Матвѣичу, и слегка переваливаясь и злорадно улыбаясь, направился ко мнѣ. Котъ, должно быть, такъ подходитъ къ мыши, которой некуда спастись. Вся моя отвага тотчасъ меня покинула. Я знала, этотъ человѣкъ былъ въ состояніи... прибить меня. Я задрожала; да; о, позоръ! о, стыдъ! я задрожала.

— Ну-съ, сударыня, — проговорилъ г. Ратчъ: — извольте-съ идти-съ.

„Онъ, не спѣша, взялъ меня за руку выше локтя... Онъ понималъ, что я сопротивляться не буду. Я сама подалась впередъ къ двери; въ эту минуту я думала только объ одномъ: какъ бы поскорѣе избавиться отъ присутствія Семена Матвѣича.

„Но гадкій старикъ подскочилъ къ намъ сзади, и Ратчъ остановилъ меня и повернулъ меня лицомъ къ своему патрону.

— А!—закричалъ тотъ и потрясъ кулакомъ:—а! я братъ... моего брата! Узы крови? а? А за брата, за двоюроднаго, выйти замужъ можно? Можно? а? Веди ее, ты!—обратился онъ къ моему вотчиму.—И помни: держать ухо востро! За малѣйшее сообщеніе съ нею—казни не будетъ достойной... Веди!

„Г-нъ Ратчъ привелъ меня въ мою комнату. Идя по двору, онъ ничего не сказалъ мнѣ, все только смѣялся про себя, безъ звука. Онъ заперъ ставни, двери и тутъ же, уходя окончательно и кланяясь мнѣ въ поясъ, какъ Семену Матвѣичу, прыснулъ, разразился тяжелымъ, восторженнымъ хохотомъ. „Покойной ночи царевнѣ Меликитрисѣ, — удушливо простоналъ онъ: — не поймала Митрофана-Царевича! Жаль! Мысль была въ своемъ родѣ не глупая! Впередъ наука: не заводить корреспонденцій! Хо-хо-хо! Какъ, однако, все славно обдѣлалось!“ Онъ вышелъ и вдругъ высунулъ голову изъ-за двери. „Что? Вѣдь не *забылъ* я вамъ? Ась? Слово сдержалъ? Хо-хо!“ Ключъ щелкнулъ въ замкѣ. Я вздохнула свободно. Я боялась, какъ бы онъ мнѣ рукъ не связалъ... но онѣ были мои, — онѣ были свободны! Я мгновенно сдернула шелковый шнурокъ со спальняго капота, сдѣлала петлю, приблизила ее къ шеѣ, но тотчасъ же отбросила шнурокъ въ сторону. „Не потѣшу я васъ!“ сказала я громко. „И въ самомъ дѣлѣ? Что за безуміе?

Могу ли я располагать моею жизнью безъ вѣдома Мишеля, моею жизнью, которую сама ему отдала? Нѣтъ, мои злодѣи! Нѣтъ! Дѣло еще не выиграно вами! Онъ меня спасетъ, онъ вырветъ меня изъ этого ада, онъ... мой Мишель!"

„Но тутъ я вспомнила, что онъ въ заключеніи, такъ же какъ и я,— и я бросилась лицомъ на постель, зарыдала.... зарыдала.... И только мысль, что мой мучитель, быть-можетъ, стоитъ за дверью и прислушивается, и торжествуетъ, только эта моя мысль заставила меня поглотить мои слезы....

„Я утомлена. Я пишу съ утра, а теперь вечеръ; оторвавшись разъ отъ этого листа бумаги, я уже не буду въ состояніи приняться снова за перо.... Скорѣй, скорѣй къ концу! Да и притомъ, останавливаться на безобразіяхъ, которыя послѣдовали за тѣмъ страшнымъ днемъ, свыше силъ моихъ!

„Меня черезъ сутки перевезли въ закрытомъ возкѣ въ отдѣльную дворовую избу, окружили мужиками караульщиками, меня держали взаперти цѣлыя шесть недѣль! Я ни минуты не была одна.... Уже впослѣдствіи я узнала, что вотчимъ мой съ самаго пріѣзда Мишеля приставилъ и къ нему, и ко мнѣ шпіоновъ, что онъ подкупилъ слугу, который доставилъ мнѣ записку отъ Мишеля; узнала я также, что между имъ и отцомъ его произошла на слѣдующее утро ужасная, возмутительная сцена.... Отецъ его проклялъ. Мишель съ своей стороны поклялся, что ноги его не будетъ въ родительскомъ домѣ, и уѣхалъ въ Петербургъ. Но ударъ, нанесенный мнѣ моимъ вотчимомъ, отразился на немъ самомъ. Семенъ Матвѣичъ объявилъ ему, что оставаться ему въ деревнѣ, управлять имѣньемъ, болѣе невозможно: видно, неловкое усердіе не прощается, и надо же было взыскать на комъ-

нибудь за происшедшій *скандалъ*. Впрочемъ, Семенъ Матвѣичъ щедро наградилъ г-на Ратча; онъ далъ ему средства перебраться въ Москву и поселиться тамъ. Предъ отъѣздомъ въ Москву меня перевели обратно во флигель, но по прежнему держали подъ строжайшимъ надзоромъ. Потеря „тепленькаго“ мѣстечка, котораго онъ лишился „по моей милости“, еще увеличила злобу моего вотчима противъ меня.

— И кого удивить вздумали?—говаривалъ онъ, чуть не фыркая отъ негодованія:—право! Старичокъ, конечно, погорячился, поспѣшилъ, ну, и попалъ въ просакъ; теперь, конечно, самолюбіе его пострадало, бѣду теперь поправить нельзя. Подождать бы денька два, и все бы какъ по маслу пошло; вы бы теперь не сидѣли на сухоѣденіи, и я бы остался чѣмъ былъ! То-то и есть; длиненъ у бабъ волосъ... а умъ коротокъ! Ну, да ладно; я свое возьму, и тотъ голубчикъ (онъ намекалъ на Мишеля) меня не забудетъ.

„Я, разумѣется, должна была сносить въ молчаніи всѣ эти оскорбленія. И Семена Матвѣича я уже больше ни разу не видѣла. Разлука съ сыномъ потрясла и его. Почувствовалъ ли онъ раскаяніе или,— что́ гораздо вѣроятнѣе, — желалъ ли онъ навсегда приковать меня къ моему дому, къ моей семьѣ — къ моей семьѣ! — только онъ назначилъ мнѣ пенсію, которая должна была поступать въ руки моего вотчима и выдаваться мнѣ до тѣхъ поръ, пока я выйду замужъ... Это унизительное подаяніе, эту пенсію я до сихъ поръ получаю... то-есть, г-нъ Ратчъ получаетъ ее за меня...

„Поселились мы въ Москвѣ. Клянусь памятью моей бѣдной матери, двухъ дней, двухъ часовъ я бы не осталась съ моимъ вотчимомъ, *попавши въ городъ*... Я бы ушла, не зная куда... въ полицію, бросилась бы въ ноги

генералъ-губернатору, сенаторамъ, я не знаю, что́ бы я сдѣлала, если бы, въ самую минуту отъѣзда изъ деревни, бывшей моей горничной не удалось передать мнѣ письмо отъ Мишеля. О, это письмо! Сколько разъ я перечитывала каждую строку, сколько разъ покрыла его поцѣлуями! Мишель умолялъ меня не падать духомъ, надѣяться, быть увѣренною въ его неизмѣнной любви; онъ клялся, что кромѣ меня никому принадлежать не будетъ, онъ называлъ меня своей женой, онъ обѣщалъ устранить всѣ препятствія, онъ рисовалъ картину нашего будущаго, онъ просилъ меня объ одномъ: потерпѣть, подождать немного... И я рѣшилась ждать и терпѣть. Ахъ, на что́ бы не согласилась я, чего бы не вынесла, чтобы только исполнить его волю! Это письмо стало моею святынею, моею путеводною звѣздой, моимъ якоремъ. Бывало, мой вотчимъ начнетъ укорять, оскорблять меня, я тихонько положу руку на грудь (я носила письмо Мишеля зашитымъ въ ладонку) и только улыбнусь. И чѣмъ больше бѣсится и бранится г-нъ Ратчъ, тѣмъ мнѣ легче становится и слаще... Я наконецъ видѣла по его глазамъ, что онъ начиналъ думать, не схожу ли я съ ума... Вслѣдъ за тѣмъ первымъ письмомъ пришло второе, еще болѣе исполненное надеждъ... Оно говорило о близкомъ свиданіи.

„Ахъ, вмѣсто этого свиданія настало одно утро... И вижу я, входитъ ко мнѣ г-нъ Ратчъ,—и опять торжество, злорадное торжество на его лицѣ,—и въ рукахъ его листъ *Инвалида*, и тамъ извѣстіе о смерти гвардіи ротмистра Михаила Колтовского... Исключенъ изъ списковъ.

„Что́ могу я прибавить? Я осталась жива и продолжала жить у г-на Ратча. Онъ ненавидѣлъ меня по-прежнему, больше прежняго,—онъ слишкомъ разоблачилъ

предо мной свою черную душу, онъ не могъ мнѣ это простить. Но мнѣ было все равно. Я стала какою-то безчувственною; моя собственная судьба меня уже не занимала. Вспоминать о *немъ*, вспоминать о *немъ!* другого занятія, другихъ радостей у меня не было. Мой бѣдный Мишель скончался съ моимъ именемъ на устахъ... Мнѣ это сообщилъ одинъ преданный ему человѣкъ, который вмѣстѣ съ нимъ пріѣзжалъ въ деревню. Вотчимъ мой въ томъ же году женился на Элеонорѣ Карповнѣ. Вскорѣ умеръ и Семенъ Матвѣичъ, подтвердивъ и увеличивъ въ завѣщаніи своемъ пожалованную мнѣ пенсію... Въ случаѣ моей смерти она должна перейти къ г-ну Ратчу...

„Минуло два, три года... прошло шесть лѣтъ, семь лѣтъ... Жизнь уходила, утекала... а я только глядѣла, какъ утекала она. Такъ, бывало, въ дѣтствѣ, устроишь на берегу ручья изъ песку сажалку и плотину выведешь, и всячески стараешься, чтобы вода не просочилась, не прорвалась. Но вотъ она прорвалась наконецъ, и бросишь ты всѣ свои хлопоты, и весело тебѣ станетъ смотрѣть, какъ все накопленное тобою убѣгаетъ до капли...

„Такъ жила я, такъ существовала, пока, наконецъ, новый, уже неожиданный лучъ тепла и свѣта“.... . .

. . . . . .

. На этомъ словѣ останавливалась рукопись; послѣдующіе листы были оторваны, и нѣсколько строкъ, оканчивавшихъ фразу, зачеркнуты и перемараны чернилами.

XVIII.

Чтеніе этой тетради до того меня смутило, впечатлѣніе, произведенное посѣщеніемъ Сусанны, было такъ велико, что я не могъ уснуть всю ночь и рано поутру

послалъ съ эстафетой къ Фустову письмо, въ которомъ заклиналъ его вернуться какъ можно скорѣе въ Москву, такъ какъ его отсутствіе могло имѣть самыя тяжелыя послѣдствія. Я намекнулъ ему тоже на свиданіе съ Сусанной, на тетрадку, которую она оставила въ моихъ рукахъ. Отправивъ письмо, я весь тотъ день уже не выходилъ изъ дому и все размышлялъ о томъ, что̀ должно было происходить тамъ, у Ратчей. Пойти самому туда я не рѣшался. Я не могъ однако не замѣтить, что тетушка моя находилась въ постоянной тревогѣ; она приказывала курить чуть не каждую минуту и раскладывала пасьянсъ: „Путешественникъ“, извѣстный тѣмъ, что никогда не выходитъ! Визитъ незнакомой дамы, да еще въ такую позднюю пору, не остался для нея тайной: ея воображенью тотчасъ представилась зіяющая бездна, на краю которой я стоялъ, и она то и дѣло вздыхала, охала и произносила въ полголоса французскія сентенціи, почерпнутыя ею изъ рукописной книжечки подъ заглавіемъ: *Extraits de lecture*, а вечеромъ на моемъ ночномъ столикѣ очутилось сочиненіе Де-Жерандо, развернутое на главѣ: *О вредѣ страстей*. Сочиненіе это было занесено въ мою комнату, разумѣется, по приказанію тетушки, старшею ея компаньонкой, которую въ домѣ прозывали Амишкой, вслѣдствіе ея сходства съ маленькимъ пуделемъ того же имени, дѣвицей очень сантиментальною и даже романтическою, но перезрѣлою. Весь слѣдующій день прошелъ въ томительномъ ожиданіи пріѣзда Фустова, письма отъ него, извѣстій изъ дома Ратчей... хотя съ какой стати было имъ посылать ко мнѣ? Скорѣй Сусанна могла предполагать, что я посѣщу ее... Но у меня рѣшительно духа не хватало увидать ее, не поговоривъ сперва съ Фустовымъ. Я припоминалъ всѣ выраженья моего письма къ нему... Ка-

жется, они были довольно сильны; наконецъ, ужъ поздно вечеромъ, онъ явился.

XIX.

Онъ вошелъ ко мнѣ въ комнату своею обычною, быстрою, но неторопливою походкой. Лицо его мнѣ показалось блѣднымъ и, являя слѣды дорожной усталости, выражало недоумѣніе, любопытство, недовольство — чувства, въ обычное время ему мало извѣстныя. Я бросился къ нему, обнялъ его, горячо поблагодарилъ его за то, что онъ меня послушался, и передавъ въ двухъ словахъ мой разговоръ съ Сусанной,—вручилъ ему ея тетрадку. Онъ отошелъ къ окну, къ тому самому окну, на которомъ, два дня тому назадъ, сидѣла Сусанна, и не сказавъ мнѣ ни слова, принялся читать. Я тотчасъ удалился въ противоположный уголъ комнаты и взялъ для контенанса книгу; но, признаюсь, все время глядѣлъ украдкой черезъ край переплета на Фустова. Сначала онъ читалъ довольно спокойно, и все щипалъ лѣвою рукой концы волосиковъ на губѣ; потомъ онъ опустилъ руку, нагнулся впередъ и уже не шевельнулся болѣе. Глаза его такъ и бѣгали по строкамъ, и ротъ слегка раскрылся. Вотъ онъ кончилъ тетрадку, перевернулъ ее, посмотрѣлъ кругомъ, задумался, и снова принялся ее читать, и перечелъ ее всю во второй разъ отъ начала до конца. Потомъ онъ всталъ, положилъ тетрадку въ карманъ и направился-было къ двери, однако вернулся и остановился посреди комнаты.

— Ну, что ты думаешь?—началъ я, не дождавшись, чтобъ онъ заговорилъ.

— Я виноватъ передъ нею, — произнесъ Фустовъ

глухо. — Я поступилъ... необдуманно, непростительно, дико. Я повѣрилъ этому... Виктору.

— Какъ!—воскликнулъ я: — тому самому Виктору, котораго ты такъ презираешь? Да что онъ могъ сказать тебѣ?

Фустовъ скрестилъ руки, и сталъ ко мнѣ бокомъ. Ему было совѣстно, я это видѣлъ.

— Ты помнишь,—промолвилъ онъ не безъ нѣкотораго усилія, — этотъ... Викторъ упомянулъ о... о пенсіи. Это несчастное слово засѣло во мнѣ. Оно всему причиной. Я сталъ его разспрашивать... Ну, и онъ...

— Что же онъ?

— Онъ сказалъ мнѣ, что тотъ старикъ... какъ бишь его?.. Колтовской, назначилъ эту пенсію Сусаннѣ, потому что... оттого... ну, словомъ, въ видѣ вознагражденія.

Я всплеснулъ руками.

— И ты повѣрилъ?

Фустовъ наклонилъ голову.

— Да! Я повѣрилъ... Онъ также сказалъ, что и съ молодымъ... Словомъ, мой поступокъ не имѣетъ оправданья.

— И ты удалился, чтобы все перервать?

— Да; это лучшее средство... въ такихъ случаяхъ. Я поступилъ дико, дико, — подхватилъ онъ.

Мы оба помолчали. Каждый изъ насъ чувствовалъ, что другому было стыдно; но мнѣ было легче: я стыдился не за себя.

XX.

— Я бы теперь этому Виктору всѣ кости переломалъ, продолжалъ Фустовъ, стиснувъ зубы, — если бы самъ не сознавалъ себя виноватымъ. Я теперь понимаю,

почему вся эта штука подведена была: съ замужествомъ Сусанны они лишались ея пенсіи... Подлецы!

Я взялъ его за руку.

— Александръ, — спросилъ я, — ты былъ у ней?

— Нѣтъ; я прямо съ дороги къ тебѣ. Я пойду завтра... завтра рано. Этого нельзя такъ оставить. Ни за что!

— Да ты... любишь ее, Александръ?

Фустовъ какъ будто обидѣлся.

— Конечно, я ее люблю. Я очень къ ней привязанъ.

— Она прекрасная, честная дѣвушка! — воскликнулъ я.

Фустовъ нетерпѣливо топнулъ ногою.

— Да что ты воображаешь? Я готовъ былъ жениться на ней, — она же крещеная — я и теперь готовъ на ней жениться, я уже думалъ объ этомъ, хотя она старше меня.

Въ это мгновенье мнѣ вдругъ показалось, что на окнѣ сидитъ, склонившись на руки, блѣдная женская фигура. Свѣчи нагорѣли: въ комнатѣ было темно. Я вздрогнулъ, вглядѣлся пристальнѣе, и ничего, конечно, не увидалъ на подоконникѣ, но какое-то странное чувство, смѣшеніе ужаса, тоски, сожалѣнія охватило меня.

— Александръ! — началъ я съ внезапнымъ увлеченіемъ: — прошу тебя, умоляю тебя, ступай сейчасъ къ Ратчамъ, не откладывай до завтра! Мнѣ внутренній голосъ говоритъ, что тебѣ непремѣнно должно сегодня же увидаться съ Сусанной!

Фустовъ пожалъ плечами.

— Что ты это, помилуй! Теперь одиннадцатый часъ, у нихъ, вѣроятно, всѣ уже спятъ въ домѣ.

— Все равно... Ступай, ради Бога! У меня есть

предчувствіе... Пожалуйста, послушайся меня! Ступай сейчасъ, возьми извощика...

— Ну, что за вздоръ!—хладнокровно возразилъ Фустовъ: — съ какой стати я пойду теперь? завтра утромъ я тамъ буду, и все разъяснится.

— Но, Александръ, вспомни, она говорила о томъ, что она умретъ, что ты ея не застанешь... И если-бъ ты видѣлъ ея лицо! Подумай, представь, чтобы рѣшиться идти ко мнѣ... чего ей стоило...

— У ней восторженная голова,—промолвилъ Фустовъ, который, повидимому, снова вполнѣ овладѣлъ собою.— Всѣ молодыя дѣвушки такъ... на первыхъ порахъ. Повторяю, завтра все придетъ въ порядокъ. Пока прощай. Я усталъ, да и тебѣ спать хочется.

Онъ взялъ фуражку и пошелъ вонъ изъ комнаты.

— Но ты обѣщаешь тотчасъ придти сюда и все сказать мнѣ?—крикнулъ я ему вслѣдъ.

— Обѣщаю... Прощай!

Я легъ въ постель, но на сердцѣ у меня было неспокойно, и я досадовалъ на моего друга. Я заснулъ поздно, и видѣлъ во снѣ будто мы съ Сусанной бродимъ по какимъ-то подземнымъ сырымъ переходамъ, лазимъ по узкимъ, крутымъ лѣстницамъ, и все глубже и глубже спускаемся внизъ, хотя намъ непремѣнно слѣдуетъ выбраться вверхъ, на воздухъ, и кто-то все время безпрестанно зоветъ насъ, однообразно и жалобно.

XXI.

Чья-то рука легла на мое плечо и нѣсколько разъ меня толкнула... Я открылъ глаза и, при слабомъ свѣтѣ одинокой свѣчи, увидѣлъ предъ собою Фустова. Онъ испу-

галъ меня. Онъ качался на ногахъ; лицо его было желто, почти одного цвѣта съ волосами; губы отвисли, мутные глаза глядѣли безсмысленно въ сторону. Куда дѣвался ихъ постоянно-ласковый и благосклонный взоръ? У меня былъ двоюродный братъ, который отъ падучей болѣзни впалъ въ идіотизмъ... Фустовъ походилъ на него въ эту минуту.

Я поспѣшно приподнялся.

— Что́ такое? Что́ съ тобою? Господи!

Онъ ничего не отвѣчалъ.

— Да что̀ случилось? Фустовъ? Говори же! Сусанна?..

Фустовъ слегка встрепенулся.

— Она...—началъ онъ сиплымъ голосомъ и умолкъ.

— Что́ съ нею? Ты ее видѣлъ.

Онъ уставился на меня.

— Ея ужъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Совсѣмъ нѣтъ. Она умерла.

Я вскочилъ съ постели.

— Какъ умерла! Сусанна? Умерла?

Фустовъ опять отвелъ глаза въ сторону.

— Да, умерла; въ полночь.

„Онъ рехнулся!“ мелькнуло у меня въ головѣ.

— Въ полночь! Да теперь который часъ?

— Теперь восемь часовъ утра. Мнѣ прислали сказать. Ее завтра хоронятъ.

Я схватилъ его за руку.

— Александръ, ты не бредишь? Ты въ своемъ умѣ?

— Я въ своемъ умѣ, — отвѣчалъ онъ. — Я, какъ узналъ это, сейчасъ отправился къ тебѣ.

Сердце во мнѣ болѣзненно окаменѣло, какъ это всегда бываетъ при убѣжденіи въ невозвратно совершившейся бѣдѣ.

— Боже мой! Боже мой! Умерла! — твердилъ я. — Какъ это возможно! Такъ внезапно! Или, можетъ быть, она сама лишила себя жизни?

— Не знаю, — проговорилъ Фустовъ. — Ничего не знаю. Мнѣ сказали: въ полночь скончалась. И завтра хоронить будутъ.

„Въ полночь!“ подумалъ я... „Стало-быть, она была еще жива вчера, когда она мнѣ почудилась на окнѣ, когда я умолялъ его бѣжать къ ней“...

— Она была еще жива вчера, когда ты посылалъ меня къ Ивану Демьянычу, — промолвилъ Фустовъ, словно угадавъ мою мысль.

„Какъ же мало онъ зналъ ее!“ подумалъ я опять. „Какъ мало мы оба ее знали! Восторженная голова, говорилъ онъ, всѣ молодыя дѣвушки такъ... А въ ту самую минуту она, быть можетъ, подносила къ губамъ... Возможно-ли любить кого-нибудь и такъ грубо въ немъ ошибаться?“

Фустовъ неподвижно стоялъ предъ моею кроватью, съ повисшими руками, какъ виноватый.

XXII.

Я наскоро одѣлся.

— Что же ты намѣренъ теперь дѣлать, Александръ? — спросилъ я.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ недоумѣньемъ, какъ бы дивясь нелѣпости моего вопроса. И въ самомъ дѣлѣ, что было дѣлать?

— Ты, однако, не можешь не пойти къ нимъ, — началъ я. — Ты долженъ узнать, какъ это случилось; тутъ, можетъ быть, преступленіе скрывается. Отъ этихъ лю-

дей всего ожидать слѣдуетъ... Это все на чистую воду вывести слѣдуетъ. Вспомни, что̀ стоитъ въ *ея* тетрадкѣ: пенсія прекращается въ случаѣ замужества, а въ случаѣ смерти *переходитъ* къ Ратчу. Во всякомъ случаѣ, послѣдній долгъ отдать надо, поклониться праху!

Я говорилъ Фустову какъ наставникъ, какъ старшій братъ. Среди всего этого ужаса, горя, изумленія, какое-то невольное чувство превосходства надъ Фустовымъ внезапно проявилось во мнѣ... Отъ того-ли, что я видѣлъ его подавленнымъ сознаньемъ своей вины, потерявшимся, уничтоженнымъ; отъ того-ли, что несчастье, поразивъ человѣка, почти всегда его роняетъ, спускаетъ его ниже въ мнѣніи другихъ — „стало, молъ, ты плохъ, коли не умѣлъ увернуться!“ — Господь вѣдаетъ! Только Фустовъ мнѣ казался почти ребенкомъ, и жалко было мнѣ его, и понималъ я необходимость строгости. Я протягивалъ ему руку сверху внизъ. Одно лишь женское сожалѣніе не идетъ сверху внизъ.

Но Фустовъ продолжалъ глядѣть на меня тупо и дико, — мой авторитетъ, очевидно, не дѣйствовалъ на него,—и на мой вторичный вопросъ: „Вѣдь ты пойдешь къ нимъ?“ отвѣчалъ — „нѣтъ, не пойду“.

— Какъ же это, помилуй! Неужели ты не захочешь самъ узнать, разспросить: какъ, что̀? Можетъ быть она оставила письмо... документъ какой-нибудь... помилуй!

Фустовъ покачалъ головой.

— Я не могу пойти туда, — промолвилъ онъ. — Я затѣмъ и пришелъ къ тебѣ, чтобы попросить тебя... вмѣсто меня... А я не могу... не могу...

Фустовъ вдругъ присѣлъ къ столу, закрылъ лицо обѣими руками и зарыдалъ горько.

— Ахъ, ахъ, — твердилъ онъ сквозь слезы, — ахъ, бѣдная... бѣдняжка... я лю... я любилъ ее... ахъ, ахъ!

Я стоялъ возлѣ него, и долженъ сознаться, никакого участія не возбуждали во мнѣ эти безспорно искреннія рыданья; я только удивлялся тому, что Фустовъ могъ *такъ* плакать, и мнѣ показалось, что я *теперь* понялъ какой онъ маленькій человѣкъ, и какъ я, на его мѣстѣ, поступилъ бы совсѣмъ иначе. Вотъ и подите послѣ этого! Если бы Фустовъ остался совершенно спокоенъ, я, быть можетъ, возненавидѣлъ бы его, возымѣлъ бы къ нему отвращеніе, но онъ не упалъ бы въ моемъ мнѣніи... *Престижъ* бы его сохранился, Донъ-Жуанъ остался бы Донъ-Жуаномъ! Очень поздно въ жизни—и только послѣ многихъ опытовъ — научается человѣкъ, при видѣ дѣйствительнаго паденія или слабости собрата, сочувствовать ему и помогать ему безъ тайнаго самоуслажденія собственною добродѣтелью и силой, а напротивъ, со всяческимъ смиреніемъ и пониманіемъ естественности, почти неизбѣжности вины!

XXIII.

Я очень храбро и рѣшительно посылалъ Фустова къ Ратчамъ, но когда самъ я къ нимъ отправился часовъ въ двѣнадцать (Фустовъ ни за что не согласился идти со мною и только просилъ меня отдать ему подробный отчетъ во всемъ), когда изъ-за поворота переулка издали глянулъ на меня ихъ домъ съ желтоватымъ пятномъ пригробной свѣчи въ одномъ изъ оконъ, несказанный страхъ стѣснилъ мое дыханіе, я бы охотно вернулся назадъ... Однако я преодолѣлъ себя и вошелъ въ переднюю. Въ ней пахло ладономъ и воскомъ; розовая крыша гроба, обитая серебрянымъ позументомъ, стояла въ углу, прислоненная къ стѣнѣ. Въ одной изъ сосѣднихъ комнатъ,

въ столовой, гудѣло, какъ залетѣвшій шмель, однообразное бормотанье дьячка. Изъ гостиной выглянуло заспанное лицо служанки; промолвивъ вполголоса: „поклониться пришли?“ она указала на дверь столовой. Я вошелъ. Гробъ стоялъ къ дверямъ головой; черные волосы Сусанны подъ бѣлымъ вѣнчикомъ, надъ приподнятою бахромой подушки, первые бросились мнѣ въ глаза. Я зашелъ сбоку, перекрестился, поклонился въ землю, взглянулъ... Боже! какой горестный видъ! Несчастная! даже смерть ея не пожалѣла; не придала ей — не говорю уже красоты — но даже той тишины, умиленной и умилительной тишины, которая такъ часто встрѣчается на чертахъ усопшихъ. Маленькое, темное, почти коричневое, лицо Сусанны напоминало лики на старыхъ-старыхъ образахъ, и какое выраженіе было на этомъ лицѣ! Такое выраженіе, какъ будто она собралась крикнуть отчаяннымъ крикомъ, да такъ и замерла, не произнеся звука... даже морщинка между бровями не изгладилась, а пальцы на рукахъ были подвернуты и сжаты. Я невольно отвелъ взоръ, но погодя немного, я заставилъ себя поглядѣть, внимательно и долго поглядѣть на нее. Жалость наполнила мою душу, и не одна только жалость. „Эта дѣвушка умерла насильственною смертью“, рѣшилъ я про себя, „это несомнѣнно“. Пока я стоялъ и глядѣлъ на покойницу, дьячекъ, который, при входѣ моемъ, возвысилъ-было голосъ и произнесъ нѣсколько членораздѣльныхъ звуковъ, снова загудѣлъ и зѣвнулъ раза два. Я вторично поклонился въ землю и вышелъ въ переднюю. На порогѣ гостиной уже ожидалъ меня г. Ратчъ, одѣтый въ пестрый бухарскій шлафрокъ и, поманивъ меня къ себѣ рукою, повелъ меня въ свой кабинетъ, я чуть-было не сказалъ, въ свою нору. Кабинетъ этотъ, мрачный, тѣсный, весь пропитанный кислымъ запахомъ вакштафа,

возбуждалъ въ умѣ сравненіе съ жилищемъ волка или лисицы.

XXIV.

— Разрывъ! разрывъ тамъ этихъ покрововъ... оболочки... Вы знаете... покрововъ!—заговорилъ г-нъ Ратчъ, какъ только заперъ дверь.—Такое несчастіе! Еще вчера вечеромъ нельзя было ничего замѣтить, и вдругъ р-р-р-разъ! трахъ! пополамъ! и конецъ! Вотъ уже точно: „heute roth, morgen todt!“ Правда, это должно было ожидать: я это всегда ожидалъ, мнѣ въ Тамбовѣ полковой докторъ Галимбовскій, Викентій Казиміровичъ... Вы навѣрное слыхали о немъ... отличнѣйшій практикъ, спеціалистъ!

— Въ первый разъ слышу это имя,—замѣтилъ я.

— Ну, все равно; такъ вотъ онъ, — продолжалъ господинъ Ратчъ, сперва тихимъ голосомъ, а потомъ все громче и громче и, къ удивленію моему, съ замѣтнымъ нѣмецкимъ акцентомъ,—онъ меня всегда предупреждалъ: „Эй! Иванъ Демьянычъ! эй! другъ мой, берегитесь! У вашей падчерицы органическій недостатокъ въ сердцѣ—hypertrophia cordialis! Чуть что, бѣда! Сильныхъ ощущеній пуще всего избѣгать должно... На разсудокъ должно дѣйствовать“... А помилуйте, развѣ можно съ молодою дѣвицей!.. на разсудокъ дѣйствовать? Ха... ха... ха...

Господинъ Ратчъ чуть-было не засмѣялся, по старой привычкѣ, но во-время спохватился, и перевелъ начатый звукъ на кашель.

Это господинъ Ратчъ говорилъ! послѣ всего того, что я узналъ о немъ!.. Я почелъ однако, своею обязанностью спросить его: былъ-ли призванъ докторъ?

Господинъ Ратчъ даже подпрыгнулъ.

— Конечно, былъ... Двоихъ призывали, но уже все было совершено—abgemacht! И вообразите: оба словно столковались (господинъ Ратчъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать: стакнулись): разрывъ! разрывъ сердца! Такъ въ одно слово и закричали. Предлагали анатомію; но я уже... вы понимаете, не согласился.

— И завтра похороны?—спросилъ я.

— Да, да, завтра, завтра мы хоронимъ нашу голубицу! Выносъ изъ дома будетъ ровно въ одиннадцать часовъ по полуночи... Отсюда въ церковь Николы на Курьихъ Ножкахъ... Знаете? Странныя какія имена у вашихъ русскихъ церквей! Потомъ на послѣдній покой въ матушкѣ землѣ сырой! Вы пожалуете? Мы недавно знакомы, но смѣю сказать, любезность вашего нрава и возвышенность чувствъ...

Я поспѣшилъ кивнуть головой.

— Да, да, да,—вздохнулъ господинъ Ратчъ.—Это... это ужъ точно, какъ говорится, молнія на свѣтломъ небеси! Ein Blitz aus heiterem Himmel!

— И ничего Сусанна Ивановна не сказала передъ смертью, ничего не оставила?

— Ничего рѣшительно! Ни синь-пороха! Ни единаго клочка бумаги! Помилуйте, когда меня къ ней позвали, когда разбудили меня—представьте! она уже окоченѣла! Очень, чувствительно было для меня; очень она насъ всѣхъ огорчила! Александръ Давыдычъ, чай, тоже пожалѣетъ какъ узнаетъ.,. Говорятъ, его въ Москвѣ нѣтъ?

— Онъ точно уѣзжалъ на нѣсколько дней...—началъ было я.

— Викторъ Ивановичъ жалуются, что саней имъ долго не закладываютъ,—перебила меня вошедшая служанка, та самая которую я видѣлъ въ передней. Лицо ея, попрежнему заспанное, поразило меня въ этотъ разъ

тѣмъ выраженіемъ дерзкой грубости, какое появляется у слугъ, когда они знаютъ, что господа отъ нихъ зависятъ и не рѣшатся ни бранить ихъ, ни взыскивать съ нихъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, — засѣменилъ Иванъ Демьянычъ.—Элеонора Карповна! Leonore! Lenchen! пожалуйте сюда!

Что-то грузно завозилось за дверью, и въ ту же минуту раздалось повелительное восклицаніе Виктора: „Что-жъ это, лошадь не закладываютъ? не пѣшкомъ же мнѣ въ полицію тащиться?“

— Сейчасъ, сейчасъ,—снова залепеталъ Иванъ Демьянычъ.—Элеонора Карповна, пожалуйте же сюда!

— Aber, Иванъ Демьянычъ, — послышался ея голосъ, — ich habe keine Toilette gemacht!

— Macht nichts. Komm herein!

Элеонора Карповна вошла, придерживая двумя пальцами косынку на голой шеѣ. На ней былъ утренній капотъ-распашонка, и волосъ она не успѣла причесать. Иванъ Демьянычъ тотчасъ подскочилъ къ ней.

— Вы слышите, Викторъ лошадь требуетъ, — промолвилъ онъ, торопливо указывая пальцемъ то на дверь, то на окно. — Пожалуйста распорядитесь попроворнѣе! Der Kerl schreit so!

— Der Victor schreit immer, Иванъ Демьянычъ, Sie wissen wohl, — отвѣчала Элеонора Карповна; — и я сама сказала кучеру, только онъ вздумалъ овесъ задавать. Вотъ какое несчастіе случилось вдругъ,—прибавила она, обратясь ко мнѣ; — и кто это могъ ожидать отъ Сусанны Ивановны?

— Я всегда это ожидалъ, всегда!—закричалъ Ратчъ и высоко поднялъ руки, причемъ его бухарскій халатъ разъѣхался спереди, и обнаружились препротивныя ниж-

нія невыразимыя изъ замшевой кожи съ мѣдными пряжками на поясѣ. — Разрывъ сердца! разрывъ оболочекъ! Гипертрофія!

— Ну да,—повторила за нимъ Элеонора Карповна,—гипо... Ну вотъ это. Только мнѣ очень, очень жалко, опять-таки скажу... — И ея топорное лицо понемножку перекосилось, брови приподнялись трехъугольникомъ, и крохотная слезинка скатилась на круглую, точно налакированную, какъ у куклы, щеку...—Мнѣ оченъ жалко, что такой молодой человѣкъ, которому только бы слѣдовало жить и пользоваться всѣмъ... всѣмъ... И этакое вдругъ отчаяніе!

— Na! gut, gut... geh, alte! — перебилъ господинъ Ратчъ.

— Geh' schon geh' schon,—проворчала Элеонора Карповна и вышла вонъ, все еще придерживая пальцами косынку и роняя слезинки.

И я отправился вслѣдъ за нею. Въ передней стоялъ Викторъ въ студенческой шинели съ бобровымъ воротникомъ и фуражкой на бекрень. Онъ едва глянулъ на меня черезъ плечо, встряхнулъ воротникомъ и не поклонился, за что́ я ему мысленно сказалъ большое спасибо.

Я вернулся къ Фустову.

XXV.

Я засталъ моего пріятеля сидящимъ въ углу своего кабинета, съ понуренною головой и скрещенными на груди руками. На него нашелъ столбнякъ, и глядѣлъ онъ вокругъ себя съ медленнымъ изумленіемъ человѣка, который очень крѣпко спалъ и котораго только-что разбудили. Я ему разсказалъ свое посѣщеніе у Ратча, пере-

далъ ему рѣчи ветерана, рѣчи его жены, впечатлѣніе, которое они оба произвели на меня, сообщилъ ему мое убѣжденіе въ томъ, что несчастная дѣвушка сама себя лишила жизни... Фустовъ слушалъ меня, не мѣняя выраженія лица, и съ тѣмъ же изумленіемъ посматривалъ кругомъ.

— Ты ее видѣлъ? — спросилъ онъ меня наконецъ.

— Видѣлъ.

— Въ гробу?

Фустовъ словно сомнѣвался въ томъ, что Сусанна дѣйствительно умерла.

— Въ гробу.

Фустовъ перекосилъ и опустилъ глаза и тихонько потеръ себѣ руки.

— Тебѣ холодно? — спросилъ я.

— Да, братъ, холодно, — отвѣчалъ онъ съ разстановкой и безсмысленно покачалъ головою.

Я началъ ему доказывать, что Сусанна непремѣнно отравилась, а можетъ-быть и отравлена была, и что этого нельзя такъ оставить...

Фустовъ уставился на меня.

— Что же тутъ дѣлать? — сказалъ онъ, медленно и широко моргая.—Хуже вѣдь... если узнаютъ. Хоронить не станутъ. Оставить надо... такъ.

Мнѣ эта, впрочемъ, очень простая мысль въ голову не приходила. Практическій смыслъ моего пріятеля не измѣнялъ ему.

— Когда... ее хоронятъ? — продолжалъ онъ.

— Завтра.

— Ты пойдешь?

— Да.

— Въ домъ, или прямо въ церковь?

— И въ домъ, и въ церковь; а оттуда на кладбище.

— А я не пойду... Я не могу, не могу,—прошепталъ Фустовъ и началъ всхлипывать. Онъ и поутру на тѣхъ же самыхъ словахъ зарыдалъ. Я замѣтилъ, это часто случается съ плачущимъ; точно будто однимъ извѣстнымъ словамъ, большею частью незначительнымъ,— но именно *этимъ* словамъ, а не другимъ, — дано раскрыть источникъ слезъ въ человѣкѣ, потрясти его, возбудить въ немъ чувство жалости къ другому и къ самому себѣ... Помнится, одна крестьянка, разсказывая при мнѣ про внезапную смерть своей дочери во время обѣда, такъ и заливалась и не могла продолжать начатаго разсказа, какъ только произносила слѣдующую фразу: „Я ей говорю: Θекла? А она мнѣ: мамка, соль-то ты куда... соль куда... со-оль“... Слово: „соль“ ее убивало. Но меня, такъ же какъ и поутру, мало трогали слезы Фустова. Я не постигалъ, какимъ образомъ онъ могъ не спросить меня, не оставила ли Сусанна чего-нибудь для него? Вообще ихъ взаимная любовь была для меня загадкой: она такъ и осталась загадкой для меня.

Поплакавъ минутъ съ десять, Фустовъ всталъ, легъ на диванъ, повернулся лицомъ къ стѣнѣ, и остался неподвиженъ. Я подождалъ немного, но видя, что онъ не шевелится и не отвѣчаетъ на мои вопросы, рѣшился удалиться. Я быть можетъ взвожу на него напраслину, но едва ли онъ не заснулъ. Впрочемъ, это еще бы не доказывало, чтобъ онъ не чувствовалъ огорченія... а только природа его была такъ устроена, что не могла долго выносить печальныя ощущенія... Ужъ больно нормальная была природа!

XXVI.

На слѣдующій день, ровно въ одиннадцать часовъ я былъ на мѣстѣ. Тонкая крупа сѣялась съ низкаго неба, морозъ стоялъ небольшой, готовилась оттепель, но въ воздухѣ ходили рѣзкія, непріятныя струи... Самая была великопостная, простудная погода. Я засталъ г. Ратча на крыльцѣ его дома. Въ черномъ фракѣ съ плерезами, безъ шляпы на головѣ, онъ суетился, размахивалъ руками, билъ себя по ляшкамъ, кричалъ то въ домъ, то на улицу, въ направленіи тутъ же стоявшихъ погребальныхъ дрогъ съ бѣлымъ катафалкомъ и двухъ ямскихъ каретъ, возлѣ которыхъ четыре гарнизонные солдата въ траурныхъ мантіяхъ на старыхъ шинеляхъ и траурныхъ шляпахъ на сморщенныхъ глазахъ, задумчиво тыкали въ рыхлый снѣгъ ручками незажженныхъ факеловъ. Сѣдая шапка волосъ такъ и вздымалась надъ краснымъ лицомъ г-на Ратча, и голосъ его, этотъ мѣдный голосъ, обрывался отъ натуги.—Что́ же ельнику! ельнику! сюда! Вѣтвей еловыхъ!—вопилъ онъ;—сейчасъ гробъ выносить будутъ! Ельнику! Валите ельнику! Живо!—воскликнулъ онъ еще разъ и вскочилъ въ домъ. Оказалось, что несмотря на мою аккуратность, я опоздалъ: г. Ратчъ счелъ за нужное поспѣшить. Служба уже отошла: священники,—изъ коихъ одинъ имѣлъ камилавку, а другой, помоложе, очень тщательно расчесалъ и примаслилъ волосы,—появились вмѣстѣ съ причтомъ на крыльцѣ. Вскорѣ показался и гробъ, несомый кучеромъ, двумя дворниками и водовозомъ. Г-нъ Ратчъ шелъ сзади, придерживаясь концами пальцевъ за крышку, и все твердилъ: „легче, легче!“ За нимъ въ перевалочку плелась Элеонора Карповна, въ черномъ платьѣ, тоже съ плерезами, окруженная всѣмъ

своимъ семействомъ; послѣ всѣхъ выступилъ Викторъ въ новенькомъ мундирѣ, при шпагѣ, съ флеромъ на рукояткѣ. Носильщики, крехтя и перекоряясь, поставили гробъ на дроги; гарнизонные солдаты зажгли факелы, которые тотчасъ же затрещали и задымились, раздался плачъ забредшей салопницы, дьячки запѣли, снѣжная крупа внезапно усилилась и завертѣлась „бѣлыми мухами", г-нъ Ратчъ крикнулъ:—съ Богомъ! трогай!—и процессія тронулась. Кромѣ семейства г-на Ратча, провожавшихъ гробъ было всего пять человѣкъ: отставной, очень поношенный офицеръ путей сообщенія съ полиняло лентой Станислава на шеѣ, едва-ли не взятый напрокатъ; помощникъ квартальнаго надзирателя, крошечный человѣкъ, съ смиреннымъ лицомъ и жадными глазами; какой-то старичокъ въ камлотовомъ капотѣ; чрезвычайно толстый рыбный торговецъ въ купеческой синей чуйкѣ и съ запахомъ своего товара,—и я. Отсутствіе женскаго пола (ибо не было возможности причислить къ нему двухъ тетокъ Элеоноры Карповны, сестеръ колбасника, да еще какую-то кривобокую дѣвицу въ синихъ очкахъ на синемъ носѣ), отсутствіе пріятельницъ и подругъ меня сперва поразило; но поразмысливъ, я сообразилъ, что Сусанна, съ ея нравомъ, воспитаніемъ, съ ея воспоминаніями, не могла имѣть подругъ въ той средѣ, гдѣ она жила. Въ церковь набралось довольно много народу, незнакомыхъ еще больше, чѣмъ знакомыхъ, что можно было видѣть по выраженію ихъ лицъ. Отпѣваніе продолжалось недолго. Удивляло меня то, что г-нъ Ратчъ крестился весьма истово, совершенно какъ православный, и едва ли не подтягивалъ дьячкамъ, впрочемъ, одними нотами. Когда же наконецъ пришлось прощаться съ покойницей, я низко поклонился ей, но не далъ ей послѣдняго лобызанія. Г-нъ Ратчъ, напротивъ, очень раз-

вязно исполнилъ этотъ страшный обрядъ, съ почтительнымъ наклоненіемъ корпуса пригласилъ къ гробу офицера со Станиславомъ, точно угощая его, и высоко, съ размаха поднимая подъ мышки своихъ дѣтей, поочередно подносилъ ихъ къ тѣлу. Элеонора Карповна, простившись съ Сусанной, вдругъ разрюмилась на всю церковь; однако скоро успокоилась и все спрашивала раздраженнымъ шопотомъ! „А и гдѣ же мой ридикюль?“ Викторъ держался въ сторонѣ, и всею своею осанкой, казалось, хотѣлъ дать понять, какъ далекъ онъ отъ всѣхъ подобныхъ обычаевъ, и какъ онъ только долгъ приличія исполняетъ. Больше всѣхъ изъявилъ сочувствія старичокъ въ капотѣ, бывшій лѣтъ пятнадцать тому назадъ землемѣромъ въ тамбовской губерніи и съ тѣхъ поръ не видавшій Ратча; онъ Сусанны не зналъ вовсе, но успѣлъ уже выпить двѣ рюмки водки въ буфетѣ. Тетушка моя также пріѣхала въ церковь. Она почему-то узнала, что покойница была именно та дама, которая посѣтила меня, и пришла въ волненіе неописанное! Подозрѣвать меня въ дурномъ поступкѣ она не рѣшалась, но изъяснить такое странное стеченіе обстоятельствъ также не могла... Чуть-ли не вообразила она, что Сусанна изъ любви ко мнѣ рѣшилась на самоубійство, и облекшись въ самыя темныя одежды, съ сокрушеннымъ сердцемъ и слезами, на колѣняхъ молилась объ успокоеніи души новопреставленной, поставила рублевую свѣчу образу Утоленія Печали... „Амишка“ также съ ней пріѣхала и также молилась, но больше все на меня посматривала и ужасалась... Эта старая дѣвица была, увы! ко мнѣ неравнодушна. Выходя изъ церкви, тетушка роздала бѣднымъ всѣ свои деньги, свыше десяти рублей.

Кончилось, наконецъ, прощаніе. Принялись закрывать гробъ. Въ теченіе всей службы у меня духа не

хватило прямо посмотрѣть на искаженное лицо бѣдной дѣвушки; но каждый разъ, какъ глаза мои мелькомъ скользили по немъ: „онъ не пришелъ, онъ не пришелъ“, казалось мнѣ, хотѣло сказать оно. Стали взводить крышу надъ гробомъ. Я не удержался, бросилъ быстрый взглядъ на мертвую. „Зачѣмъ ты это сдѣлала?“—спросилъ я невольно...—Онъ не пришелъ! —почудилось мнѣ въ послѣдній разъ...

Молотокъ застучалъ по гвоздямъ, и все было кончено.

XXVII.

Вслѣдъ за гробомъ двинулись мы на кладбище. Насъ было всѣхъ человѣкъ сорокъ, разнокалиберная, въ сущности праздная толпа. Больше часу продолжалось томительное шествіе. Погода дѣлалась все хуже. Викторъ съ полдороги сѣлъ въ карету; но г. Ратчъ выступалъ бодро по талому снѣгу; точно такъ онъ, должно-быть, выступалъ, и тоже по снѣгу, когда, послѣ рокового свиданія съ Семеномъ Матвѣичемъ, онъ съ торжествомъ велъ къ себѣ въ домъ навсегда погубленную имъ дѣвушку. Волосы „ветерана“, его брови, опушились снѣжинками; онъ то пыхтѣлъ и покрикивалъ, то мужественно забирая въ себя духъ, округлялъ свои крѣпкія, бурыя щеки... Право, можно было подумать, что онъ смѣется. „Послѣ моей смерти, пенсія должна перейти къ Ивану Демьянычу“, вспоминались мнѣ опять слова Сусанниной тетрадки. Пришли мы, наконецъ, на кладбище; добрались до свѣжевырытой могилы. Послѣдній обрядъ совершился скоро: всѣ продрогли, всѣ торопились. Гробъ на веревкахъ скользнулъ въ зіяющую яму; принялись забрасывать ее землей. Господинъ Ратчъ и тутъ показалъ бодрость

своего духа; онъ такъ проворно, съ такою силой, съ такимъ размахомъ бросалъ комки земли на крышу гроба, такъ выставлялъ при этомъ ногу впередъ и такъ молодецки закидывалъ свой торсъ... энергичнѣе онъ бы не могъ дѣйствовать, если-бъ ему пришлось побивать каменьями лютѣйшаго своего врага. Викторъ, попрежнему, держался въ сторонѣ: онъ все кутался въ шинель и проводилъ подбородкомъ по бобру воротника; остальныя дѣти господина Ратча усердно подражали родителю. Швырять пескомъ и землей доставляло имъ великое удовольствіе, за что̀ ихъ, впрочемъ, и винить нельзя. Холмикъ появился на мѣстѣ ямы; мы уже собирались расходиться, какъ вдругъ господинъ Ратчъ, повернувшись по военному налѣво кругомъ и хлопнувъ себя по ляшкѣ, объявилъ намъ всѣмъ, „господамъ мужчинамъ“, что онъ приглашаетъ насъ, а также и „почтенное священство“, на „поминательный“ столъ, устроенный въ недальнемъ разстояніи отъ кладбища, въ главной залѣ весьма приличнаго трактира, „стараньями любезнѣйшаго нашего Сигизмунда Сигизмундовича“... При этихъ словахъ онъ указалъ на помощника квартальнаго надзирателя и прибавилъ, что, при всей своей горести и лютеранской религіи, онъ, Иванъ Демьяновъ Ратчъ, какъ истый русскій человѣкъ, дорожитъ пуще всего русскими древними обычаями. „Супруга моя“, воскликнулъ онъ, — „и какія съ нею пожаловали дамы, пускай домой поѣдутъ, а мы, господа мужчины, помянемъ скромной трапезой тѣнь усопшія рабы Твоея!“ Предложеніе господина Ратча было принято съ искреннимъ сочувствіемъ; „почтенное“ священство какъ-то внушительно переглянулось между собой, а офицеръ путей сообщенія потрепалъ Ивана Демьяныча по плечу и назвалъ его патріотомъ и душою общества.

Мы отправились гуртомъ въ трактиръ. Въ трактирѣ,

посреди длинной и широкой, впрочемъ, совершенно пустой комнатѣ второго этажа, стояли два стола, покрытые бутылками, яствами, приборами и окруженные стульями; запахъ штукатурки, соединенный съ запахомъ водки и постнаго масла, билъ въ носъ и стѣснялъ дыханіе. Помощникъ квартальнаго надзирателя, въ качествѣ распорядителя, усадилъ священство за почетный конецъ, на которомъ преимущественно столпились кушанья постныя; вслѣдъ за духовенствомъ усѣлись прочіе посѣтители; пиръ начался. Не хотѣлось бы мнѣ употреблять такое праздничное слово: пиръ; но всякое другое слово не соотвѣтствовало бы самой сущности дѣла. Сперва все шло довольно тихо, не безъ оттѣнка унылости; уста жевали, рюмки опорожнялись, но слышались и вздохи, быть-можетъ, пищеварительные, а, быть-можетъ, и сочувственные; упоминалась смерть, обращалось вниманіе на краткость человѣческой жизни, на бренность земныхъ надеждъ; офицеръ путей сообщенія разсказалъ какой-то, правда, военный, но наставительный анекдотъ; батюшка въ камилавкѣ одобрилъ его и самъ сообщилъ любопытную черту изъ житія преподобнаго Ивана Воина; другой батюшка, съ прекрасно-причесанными волосами, хоть обращалъ больше вниманія на кушанья, однако также произнесъ нѣчто наставительное насчетъ дѣвической непорочности; но понемногу все измѣнилось. Лица раскраснѣлись, голоса загомонѣли, смѣхъ вступилъ въ свои права; стали раздаваться восклицанія порывистыя, послышались ласковыя наименованья въ родѣ: „братца ты моего миленькаго“, „душки ты моей“, „чурки“ и даже „свинтуса этакого“; словомъ, посыпалось все то, на что такъ щедра русская душа, когда станетъ, какъ говорится, нараспашку. Когда же, наконецъ, захлопали пробки цымлянскаго, тутъ уже совсѣмъ шумно стало: нѣкто даже

пѣтухомъ прокричалъ, а другой посѣтитель предложилъ изгрызть зубами и проглотить рюмку, изъ которой только-что выпилъ вино. Господинъ Ратчъ, уже не красный, а сизый, внезапно всталъ съ своего мѣста; онъ и до того времени много шумѣлъ и хохоталъ, но тутъ онъ попросилъ позволенія произнесть спичь. — Говорите! Произносите! — заголосили всѣ; старикъ въ капотѣ закричалъ даже: — браво! — и въ ладоши захлопалъ... впрочемъ онъ сидѣлъ уже на полу. Господинъ Ратчъ поднялъ бокалъ высоко надъ головой и объявилъ, что намѣренъ, въ краткихъ, но „впечатлительныхъ“ выраженіяхъ, указать на достоинства той прекрасной души, которая, „оставивъ здѣсь свою, такъ-сказать, земную шелуху (die irdische Hülle), воспарила въ небеса и погрузила“... господинъ Ратчъ поправился: „и погрязла“... Онъ опять поправился: „и погрузила...“

— Отецъ дьяконъ! Почтеннѣйшій! Душа! — послышался сдержанный, но убѣдительный шопотъ: — Горло, говорятъ, у тебя адское; уважь, грянь: „Мы живемъ среди полей!“

— Шш! шш!... Полно вамъ! Что это! — промчалось по устамъ гостей.

—... Погрузила все свое преданное семейство, — продолжалъ господинъ Ратчъ, бросивъ строгій взоръ въ направленіи любителя музыки: — погрузила все свое семейство въ ничѣмъ незамѣнимую печаль! Да! — воскликнулъ Ивапъ Демьянычъ: — справедливо гласитъ русская пословица: судьба гнетъ не тужитъ, переломитъ...

— Стойте! Господа! — закричалъ внезапно чей-то хриплый голосъ на концѣ стола, — у меня сейчасъ кошелекъ украли!...

— Ахъ, мошенникъ! — запищалъ другой голосъ, и — бацъ! раздалась пощечина.

Господи! Что̀ тутъ произошло! Точно дикій звѣрь, который до тѣхъ поръ лишь изрѣдка ворчалъ и шевелился въ насъ, вдругъ сорвался съ цѣпи и всталъ на дыбы, во всей безобразной красѣ своего взъерошеннаго загривка. Казалось, всѣ втайнѣ ожидали „скандала“, какъ естественной принадлежности и разрѣшенія пира, и такъ и ринулись всѣ, такъ и подхватили... Тарелки, стаканы зазвенѣли, покатились, стулья опрокинулись, поднялся пронзительный крикъ, руки замахали по воздуху, фалды взвились и завязалась драка!

— Лупи его! лупи его!—заревѣлъ какъ изступленный мой сосѣдъ, рыбный торговецъ, казавшійся до того мгновенья самымъ смирнымъ человѣкомъ въ мірѣ; правда, онъ выпилъ въ молчанку стакановъ десять вина.—Лупи его!...

Кого лупить, за что̀ лупить, онъ не имѣлъ понятія, но ревѣлъ неистово.

Помощникъ квартальнаго надзирателя, офицеръ путей сообщенія, самъ господинъ Ратчъ, который, вѣроятно, никакъ не ожидалъ, что его краснорѣчію будетъ положенъ такой скорый конецъ, попытались-было возстановить тишину... но усилія ихъ оказались тщетными. Мой сосѣдъ, рыбный торговецъ, даже на самого господина Ратча накинулся.

— Уморилъ дѣвку, нѣмчура треклятая,—закричалъ онъ на него, потрясая кулаками; — полицію подкупилъ, а теперь куражишься!?

Тутъ прибѣжали половые...

Что произошло дальше, я не знаю; я поскорѣй схватилъ фуражку, да и давай Богъ ноги! Помню только, что-то страшно затрещало; помню также остовъ селедки въ волосахъ старца въ капотѣ, поповскую шляпу, летѣвшую черезъ всю комнату, блѣдное лицо Виктора,

присѣвшаго въ углу, и чью-то рыжую бороду въ чьей-то мускулистой рукѣ... Это были послѣднія впечатлѣнія, вынесенныя мной изъ „поминательнаго пира“, устроеннаго любезнѣйшимъ Сигизмундомъ Сигизмундовичемъ въ честь бѣдной Сусанны.

Отдохнувъ нѣсколько, я отправился къ Фустову и разсказалъ ему все, чему я былъ свидѣтелемъ въ теченіе того дня. Онъ выслушалъ меня сидя, не поднимая головы и подсунувъ обѣ руки подъ ноги, промолвилъ опять: „Ахъ, моя бѣдная, бѣдная!“ и опять легъ на диванъ и повернулся ко мнѣ спиной.

Недѣлю спустя, онъ уже совершенно оправился и зажилъ попрежнему. Я попросилъ у него тетрадку Сусанны на память; онъ отдалъ ее мнѣ безъ всякаго затрудненія.

XXVIII.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Тетушка моя скончалась; я изъ Москвы переселился въ Петербургъ. Въ Петербургъ переѣхалъ и Фустовъ. Онъ поступилъ въ министерство финансовъ, но я видѣлся съ нимъ рѣдко и не находилъ уже въ немъ ничего особеннаго. Чиновникъ какъ и всѣ, да и баста! Если онъ еще живъ и не женатъ, то, вѣроятно, и доселѣ не измѣнился: точитъ и клеитъ, и гимнастикой занимается, и сердца пожираетъ попрежнему, и Наполеона въ лазоревомъ мундирѣ рисуетъ въ альбомы пріятельницъ. Мнѣ пришлось какъ-то съѣздить въ Москву, по дѣламъ. Въ Москвѣ узналъ я, признаюсь, къ немалому моему удивленію, что обстоятельства моего бывшаго знакомца, господина Ратча, приняли оборотъ неблагопріятный: супруга его, правда, по-

дарила ему еще двойню, двухъ мальчиковъ, которыхъ онъ, „коренной русакъ," окрестилъ Брячеславомъ и Вячеславомъ; но домъ его сгорѣлъ, онъ принужденъ былъ подать въ отставку и главное—его старшій сынокъ, Викторъ, такъ и не выходилъ изъ долгового отдѣленія. Во время моего пребыванія въ Москвѣ, въ одномъ обществѣ при мнѣ упомянули о Сусаннѣ, и самымъ невыгоднымъ, самымъ оскорбительнымъ образомъ! Я всячески постарался заступиться за память несчастной дѣвушки, которой судьба отказывала даже въ милостынѣ забвенія, но мои доводы не произвели большого впечатлѣнія на моихъ слушателей. Одного изъ нихъ, молодого студента-поэта, я, однако, поколебалъ. Онъ прислалъ мнѣ на другой день стихотвореніе, которое я позабылъ, но которое оканчивалось слѣдующими четырьмя стихами:

Но и надъ брошенной могилой
Не смолкнулъ голосъ клеветы...
Она тревожитъ призракъ милый
И жжетъ надгробные цвѣты!

Я прочелъ эти стихи и невольно погрузился въ думу. Образъ Сусанны возникъ передо мной; я опять увидалъ то замороженное окно въ моей комнатѣ; я вспомнилъ тотъ вечеръ, и порывы снѣжной вьюги, и тѣ слова, тѣ рыданья... Я началъ размышлять о томъ, чѣмъ возможно было объяснить любовь Сусанны къ Фустову, и почему она такъ скоро, такъ неудержимо предалась отчаянію, какъ только увидала себя оставленною? Почему не захотѣла подождать, услышать горькую правду изъ собственныхъ устъ любимаго человѣка, написать ему письмо, наконецъ? Какъ возможно такъ сейчасъ броситься въ бездну внизъ-головой?—Оттого, что она страстно любила Фустова,—скажутъ мнѣ;—оттого, что она не могла перенести малѣйшаго сомнѣнія въ его преданности, въ

его уваженіи къ ней.—Можетъ-быть; а можетъ-быть и то, что она вовсе не такъ страстно любила Фустова; что она не ошиблась въ немъ, а только возложила на него свои послѣднія надежды и не въ состояніи была примириться съ мыслію, что даже *этотъ* человѣкъ тотчасъ, по первому слову сплетника, съ презрѣніемъ отвернулся отъ нея! Кто скажетъ, что̀ ее убило: оскорбленное ли самолюбіе, тоска ли безвыходнаго положенія или, наконецъ, самое воспоминаніе о томъ первомъ, прекрасномъ, правдивомъ существѣ, которому она, на утрѣ дней своихъ, такъ радостно отдалась, который такъ глубоко былъ въ ней увѣренъ и такъ уважалъ ее? Кто знаетъ: быть-можетъ, въ то самое мгновенье, когда мнѣ казалось, что надъ ея мертвыми устами носилось восклицаніе: „онъ не пришелъ!“ быть-можетъ, ея душа уже радовалась тому, что ушла сама къ нему, къ своему Мишелю? Тайны человѣческой жизни велики, а любовь самая недоступная изъ этихъ тайнъ... но все-таки, до сихъ поръ, всякій разъ, когда образъ Сусанны возникаетъ предо мной, я не въ силахъ подавить въ себѣ ни сожалѣнія къ ней, ни упрека судьбѣ, и уста мои невольно шепчутъ: несчастная! несчастная!

1868 г.

СТРАННАЯ ИСТОРІЯ.

Разсказъ.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ—началъ г-нъ Х....—обязанности службы заставили меня прожить нѣсколько дней въ губернскомъ городѣ Т.... Я остановился въ порядочной гостинницѣ, устроенной за полгода до моего пріѣзда разбогатѣвшимъ портнымъ изъ евреевъ. Говорятъ—она процвѣтала недолго, что̀ у насъ весьма обыкновенно; но я засталъ ее еще въ полномъ блескѣ: новыя мебели стрѣляли по ночамъ какъ изъ пистолетовъ, постельное бѣлье, скатерти и салфетки пахли мыломъ, а отъ крашеныхъ половъ несло олифой, что̀ впрочемъ, по мнѣнію полового, человѣка весьма изящнаго, хоть и не совсѣмъ опрятнаго, препятствовало распространенію насѣкомыхъ. Половой этотъ, бывшій камердинеръ князя Г., отличался развязностію обращенія и самоувѣренностію; ходилъ постоянно во фракѣ съ чужого плеча и стоптанныхъ башмакахъ, носилъ подъ мышкой салфетку и множество угрей на щекахъ и, свободно размахивая потными руками, произносилъ короткія, но внушительныя рѣчи. Онъ оказывалъ мнѣ нѣкоторое покровительство, какъ человѣку, способному оцѣнить его образованность и знаніе свѣта; но на собственную судьбу взиралъ нѣсколько разочарованнымъ окомъ. — Извѣстно, — ска-

залъ онъ мнѣ однажды,—какое наше теперь положеніе? За хвостъ да и на солнце!—Звали его Ардаліономъ.

Мнѣ предстояло сдѣлать нѣсколько визитовъ чиновнымъ лицамъ города. Тотъ же Ардаліонъ досталъ мнѣ коляску и лакея, одинаково развинченныхъ и потертыхъ; но на лакеѣ была ливрея—а коляску украшали гербы. Окончивъ всѣ оффиціальныя посѣщенія, я заѣхалъ къ одному помѣщику, старинному знакомому моего отца, съ давнихъ поръ поселившемуся въ городѣ Т.... Я съ нимъ лѣтъ двадцать не видался; онъ успѣлъ жениться, развести порядочное семейство, овдовѣть и разбогатѣть. Онъ занимался откупами, то-есть, ссужалъ откупщиковъ залогами за крупные проценты... „Рискъ — благородное дѣло!“ впрочемъ, и риску было мало. Въ теченіе нашей бесѣды, въ комнату, нерѣшительными, но легкими шагами, словно на цыпочкахъ, вошла дѣвушка лѣтъ семнадцати, тоненькая и худенькая.—Вотъ,—сказалъ мнѣ мой знакомый,—старшая моя дочь Софи, рекомендую; замѣнила мнѣ покойницу; хозяйничаетъ въ домѣ, за братьями и сестрами наблюдаетъ.—Я вторично поклонился вошедшей дѣвушкѣ (она между тѣмъ молча опустилась на стулъ), и подумалъ про себя, что на хозяйку, на воспитательницу она мало похожа. Лицо у ней было совсѣмъ дѣтское, круглое, съ маленькими, пріятными, но неподвижными чертами, голубые глазки, подъ высокими, тоже неподвижными, неровными бровями, глядѣли внимательно—почти изумленно, точно они начали замѣчать что-то для нихъ неожиданное; пухлый ротикъ, съ приподнятой верхней губой, нетолько не улыбался, но, казалось, не имѣлъ этой привычки вовсе; на щекахъ нѣжными продолговатыми пятнами, не прибавляясь и не уменьшаясь, стояла розовая кровь подъ тонкой кожей. Пушистые бѣлокурые волосы висѣли легкими

гроздьями съ обѣихъ сторонъ небольшой головы. Грудь дышала тихо, и руки какъ-то неловко и строго прижимались къ узкому стану. Голубое платье падало безъ складокъ—по-дѣтски—на маленькія ножки. Общее впечатлѣніе, производимое этой дѣвушкой, было не то, чтобы болѣзненное, но загадочное. Я видѣлъ передъ собою не просто робѣвшую провинціальную барышню, но существо съ особеннымъ, для меня неяснымъ отпечаткомъ. Оно меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполнѣ понималъ и только чувствовалъ, что мнѣ еще не удавалось встрѣтить болѣе искреннюю душу. Жалость... да! жалость возбуждала во мнѣ эта молодая, серьезная, настороженная жизнь—Богъ вѣдаетъ почему! „Не отъ земли сея“, думалось мнѣ, хотя собственно въ выраженіи лица не было ничего „идеальнаго“, и хотя въ гостиную mademoiselle Sophie очевидно появилась для того, чтобы исполнить роль хозяйки, на которую намекалъ ея отецъ.

Онъ началъ говорить о жизни въ городѣ Т..., объ общественныхъ удовольствіяхъ и удобствахъ, доставляемыхъ ею.—У насъ смирно,—замѣтилъ онъ:—губернаторъ —меланхоликъ, губернскій предводитель—холостякъ. А впрочемъ, послѣзавтра въ дворянскомъ собраніи большой балъ. Совѣтую съѣздить: здѣсь не безъ красавицъ. Ну и всю нашу *интеллигенцію* вы увидите.

Мой знакомый, какъ человѣкъ нѣкогда обучавшійся въ университетѣ, любилъ употреблять выраженія ученыя. Онъ произносилъ ихъ съ ироніей, но и съ уваженіемъ. Притомъ извѣстно, что занятіе откупами, вмѣстѣ съ солидностію, развивало въ людяхъ нѣкоторое глубокомысліе.

— Позвольте спросить, вы будете на этомъ балѣ?—

обратился я къ дочери моего знакомаго. Мнѣ хотѣлось услыхать звукъ ея голоса.

— Папенька намѣренъ поѣхать, — отвѣчала она,—и я съ нимъ.

Голосъ у ней оказался тихій и медленный, и выговаривала она каждое слово, точно недоумѣвала.

— Въ такомъ случаѣ позвольте пригласить васъ на первую кадриль. — Она наклонила голову въ знакъ согласія, но и тутъ не улыбнулась.

Я вскорѣ удалился, и, помнится, взглядъ ея глазъ, пристально на меня устремленныхъ, показался мнѣ до того страннымъ, что я невольно посмотрѣлъ себѣ черезъ плечо, ужъ не видитъ ли она кого-нибудь, или что-нибудь у меня за спиною?

Вернувшись въ гостинницу и пообѣдавъ неизмѣннымъ „супъ-жульенъ“, котлетами съ горошкомъ и просушеннымъ до черноты рябчикомъ, я присѣлъ на диванъ и предался размышленіямъ. Предметомъ ихъ была эта Софія, эта загадочная дочь моего знакомаго; но убиравшій со стола Ардаліонъ растолковалъ по своему мою задумчивость: онъ приписалъ ее скукѣ.

— Оченно у насъ въ городѣ мало развлеченія для господъ проѣзжающихъ, — заговорилъ онъ съ обычной развязной снисходительностію, въ то же время продолжая похлопывать грязной салфеткой по спинкамъ стульевъ: это похлопываніе, какъ извѣстно, свойственно однимъ лишь образованнымъ слугамъ.—Очень мало!—Онъ помолчалъ, а громадные стѣнные часы, съ лиловой розой на бѣломъ циферблатѣ, своимъ однообразнымъ и сиплымъ чиканіемъ тоже какъ бы подтверждали его слова. „О....чень! о-чень!“ щелкали они.—Ни концертовъ ни-

какихъ, ни театровъ, — продолжалъ Ардаліонъ (онъ ѣздилъ съ своимъ бариномъ за границу и чуть ли не побывалъ въ Парижѣ; онъ хорошо зналъ, что одни мужики говорятъ: кіятръ),—ни танцевъ, напримѣръ, или вечернихъ пріемовъ между господами дворянами, ничего этого не существуетъ.—(Онъ остановился на мгновеніе, вѣроятно, для того, чтобы дать мнѣ замѣтить отборность своего слога).—Даже другъ друга видятъ рѣдко. Сидитъ каждый у себя на тычкѣ, какъ „кѣтикъ“ какой. И выходитъ, что заѣзжимъ посѣтителямъ дѣваться бываетъ—просто некуда.

Ардаліонъ глянулъ на меня искоса.

— Развѣ вотъ что̀,—продолжалъ онъ съ разстановкой.—Въ случаѣ, если имѣется такое ваше расположеніе...

Онъ вторично глянулъ на меня и даже усмѣхнулся, но, должно быть, надлежащаго расположенія во мнѣ не замѣтилъ.

Изящный слуга подошелъ къ двери, подумалъ, вернулся, и, помявшись немного на мѣстѣ, нагнулся къ моему уху и съ игривой улыбкой промолвилъ:

— Не желаете ли вы мертвыхъ видѣть?

Я съ изумленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Да,—продолжалъ онъ уже шопотомъ;—у насъ есть тутъ такой человѣкъ. Изъ простыхъ мѣщанъ и даже безграмотный, а дѣла совершаетъ чудныя. Если, напримѣръ, вы къ нему отъявитесь и пожелаете увидать какого-ни-на-есть покойника изъ вашихъ знакомыхъ, онъ вамъ его безпремѣнно покажетъ.

— Какимъ же это образомъ?

— Это ужъ его секретъ. Потому, хотя онъ и чело-

вѣкъ безграмотный, прямо сказать: безсловесный, но въ божественности очень силенъ! Большое отъ купечества къ нимъ уваженіе!

— И всѣмъ это въ городѣ извѣстно?

— Кому нужно—знаютъ-съ; ну, а, конечно, отъ полиціи опасеніе соблюдается. Потому, что ни толкуй, дѣла все-таки запрещенныя, и для простого народа—соблазнъ; простой народъ—чернь, значитъ, извѣстно: сейчасъ въ кулаки!

— Вамъ онъ мертвецовъ показывалъ?—спросилъ я Ардаліона. Такого образованнаго смертнаго я не рѣшался „тыкать".

Ардаліонъ качнулъ головою.—Показывалъ-съ; родителя какъ живого представилъ.

Я уставился на Ардаліона. Онъ посмѣивался и поигрывалъ салфеткой—и снисходительно, но съ твердостью, поглядывалъ на меня.

— Да это очень любопытно!—воскликнулъ я наконецъ.—Нельзя ли мнѣ съ этимъ мѣщаниномъ познакомиться?

— Съ ними прямо никакъ нельзя-съ; а черезъ ихнюю мамыньку нужно дѣйствовать. Старушка почтенная; на мосту мочеными яблоками торгуетъ. Если прикажете, я ее спрошу-съ.

— Сдѣлайте одолженіе.

Ардаліонъ кашлянулъ въ руку.—И благодарность, какую вы положите, небольшую, разумѣется, тоже ей вручить слѣдуетъ, той самой старушкѣ. А я съ своей стороны ей доложу-съ, что опасаться васъ нечего, такъ какъ вы господинъ заѣзжій, баринъ—ну и, конечно, можете понимать, что сіе есть тайна, и до непріятности ни въ какомъ случаѣ ее не доведете.

Ардаліонъ взялъ подносъ въ одну руку и, граціозно

виляя и собственнымъ станомъ и подносомъ, направился къ двери.

— Такъ я могу на васъ надѣяться?—крикнулъ я ему вслѣдъ.

— Будьте благонадежны!—раздался его самоувѣренный голосъ.—Побесѣдуемъ со старушкой и отвѣтъ вамъ передадимъ въ аккуратѣ.

Не стану распространяться о томъ, какія мысли возбудилъ во мнѣ необычайный фактъ, сообщенный Ардаліономъ; но готовъ сознаться, что съ нетерпѣніемъ ожидалъ обѣщаннаго отвѣта. Поздно вечеромъ вошелъ ко мнѣ Ардаліонъ и объявилъ свою досаду: онъ не могъ отыскать старушку. Я все-таки, въ видахъ поощренія, вручилъ ему трехрублевую бумажку. На слѣдующее утро онъ снова, и съ радостнымъ лицомъ, явился въ мою комнату: старушка соглашалась на свиданіе со мною.

— Эй! мальчуга!—крикнулъ Ардаліонъ въ корридоръ,—мастеровой! Поди-ка сюда! Вошелъ младенецъ лѣтъ шести, весь перепачканный въ сажѣ какъ котенокъ, съ остриженной, мѣстами даже голой головой, въ изорванномъ полосатомъ халатѣ и огромныхъ калошахъ на босу ногу.—Вотъ ты ихъ проведешь, куда знаешь,—промолвилъ Ардаліонъ, обращаясь къ „мастеровому“ и указывая на меня.—А вы, господинъ, какъ придете, спросите Мастридію Карповну.

Мальчикъ издалъ сиплый звукъ, и мы отправились.

Мы шли довольно долго по немощенымъ улицамъ города Т....; наконецъ, въ одной изъ нихъ, едва-ли не

самой пустынной и унылой, мой вожатый остановился передъ ветхимъ двухъ-этажнымъ деревяннымъ домикомъ и, утеревъ носъ всѣмъ рукавомъ халата, проговорилъ:

— „Здѣся; направо ступайте". Я вошелъ черезъ крылечко въ сѣни, толкнулся направо: низенькая дверь завизжала на ржавыхъ петляхъ, и я увидѣлъ передъ собою толстую старушку въ коричневой, зайцемъ подбитой кацавейкѣ и пестромъ платочкѣ на головѣ.

— Мастридія Карповна?—спросилъ я.

— Она самая и есть,—отвѣчала мнѣ старушка писклявымъ голоскомъ.—Милости просимъ. На стульчикъ не угодно-ли?

Комната, въ которую ввела меня старушка, была до того завалена всякимъ хламомъ, тряпьемъ, подушками, перинами, мѣшками, что повернуться въ ней почти не было возможности. Солнечный свѣтъ едва пробивался сквозь два запыленныя окошка; въ одномъ углу, за грудой наставленныхъ другъ на дружку коробовъ, слабо охалъ и жаловался... неизвѣстно кто: быть-можетъ, больной ребенокъ, а быть-можетъ—щенокъ. Я усѣлся на стулъ, а старушка стала прямо предо мною. Лицо у ней было жолтое, полупрозрачное, какъ восковое; губы до того ввалились, что среди множества морщинъ представляли одну поперечную; клокъ бѣлыхъ волосъ торчалъ изъ-подъ головного платка, но воспаленные, сѣрые глазки умно и бойко выглядывали изъ-подъ нависшей лобной кости; а заостренный носикъ такъ и выдавался шиломъ, такъ и нюхалъ воздухъ: плутъ-молъ я! „Ну! ты баба не промахъ!" подумалось мнѣ; притомъ же отъ нея попахивало водочкой.

Я объяснилъ ей причину моего посѣщенія, которая, впрочемъ, какъ я замѣтилъ, должна была ей быть извѣстной. Она выслушала меня, быстро помаргивая глазами,

и только еще востре выдвинула свой носъ, словно клюнуть имъ собиралась.

— Такъ-съ, такъ-съ,—заговорила она наконецъ;—Ардаліонъ Матвѣичъ намъ сказывали-съ, точно-съ; вамъ сыночка моего, Васиньки, искусство понадобилось... Только сумлѣваемся мы, государь мой...

— Отчего же?—перебилъ я.—На мой счетъ вы можете быть совершенно спокойны... Я не донощикъ.

— Охъ, батюшка вы мой, — поспѣшно подхватила старушка;—что вы это? Смѣемъ мы про ваше благородіе такое думать! Да и доносить-то на насъ съ какой стати? Развѣ мы что грѣшное затѣваемъ? Не таковскій мой сыночекъ, батюшка, чтобы ему на какое нечистое дѣло согласиться... или какимъ колдовствомъ баловаться... да сохрани Богъ, мать пресвятая Богородица! (Старушка три раза перекрестилась). По всей губерніи первый постникъ и молельщикъ; первый, батюшка вы мой, ваше благородіе! А это точно: милость его посѣтила великая. Что-жъ! Это дѣло не его рукъ. Это, голубчикъ мой, свыше; да.

— Такъ вы согласны?—спросилъ я;—когда я могу съ вашимъ сыномъ повидаться?

Старушка опять заморгала глазами и раза два перепихнула скатанный носовой платокъ изъ рукава въ рукавъ.

— Охъ, государь мой, государь мой, сумлѣваемся мы...

— Позвольте, Мастридія Карповна, вручить вамъ слѣдующее,—перебилъ я ее, и подалъ ей десятирублевую бумажку.

Старушка тотчасъ схватила ее своими пухлыми кривыми пальцами, напоминавшими мясистые когти совы, проворно засунула ее въ рукавъ, подумала немного и,

какъ бы внезапно рѣшившись, хлопнула себя обѣими ладонями по ляшкамъ.

— Приходи сюда сегодня вечеромъ, въ восьмомъ часу,—заговорила она не своимъ обычнымъ, а другимъ, болѣе важнымъ и тихимъ голосомъ:—только не въ эту комнату, а прямо изволь подняться во второй этажъ; и будетъ тебѣ дверь налѣво, и ты ту дверь отвори; и войдешь ты, ваше благородіе, въ пустую комнату, и въ той комнатѣ увидишь стулъ. Сядь ты на этотъ стулъ и жди; и что́ бы ты ни видѣлъ, никакихъ словъ не произноси и не дѣлай ничего; и съ сыночкомъ моимъ тоже не изволь разговаривать; потому — онъ еще младъ, да онъ же у меня въ падучкѣ. Испугать его очень легко: затрепещется, затрепещется, словно цыпленокъ какой... бѣда!

Я посмотрѣлъ на Мастридію.—Вы говорите онъ молодъ, но коли онъ вашъ сынъ...

— По духу, батюшка, по духу! Много у меня сиротъ-то!—прибавила она, мотнувъ головою въ направленіи угла, откуда раздался жалобный писк. — О-охъ, Господи Боже ты мой, пресвятая мать Богородица! А вы, батюшка мой, ваше благородіе, прежде чѣмъ сюда пожалуете, извольте-ка подумать хорошенько, кого вамъ изъ вашихъ покойныхъ сродственниковъ или знакомыхъ, царство имъ небесное! увидѣть желательно. Переберите своихъ покойничковъ, и котораго выберете, такъ ужъ его въ умѣ держите, все держите, пока сыночекъ придетъ!

— А развѣ я не долженъ сказать вашему сыну, кого именно...

— Ни, ни, батюшка, ни единаго слова. Онъ самъ въ вашихъ мысляхъ откроетъ, что́ ему нужно. А вы только знакомца вашего хороше...енько въ умѣ держите;

да за обѣденнымъ столомъ винца выпейте — стаканчика два, три; винцо никогда не мѣшаетъ. Старуха разсмѣялась, облизнулась, провела рукою по рту и вздохнула.

— Такъ въ половинѣ восьмого? — спросилъ я, поднимаясь со стула.

— Въ половинѣ восьмого, батюшка, ваше благородіе: въ половинѣ восьмого, — успокоительно отвѣчала Мастридія Карповна.

Я простился со старухой и вернулся въ гостинницу. Я не сомнѣвался въ томъ, что меня собирались одурачить, но какимъ образомъ? вотъ что возбуждало мое любопытство. Съ Ардаліономъ я помѣнялся всего двумя, тремя словами. — Допустила? — спросилъ онъ меня, нахмуривъ брови, и на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: — Баба министръ! — Я принялся, по совѣту „министра“, перебирать своихъ покойничковъ. Послѣ довольно долгихъ колебаній, я остановился, наконецъ, на одномъ давно умершемъ старичкѣ, французѣ, бывшемъ моемъ гувернерѣ. Я выбралъ именно его не потому, чтобы чувствовалъ особенное къ нему влеченіе; но вся фигура его была такъ оригинальна, такъ не походила на современныя фигуры, что поддѣлаться подъ нее было совершенно невозможно. Онъ имѣлъ огромную голову, зачесанные назадъ пушистые бѣлые волосы, густыя черныя брови, крючковатый носъ и двѣ большія бородавки лиловаго цвѣта по срединѣ лба, носилъ зеленый фракъ съ мѣдными гладкими пуговицами, полосатый жилетъ со стоячимъ воротникомъ, жабо и манжетки. „Коли онъ мнѣ моего старика Дессѣра покажетъ“, подумалъ я, „ну, надо будетъ согласиться, что онъ колдунъ!“

За обѣдомъ я, по совѣту старухи, выпилъ бутылку

лафиту, первѣйшаго сорта, по увѣренію Ардаліона, но съ сильнѣйшимъ вкусомъ жженой пробки и съ густымъ осадкомъ сандала на днѣ каждой рюмки.

Ровно въ половинѣ восьмого я находился передъ домомъ, въ которомъ бесѣдовалъ съ почтенной Мастридіей Карповной. Всѣ ставни оконъ были заперты, но дверь была раскрыта. Я вошелъ въ домъ, взобрался по шаткой лѣстницѣ во второй этажъ, и, отворивъ дверь налѣво, очутился, какъ мнѣ предсказывала старушка, въ совершенно пустой, довольно просторной комнатѣ; сальная свѣчка, поставленная на подоконникъ, тускло ее освѣщала; у стѣны, напротивъ двери, стоялъ плетеный стулъ. Я снялъ со свѣчки, которая порядкомъ успѣла нагорѣть, усѣлся на стулъ и началъ ждать.

Первыя десять минутъ прошли довольно скоро; въ самой комнатѣ рѣшительно ничего не могло привлечь мое вниманіе; но я прислушивался къ каждому шороху, внимательно глядѣлъ на закрытую дверь... Сердце билось. За первыми десятью минутами прошли другія; потомъ полчаса, три четверти часа — и хоть бы что́ пошевельнулось кругомъ! Я нѣсколько разъ кашлянулъ, чтобы дать знать о моемъ присутствіи; я начиналъ скучать, сердиться: *этакимъ* образомъ быть одураченнымъ не входило въ мои разсчеты. Я уже собирался подняться со стула и, взявъ свѣчку съ окна, пойти внизъ... Я посмотрѣлъ на нее, свѣтильня опять нагорѣла грибомъ; но, отведши взоры отъ окна къ двери, я невольно вздрогнулъ: прислонясь къ этой самой двери, стоялъ человѣкъ. Онъ такъ проворно и безъ шума вошелъ, что я ничего не слышалъ.

На немъ была простая синяя чуйка; росту онъ былъ средняго и довольно плотенъ. Закинувъ руки за спину и потупивъ голову, онъ уставился на меня. При тускломъ свѣтѣ свѣчки, я не могъ хорошенько разглядѣть его черты: я видѣлъ только косматую гриву спутанныхъ волосъ, падавшихъ на лобъ, да крупныя, слегка искривленныя губы, да бѣлесоватые глаза. Я хотѣлъ-было заговорить съ нимъ, но вспомнилъ наставленіе Мастридіи и закусилъ губы. Вошедшій человѣкъ продолжалъ глядѣть на меня; я также глядѣлъ на него и, странное дѣло! въ одно и то же время я почувствовалъ нѣчто въ родѣ страха и, словно по приказанію, немедленно принялся думать о моемъ старомъ гувернерѣ. *Тотъ* все стоялъ у двери и дышалъ усиленно, точно на гору взбирался или ношу поднималъ, а глаза его какъ будто расширялись, какъ будто приближались ко мнѣ—и неловко мнѣ становилось подъ ихъ упорнымъ, тяжелымъ, грознымъ взоромъ; по временамъ эти глаза загорались зловѣщимъ внутреннимъ огонькомъ; подобный огонекъ замѣчалъ я у борзой собаки, когда она „воззрится“ въ зайца, и, подобно борзой собакѣ, *тотъ* весь устремлялся *своимъ* взоромъ вслѣдъ за моимъ, когда я „дѣлалъ угонку“, т.-е. пробовалъ отвести глаза въ сторону.

Такъ прошло не знаю сколько времени: быть можетъ, минута; быть можетъ, четверть часа. Онъ все глядѣлъ на меня; я все ощущалъ нѣкоторую неловкость и страхъ и все думалъ о французѣ. Раза два я попытался сказать самому себѣ: „что́ за вздоръ! что́ за комедія!“ попытался улыбнуться, пожать плечомъ... Напрасно! Всякое рѣшеніе во мнѣ тотчасъ „застывало“, — я другого слова подобрать не умѣю. Мною овладѣло какое-то оцѣ-

пенѣніе. Вдругъ я замѣтилъ, что *тотъ* уже отдѣлился отъ двери и стоялъ на шагъ или на два ближе ко мнѣ; потомъ онъ чуть-чуть подпрыгнулъ, обѣими ногами разомъ, и сталъ еще ближе... Потомъ еще... потомъ еще; а грозные глаза такъ и упирались во все мое лицо, и руки оставались за спиною, и широкая грудь дышала усиленно. Мнѣ эти прыжки показались смѣшными, но и жутко мнѣ становилось, и, что́ я уже никакъ понять не могъ, сонливость вдругъ начала находить на меня. Вѣки мои слипались... косматая фигура съ бѣлесоватыми глазами въ синей чуйкѣ задвоилась передо мной—и вдругъ совсѣмъ исчезла!.. Я встрепенулся: онъ опять стоялъ между дверью и мною, но уже гораздо ближе... Потомъ онъ опять исчезъ — словно туманъ набѣжалъ на него; опять появился... исчезъ опять... появился опять... и все ближе, ближе... его трудное, почти храпѣвшее дыханіе уже добѣгало до меня... Опять надвинулся туманъ, и вдругъ изъ этого тумана, начиная съ бѣлыхъ, кверху приподнятыхъ волосъ, явственно стала вырисовываться голова старика Дессе́ра! Да; вотъ его бородавки, его черныя брови, его носъ крючкомъ! Вотъ и зеленый фракъ съ мѣдными пуговицами, и полосатый жилетъ, и жабо... Я вскрикнулъ, я приподнялся... Старикъ исчезъ, и на мѣстѣ его я снова увидѣлъ человѣка въ синей чуйкѣ. Онъ подошелъ, шатаясь, къ стѣнѣ, уперся въ нее головой и обѣими руками и, задыхаясь какъ запаленная лошадь, хриплымъ голосомъ проговорилъ: „Чаю!“ Откуда ни возьмись Мастридія подскочила къ нему и, приговаривая:—Васинька, Васинька,—принялась заботливо утирать потъ, который такъ и струился съ его волосъ и лица. Я-было приблизился къ ней, но она такъ убѣдительно, такимъ раздирающимъ голосомъ воскликнула:—Ваше благородіе! отецъ милостивый, не губите, уйдите, Христа ради!—что

я повиновался; а она снова обратилась къ своему сыночку. — Кормилецъ, голубчикъ, успокаивала она его; сейчасъ тебѣ будетъ чай, сейчасъ. Да и вы, батюшка, чайку у себя дома выкушайте! — крикнула она мнѣ въ слѣдъ.

Вернувшись домой, я послушался Мастридіи и велѣлъ подать себѣ чаю, я чувствовалъ усталость — даже слабость.—Ну что-съ?—спросилъ меня Ардаліонъ:—были-съ? видѣли-съ?

— Онъ мнѣ, точно, показалъ что-то... чего я, признаюсь, не ожидалъ, — отвѣчалъ я.

— Великой премудрости человѣкъ!—замѣтилъ Ардаліонъ, вынося самоваръ; отъ купечества къ нимъ — баальшое уваженіе!

Ложась спать и размышляя о случившейся со мной исторіи, я наконецъ вообразилъ, что добился ея объясненія. Человѣкъ этотъ несомнѣнно обладалъ значительной магнетической силой; дѣйствуя, конечно, непонятнымъ для меня способомъ, на мои нервы, онъ такъ ясно, такъ опредѣленно возбудилъ во мнѣ образъ старика, о которомъ я думалъ, что мнѣ, наконецъ, показалось, что я его вижу передъ глазами... Наукѣ извѣстны подобныя „метастазы“ — перестановленія ощущеній. Прекрасно; но сила, способная производить такія дѣйствія, все-таки оставалась чѣмъ то удивительнымъ и таинственнымъ. „Что ни говори, думалъ я — я видѣлъ, своими глазами видѣлъ покойнаго моего гувернера!“

На слѣдующій день происходилъ балъ въ дворянскомъ собраніи. Отецъ Софи заѣхалъ ко мнѣ и напом-

нилъ мнѣ приглашеніе, которое я сдѣлалъ его дочери. Въ десятомъ часу вечера я уже стоялъ рядомъ съ нею посреди залы, освѣщенной множествомъ мѣдныхъ лампъ, и готовился выдѣлывать немудреные на французской кадрили подъ громогласныя завыванія военнаго оркестра. Народу съѣхалось пропасть; особенно много было дамъ, и прехорошенькихъ: но пальма первенства между ними непремѣнно осталась бы за моей дамой, если бы не нѣсколько странный, нѣсколько даже дикій ея взоръ. Я замѣтилъ, что она очень рѣдко мигала; несомнѣнное выраженіе искренности въ ея глазахъ не выкупало того, что̀ въ нихъ было необычнаго. Но сложена она была прелестно и двигалась граціозно, хоть и застѣнчиво. Когда она вальсировала и, немного перегнувъ назадъ свой станъ, наклоняла тонкую шею къ правому плечу, какъ бы желая отдалиться отъ своего танцора, ничего болѣе трогательно-молодого и чистаго нельзя было себѣ представить. Она была вся въ бѣломъ, съ бирюзовымъ крестикомъ на черной ленточкѣ.

Я пригласилъ ее на мазурку и постарался разговорить ее. Но она отвѣчала мало и неохотно, а слушала внимательно, съ тѣмъ же выраженіемъ задумчиваго изумленія, которое поразило меня въ первое мое свиданіе съ нею. Никакой тѣни кокетства въ ея лѣта, съ ея наружностію, и отсутствіе улыбки, и эти глаза, постоянно и прямо устремленные въ глаза собесѣдника — эти глаза, которые въ то же время какъ будто видятъ что̀-то другое, чѣмъ-то другимъ озабочены... Что за странное существо! Не зная, наконецъ, чѣмъ разшевелить ее, я вздумалъ разсказать ей мое вчерашнее приключеніе.

Она выслушала меня до конца съ видимымъ любопытствомъ, но, чего я никакъ не ожидалъ, не удивилась моему разсказу и только спросила меня, не Василіемъ-ли зовутъ *его?* Я вспомнилъ, что старуха при мнѣ называла его „Василькой".—Да; его имя Василій,—отвѣчалъ я;—развѣ вы его знаете?

— Здѣсь живетъ одинъ богоугодный человѣкъ, котораго зовутъ Василіемъ,—промолвила она;—я подумала, не онъ-ли?

— Богоугодность тутъ ни къ чему,—замѣтилъ я;—это простое дѣйствіе магнетизма — фактъ, интересный для докторовъ и естествоиспытателей.

Я принялся излагать свои воззрѣнія на ту особенную силу, которую зовутъ магнетизмомъ, на возможность подчиненія воли одного человѣка волѣ другого и т. п.; но мои, правда, нѣсколько сбивчивыя объясненія, казалось, не производили впечатлѣнія на мою собесѣдницу. Софи слушала, уронивъ на колѣни скрещенныя руки съ неподвижно-лежавшимъ въ нихъ вѣеромъ; она не играла имъ, она вообще не шевелила пальцами, и я чувствовалъ, что всѣ мои слова отскакивали отъ нея, какъ отъ каменной статуи. Она понимала ихъ, но у ней видимо были свои, незыблемыя и неискоренимыя убѣжденія.

— Не допускаете же вы чудесъ!—воскликнулъ я.

— Конечно, допускаю,—спокойно промолвила она.—Да и какъ возможно не допускать ихъ? Развѣ не сказано въ Евангеліи, что у кого на одно горчишное сѣмя вѣры, тотъ можетъ горы поднимать съ мѣста? Нужно только вѣру имѣть, чудеса будутъ.

— Видно, мало вѣры въ наше время стало,—возразилъ я:—что-то не слыхать про чудеса!

— Однако вотъ бываютъ же; вы сами видѣли. Нѣтъ; вѣра не перевелась въ наше время; а начало вѣры...

— Начало премудрости страхъ Божій,—перебилъ я.

— Начало вѣры,—продолжала Софи, нисколько не смутившись:—самоотверженіе... уничиженіе!

— Даже уничиженіе?—спросилъ я.

— Да. Гордость человѣческая, гордыня, высокомѣріе, вотъ что̀ надо искоренить до тла. Вы вотъ упомянули о волѣ... ее-то и надо сломить.

Я окинулъ взоромъ всю фигуру молоденькой дѣвушки, произносившей такія рѣчи... „А вѣдь этотъ ребенокъ не шутитъ!“ подумалось мнѣ. Я взглянулъ на нашихъ сосѣдей по мазуркѣ: они также взглянули на меня, и мнѣ показалось, что мое удивленіе ихъ забавляло; одинъ изъ нихъ даже улыбнулся мнѣ сочувственно, какъ бы желая сказать: „А? что̀? какова у насъ барышня-чудачка? здѣсь всѣ ее за такую знаютъ“.

— Вы попытались сломить свою волю? — обратился я снова къ Софи.

— Всякій обязанъ дѣлать то, что̀ ему кажется правдой,—отвѣчала она какимъ-то догматическимъ тономъ.

— Позвольте васъ спросить,—началъ я послѣ небольшого молчанія, — вѣрите-ли вы въ возможность вызывать мертвыхъ?

Софи тихо покачала головою.

— Мертвыхъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Душъ мертвыхъ нѣтъ; онѣ безсмертны и могутъ всегда явиться, когда захотятъ... Онѣ постоянно окружаютъ насъ.

— Какъ? Вы полагаете, что, напримѣръ, подлѣ того гарнизоннаго маіора, съ краснымъ носомъ, можетъ въ эту минуту витать безсмертная душа?

— Почему же нѣтъ? Солнечный свѣтъ освѣщаетъ же его и его носъ—а развѣ солнечный свѣтъ, всякій свѣтъ,

не отъ Бога? И что такое наружность? Для чистаго нѣтъ ничего нечистаго! Лишь бы учителя найти! наставника найти!

— Да позвольте, позвольте,—вмѣшался я, признаюсь, не безъ злорадства.—Вы желаете наставника... а духовникъ вашъ на что?

Софи холодно посмотрѣла на меня.

— Вы, кажется, хотите смѣяться надо мною. Батюшка мой духовный говоритъ мнѣ, что я должна дѣлать; но мнѣ нуженъ такой наставникъ, который самъ бы мнѣ на дѣлѣ показалъ, какъ жертвуютъ собою!

Она подняла глаза къ потолку. Своимъ дѣтскимъ лицомъ и этимъ выраженіемъ неподвижной задумчивости, тайнаго, постояннаго изумленія, она напоминала мнѣ до-Рафаэлевскихъ мадоннъ...

— Я читала гдѣ-то,—продолжала она, не оборачиваясь ко мнѣ и едва шевеля губами,—что одинъ вельможа велѣлъ себя похоронить подъ папертью церковною для того, чтобы всѣ приходившіе люди ногами попирали его, топтали... Вотъ это надо еще при жизни сдѣлать...

Бумъ! бумъ! тра-ра-рахъ!—гремѣли съ хоровъ литавры... Признаюсь, подобный разговоръ на балѣ показался мнѣ черезчуръ эксцентричнымъ; онъ невольно возбуждалъ во мнѣ мысли... свойства, совершенно противоположнаго религіозному. Я воспользовался приглашеніемъ моей дамы на одну изъ фигуръ мазурки, чтобы уже не возобновлять нашихъ quasi-богословскихъ преній.

Четверть часа спустя, я отвелъ mademoiselle Sophie къ ея родителю, а дня черезъ два я покинулъ городъ Т..., и образъ дѣвушки съ дѣтскимъ лицомъ и непроницаемой, точно каменной душой, скоро изгладился изъ моей памяти.

Минуло два года, и этому образу опять пришлось возникнуть предо мною. А именно: я разговаривалъ съ однимъ сослуживцемъ, только-что вернувшимся изъ поѣздки по южной Россіи. Онъ прожилъ нѣсколько времени въ городѣ Т... и сообщилъ мнѣ кое-какія свѣдѣнія о тамошнемъ обществѣ.—Кстати!—воскликнулъ онъ,—вѣдь ты, кажется, хорошо знакомъ съ В. Г. Б?

— Какъ-же, знакомъ.

— И дочь его, Софью, ты знаешь?

— Я видѣлъ ее раза два.

— Представь: сбѣжала!

— Какъ такъ?

— Да такъ же. Вотъ уже три мѣсяца, какъ безъ вѣсти пропала. И удивительно то, что никто не можетъ сказать, съ кѣмъ она сбѣжала. Представь, никакой догадки, ни малѣйшаго подозрѣнія! Она всѣмъ женихамъ отказывала. И поведенія была самаго скромнаго. Ужъ эти мнѣ тихони, да богомолки! Скандалъ по губерніи ужасный! Б. въ отчаяніи... И какая ей была нужда бѣжать? Отецъ во всемъ исполнялъ ея волю. Главное, непостижимо то, что всѣ губернскіе ловеласы на лицо, всѣ до единаго.

— И ея до сихъ поръ не отыскали?

— Говорятъ тебѣ, какъ въ воду канула! Одной богатой невѣстой на свѣтѣ меньше, вотъ что скверно.

Извѣстіе это меня очень удивило. Оно никакъ не вязалось съ тѣмъ воспоминаніемъ, которое я сохранилъ о Софіи Б. Но мало-ли чего не бываетъ!

Осенью того же года меня, опять-таки по служебнымъ дѣламъ, судьба закинула въ С...кую губернію, находящуюся, какъ извѣстно, рядомъ съ губерніей Т...ской.

Погода стояла дождливая и холодная; изнуренныя почтовыя лошадёнки едва тащили мой легонькій тарантасъ по растворившемуся чернозему большой дороги. Помнится, одинъ день выдался особенно неудачный: раза три пришлось „сидѣть“ въ грязи по ступицу; ямщикъ мой то-и-дѣло бросалъ одну колею и съ гиканіемъ и завываніемъ переползалъ въ другую; но и въ той не было легче. Словомъ, къ вечеру я такъ измучился, что, добравшись до станціи, рѣшился переночевать на постояломъ дворѣ. Мнѣ отвели комнатку съ деревяннымъ продавленнымъ диваномъ, покрившимся поломъ и оборванными бумажками по стѣнамъ; въ ней пахло квасомъ, рогожей, лукомъ и даже скипидаромъ, и мухи роями сидѣли повсюду; но по крайней мѣрѣ отъ непогоды можно было укрыться; а дождь, какъ говорится, зарядилъ на цѣлыя сутки. Я велѣлъ поставить самоваръ и, присѣвъ на диванъ, предался тѣмъ дорожнымъ нерадостнымъ думамъ, которыя такъ знакомы путешественникамъ на Руси.

Онѣ были прерваны тяжелымъ стукомъ, раздавшимся въ общей избѣ, отъ которой моя комната отдѣлялась дощатой перегородкой. Стукъ этотъ сопровождался отрывочнымъ, зычнымъ бряцаніемъ, подобнымъ лязгу цѣпей, и внезапно гаркнулъ грубый мужской голосъ:—Благослови Богъ всѣхъ сущихъ *у дому сему*. Благослови Богъ! Благослови Богъ! Аминь, аминь, разсыпься!—повторилъ голосъ, какъ-то нескладно и дико вытягивая послѣдній слогъ каждаго слова... Послышался шумный вздохъ, и грузное тѣло съ тѣмъ же бряцаньемъ опустилось на лавку.

— Акулина! Раба божія, подь сюда! — заговорилъ опять голосъ: — зри, яко нагъ, яко благъ... Ха-ха-ха! Тьфу! Господи Боже мой, Господи Боже мой, Господи

Боже мой,—загудѣлъ голосъ, какъ дьячекъ на клиросѣ,—Господи Боже мой, Владыка живота моего, воззри на окаянство мое... О-хо-хо! Ха-ха... Тьфу! А дому сему благодать въ часъ седьмый!

— Кто это? — спросилъ я тароватую мѣщанку-хозяйку, вошедшую ко мнѣ съ самоваромъ.

— А это, батюшка вы мой,—отвѣчала она мнѣ торопливымъ шопотомъ,—блаженный, божій человѣкъ. Въ нашихъ краяхъ недавно проявился: вотъ и насъ посѣтить изволилъ. Въ экую непогодь! Такъ съ него, голубчика, ручьями и льетъ! И вериги вы бы посмотрѣли на немъ какія—страсть!

— Благослови Богъ! Благослови Богъ! — раздался снова голосъ. — Акулина! А Акулина! Акулинушка — другъ! И гдѣ нашъ рай? Рай нашъ прекрасный? Въ пустынѣ нашъ рай... рай... А дому сему, на починѣ вѣку сего... радости веліи... о... о... о... Голосъ забормоталъ что-то невнятное, и вдругъ, вслѣдъ за протяжнымъ зѣвкомъ, опять послышался сиплый хохотъ. Хохотъ этотъ вырывался всякій разъ какъ бы невольно, и всякій разъ послѣ него слышалось негодующее плеваніе.

— Эхъ-ма! Степаныча нѣтъ! вотъ наше горе-то!—словно про себя промолвила хозяйка, со всѣми признаками глубочайшаго вниманія остановившаяся у двери.—Словцо какое спасительное скажетъ, а мнѣ бабѣ и не вдомёкъ!—Она проворно вышла.

Въ перегородкѣ была щель; я приложился къ ней глазомъ. Юродивый сидѣлъ на лавкѣ ко мнѣ задомъ: я видѣлъ только его громадную, какъ пивной котелъ, косматую голову, да широкую, сгорбленную спину подъ заплатаннымъ мокрымъ рубищемъ. Передъ нимъ, на земля-

номъ полу, стояла на колѣняхъ тщедушная женщина въ старомъ, тоже мокромъ, мѣщанскомъ шушунѣ съ темнымъ платкомъ, надвинутымъ на самые глаза. Она силилась стащить сапогъ съ ноги юродиваго, пальцы ея скользили по загрязненной, осклизлой кожѣ. Хозяйка стояла возлѣ нея со сложенными на груди руками, и благоговѣйно взирала на „божьяго человѣка“. Онъ попрежнему бурчалъ какія-то невнятныя рѣчи.

Наконецъ, женщинѣ въ шушунѣ удалось сдернуть сапогъ. Она чуть навзничь не упала, однако справилась и принялась разматывать онучи юродиваго. На подъемѣ ноги оказалась рана... Я отвернулся.

— Чайкомъ не прикажешь-ли поподчивать, родимый?—послышался подобострастный голосъ хозяйки.

— Что выдумала!—отозвался юродивый.—Грѣшное тѣло баловать... Охо-хо! Всѣ кости ему сокрушить... а она—чай! Охъ, охъ, старица почтенная, сатана въ насъ силенъ! На него гладъ, на него хладъ, на него хляби небесныя, дожди проливные, пронзительные, а онъ ничего, живучъ! Помни день покрова Богородицы! Будетъ тебѣ, будетъ много!

Хозяйка легонько даже ахнула отъ удивленія.

— Только ты слушай меня! Все отдай, голову отдай, рубаху отдай! И просить не будутъ, а ты отдай! Потому, Богъ видитъ! Али крышу долго разметать? Далъ Онъ тебѣ, Милостивецъ, хлѣба, ну и сажай его въ печь! А Онъ все видитъ! Ви....и....ди....итъ! Глазъ въ треугольникѣ чей? сказывай.... чей?

Хозяйка украдкой перекрестилась подъ косынкой.

— Древлій врагъ, адамантъ! А....да....мантъ! А.... да....мантъ, повторилъ нѣсколько разъ юродивый со скрежетомъ зубовъ. Древлій змій! Но да воскреснетъ Богъ! Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его! Я всѣхъ

мертвыхъ призову! На врага его пойду.... Ха-ха-ха! Тьфу!

— Маслица нѣтъ-ли у васъ,—произнесъ другой, едва слышный голосъ;—дайте на ранку приложить.... тряпочка у меня чистая есть.

Я снова глянулъ сквозь щель: женщина въ шушунѣ все еще возилась съ больной ногой юродиваго... „Магдалина!“ подумалъ я.

— Сейчасъ, сейчасъ, голубушка,—промолвила хозяйка и, войдя ко мнѣ въ комнату, достала ложечкой масла изъ лампадки передъ образомъ.

— Кто это ему прислуживаетъ? спросилъ я.

— А не знаемъ, батюшка, кто такая; тоже спасается, чай грѣхи заслуживаетъ. Ну да ужъ и святой же человѣкъ!

— Акулинушка, чадушко мое милое, дочка моя любезная,—твердилъ между тѣмъ юродивый и вдругъ заплакалъ.

Стоявшая передъ нимъ на колѣняхъ женщина возвела на него свои глаза... Боже мой, гдѣ видѣлъ я эти глаза?

Хозяйка подошла къ ней съ ложечкой масла. Та кончила свою операцію и, поднявшись съ полу, спросила, нѣтъ ли чистаго чуланчика, да сѣнца немного... „Василій Никитичъ на сѣнѣ почивать любитъ“, прибавила она.

— Какъ не быть, пожалуйте,—отвѣчала хозяйка;—пожалуй, родименькій,—обратилась она къ юродивому: —обсушись, отдохни.—Тотъ закряхтѣлъ, медлительно поднялся съ лавки—его вериги опять звякнули—и, обернувшись ко мнѣ лицомъ и поискавъ образовъ глазами, началъ креститься большимъ крестомъ надтмашъ.

Я тотчасъ узналъ его: это былъ тотъ самый мѣща-

нинъ Василій, который нѣкогда показалъ мнѣ моего покойнаго гувернера!

Черты его мало измѣнились; только выраженіе ихъ стало еще необычнѣе, еще страшнѣе... Нижняя часть опухшаго лица обросла взъерошенною бородою. Оборванный, грязный, одичалый, онъ внушалъ мнѣ еще больше отвращенія, чѣмъ ужаса. Онъ пересталъ креститься, но продолжалъ блуждать безсмысленнымъ взоромъ по угламъ, по полу, словно ждалъ чего-то...

— Василій Никитичъ, пожалуйте,—промолвила съ поклономъ женщина въ шушунѣ. Онъ вдругъ взмахнулъ головой и повернулся, да запутался ногами, зашатался... Спутница его тотчасъ къ нему подскочила и поддержала его подъ мышку. Судя по голосу, да по стану, она казалась еще молодой женщиной: лица ея почти невозможно было видѣть.

— Акулинушка, другъ!—проговорилъ еще разъ юродивый какимъ-то потрясающимъ голосомъ и, широко раскрывъ ротъ и ударивъ себя кулакомъ въ грудь, простоналъ глухимъ, со дна души поднявшимся стономъ. Оба вышли изъ комнаты вслѣдъ за хозяйкой.

Я легъ на свой жесткій диванъ и долго размышлялъ о томъ, что́ видѣлъ. Мой магнетизеръ сталъ окончательно юродивымъ. Вотъ куда повернула его та сила, которую нельзя было не признать въ немъ!

На слѣдующее утро я собрался въ путь. Дождь лилъ по вчерашнему, но я не могъ долѣе мѣшкать. На лицѣ моего слуги, подававшаго мнѣ умываться, играла особенная, сдержанно-насмѣшливая улыбочка. Я хорошо понималъ эту улыбочку: она обозначала, что слуга мой узналъ что-нибудь невыгодное или даже неприличное на

счетъ господъ. Онъ видимо сгаралъ нетерпѣніемъ сообщить мнѣ это.

— Ну, что такое?—спросилъ я наконецъ.

— Вчерашняго юродивца изволили видѣть?—немедленно заговорилъ мой слуга.

— Видѣлъ; что же далѣе?

— А товарку ихнюю тоже видѣли-съ?

Видѣлъ и ее.

— Она-съ барышня; дворянскаго происхожденія.

— Какъ?

— Истину вамъ докладываю-съ; купцы сегодня изъ Т... проѣзжали; признали ее. Фамилію даже называли: только я запамятовалъ-съ.

Меня какъ молніей освѣтило.—Юродивый еще здѣсь, или уже ушелъ?—спросилъ я.

— Кажись, еще не уходилъ. Давича сидѣлъ подъ воротами и мудреное такое творилъ, что и постигнуть невозможно. Благуетъ съ жиру; потому, выгоду въ томъ себѣ находитъ.

Слуга мой принадлежалъ къ тому же разряду образованныхъ дворовыхъ, какъ и Ардаліонъ.

— И барышня съ нимъ?

— Съ ними-съ; дежурятъ тоже.

Я вышелъ на крыльцо и увидѣлъ юродиваго. Онъ сидѣлъ на лавочкѣ подъ воротами и, упершись въ нее обѣими ладонями, раскачивалъ направо и налѣво понуренную голову,—ни дать, ни взять дикій звѣрь въ клѣткѣ. Густыя космы курчавыхъ волосъ закрывали ему глаза и мотались изъ стороны въ сторону такъ же какъ и отвисшія губы... Странное, почти нечеловѣческое бормотаніе вырывалось изъ нихъ. Спутница его только-что умы-

лась изъ висѣвшаго на жердочкѣ кувшинка и, не успѣвъ еще накинуть платокъ себѣ на голову, пробиралась назадъ къ воротамъ по узкой дощечкѣ, положенной черезъ темныя лужицы навознаго двора. Я взглянулъ на эту, теперь со всѣхъ сторонъ открытую голову и невольно всплеснулъ руками отъ изумленія: предо мной была Софи́ Б!

Она быстро обернулась и уставила на меня свои голубые, по-прежнему неподвижные глаза. Она очень похудѣла, кожа загрубѣла и приняла изжелта-красный оттѣнокъ загара, носъ заострился, и губы обозначились рѣзче. Но она не подурнѣла; только къ прежнему, задумчиво-изумленному выраженію присоединилось другое, рѣшительное, почти смѣлое, сосредоточенно-восторженное выраженіе. Дѣтскаго въ этомъ лицѣ уже не оставалось ни слѣда.

Я приблизился къ ней.—Софья Владиміровна,—воскликнулъ я,—неужели это вы? Въ этомъ платьѣ... въ этомъ обществѣ...

Она вздрогнула, еще пристальнѣе взглянула на меня, какъ бы желая узнать, кто съ ней заговариваетъ, и, не отвѣтивъ мнѣ ни слова, такъ и бросилась къ своему товарищу.

— Акулинушка,—залепеталъ онъ,—тяжело вздохнувъ,—грѣхи наши, грѣхи...

— Василій Никитичъ, идемте сейчасъ! Слышите, сейчасъ, сейчасъ,—промолвила она, одной рукой надергивая платокъ себѣ на лобъ, а другой подхватывая юродиваго подъ локоть,—идемте, Василій Никитичъ. Здѣсь опасно.

— Иду, матушка, иду,—покорно отвѣтилъ юродивый и, перегнувшись всѣмъ тѣломъ впередъ, приподнялся съ лавочки.—Вотъ только цѣпочечку-то подвязать...

Я еще разъ подошелъ къ Софьѣ и назвалъ себя, я началъ умолять ее выслушать меня, сказать мнѣ одно слово, я указывалъ ей на дождь, который полилъ какъ изъ ведра, я попросилъ ее пощадить собственное здоровье, здоровье ея товарища, я упомянулъ объ ея отцѣ... Но ею овладѣло какое-то злое, какое-то безпощадное одушевленіе. Не обращая на меня никакого вниманія, стиснувъ зубы и прерывисто дыша, она въ полголоса, короткими повелительными словами, понукала растерявшагося юродиваго, подпоясала его, подвязала его вериги, нахлобучила ему на волосы суконный дѣтскій картузъ съ изломаннымъ козырькомъ, всунула ему палку въ руку, накинула самой себѣ на плечи котомку и вышла съ нимъ за ворота, на улицу... Остановить ее самоё я не имѣлъ права, да оно ни къ чему бы и не послужило; а на послѣдній мой отчаянный возгласъ она даже не обернулась. Поддерживая „божьяго человѣка“ подъ руку, она проворно шагала по черной уличной грязи, и чрезъ нѣсколько мгновеній, сквозь тусклую мглу туманнаго утра, сквозь частую сѣтку падавшаго дождя, въ послѣдній разъ мелькнули предо мною обѣ фигуры, юродиваго и Софьи... Онѣ завернули за уголъ выдавшейся избы и исчезли навсегда.

Я вернулся къ себѣ въ комнату. Раздумье нашло на меня. Я ничего не понималъ; я не понималъ какъ могла такая хорошо воспитанная, молодая, богатая дѣвушка бросить все и всѣхъ, родной домъ, семью, знакомыхъ, махнуть рукой на всѣ привычки, на всѣ удобства жизни, и для чего? Для того, чтобы пойти въ слѣдъ полусумасшедшему бродягѣ, чтобъ сдѣлаться его прислужницей? Ни на одно мгновеніе нельзя было оста-

новиться на мысли, что поводомъ къ подобному рѣшенію была сердечная, хоть и извращенная наклонность, любовь или страсть... Стоило взглянуть на отталкивающую фигуру „божьяго человѣка“, чтобъ тотчасъ выкинуть подобную мысль изъ головы! Нѣтъ, Софи́ осталась чистой; и какъ она однажды сказала мнѣ, для нея не было ничего нечистаго. Я не понималъ поступка Софи́; но я не осуждалъ ее, какъ не осуждалъ впослѣдствіи другихъ дѣвушекъ, также пожертвовавшихъ всѣмъ тому, что̀ *онѣ* считали правдой, въ чемъ *онѣ* видѣли свое призваніе. Я не могъ не сожалѣть, что Софи́ пошла именно *этимъ* путемъ, но отказать ей въ удивленіи, скажу болѣе, въ уваженіи, я также не могъ. Не даромъ она говорила мнѣ о самоотверженіи, объ уничиженіи... у *ней* слова не рознились съ дѣломъ. Она искала наставника и вождя, и нашла его... въ комъ, Боже мой!

Да, она заставила топтать, попирать себя ногами... Впослѣдствіи времени до меня дошли слухи, что семьѣ удалось наконецъ отыскать заблудшую овцу и вернуть ее домой. Но дома она пожила недолго и умерла „молчальницей“, не говорившей ни съ кѣмъ.

Миръ сердцу твоему, бѣдное, загадочное существо! Василій Никитичъ, вѣроятно, до сихъ поръ юродствуетъ; желѣзное здоровье подобныхъ людей по истинѣ изумительно. Развѣ падучая его сломила.

Баденъ-Баденъ. 1869.

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИРЪ.

НАСЪ было человѣкъ шесть, собравшихся въ одинъ зимній вечеръ у стариннаго университетскаго товарища. Бесѣда зашла о Шекспирѣ, объ его типахъ, о томъ, какъ они глубоко и вѣрно выхвачены изъ самыхъ нѣдръ человѣческой „сути“. Мы особенно удивлялись ихъ жизненной правдѣ, ихъ вседневности; каждый изъ насъ называлъ тѣхъ Гамлетовъ, тѣхъ Отелло, тѣхъ Фальстафовъ, даже тѣхъ Ричардовъ Третьихъ и Макбетовъ— (этихъ послѣднихъ, правда, только въ возможности) — съ которыми ему пришлось сталкиваться.

— А я, господа,—воскликнулъ нашъ хозяинъ, человѣкъ уже пожилой, — зналъ одного короля Лира!

— Какъ такъ? — спросили мы его.

— Да такъ же. Хотите, я разскажу вамъ?

— Сдѣлайте одолженіе.

И нашъ пріятель немедленно приступилъ къ повѣствованію.

I.

„Все мое дѣтство, — началъ онъ — и первую молодость до пятнадцатилѣтняго возраста — я провелъ въ деревнѣ, въ имѣніи моей матушки, богатой помѣщицы ...й губерніи. Едва-ли не самымъ рѣзкимъ впечатлѣніемъ того уже

далекаго времени осталась въ моей памяти фигура нашего ближайшаго сосѣда, нѣкоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлѣнію: ничего подобнаго Харлову я уже въ жизни потомъ не встрѣчалъ. Представьте себѣ человѣка росту исполинскаго! На громадномъ туловищѣ сидѣла нѣсколько искоса, безъ всякаго признака шеи, чудовищная голова; цѣлая копна спутанныхъ, желто-сѣдыхъ волосъ вздымалась надъ нею, зачинаясь чуть не отъ самыхъ взъерошенныхъ бровей. На обширной площади сизаго, какъ бы облупленнаго лица, торчалъ здоровенный, шишковатый носъ, надменно топорщились крошечные голубые глазки, и раскрывался ротъ, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвѣта съ остальнымъ лицомъ. Голосъ изъ этого рта выходилъ хотя сиплый, но чрезвычайно крѣпкій и зычный... Звукъ его напоминалъ лязгъ желѣзныхъ полосъ, везомыхъ въ телѣгѣ по дурной мостовой — и говорилъ Харловъ, точно кричалъ кому-то въ сильный вѣтеръ черезъ широкій оврагъ. Трудно было сказать, что̀ именно выражало лицо Харлова, такъ оно было пространно... Однимъ взглядомъ его, бывало, и не окинешь! Но непріятно оно не было — нѣкоторая даже величавость замѣчалась въ немъ, только ужъ очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки — тѣ же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я безъ нѣкотораго почтительнаго ужаса не могъ взирать на двухъ-аршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобныя мельничнымъ жерновамъ; но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи — съ завертками и выгибами: щеки такъ и приподнимали ихъ съ обѣихъ сторонъ. Носилъ Мартынъ Петровичъ — и зиму и лѣто — казакинъ изъ зеленаго сукна, подпоясанный черкесскимъ ремешкомъ, и смазные сапоги; гал-

стуха я никогда на немъ не видалъ, да и вокругъ чего подвязалъ бы онъ галстухъ? Дышалъ онъ протяжно и тяжко, какъ быкъ, но ходилъ безъ шума. Можно было подумать, что, попавши въ комнату, онъ постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался съ мѣста на мѣсто осторожно, все больше бокомъ, словно крадучись. Силой онъ обладалъ истинно-геркулесовской и вслѣдствіе этого пользовался большимъ почетомъ въ околоткѣ: народъ нашъ до сихъ поръ благоговѣетъ передъ богатырями. Про него даже сложились легенды: разсказывали, что онъ однажды въ лѣсу встрѣтился съ медвѣдемъ и чуть не поборолъ его; что, заставъ у себя на пасѣкѣ чужого мужика-вора, онъ его вмѣстѣ съ телѣгой и лошадью перебросилъ черезъ плетень, и тому подобное. Самъ Харловъ никогда не хвастался своей силой.— „Коли десница у меня благословенная,—говаривалъ онъ,— такъ на то была воля Божія!“—Онъ былъ гордъ: только не силою своею онъ гордился, а своимъ званіемъ, происхожденіемъ, своимъ умомъ-разумомъ.

— Нашъ родъ отъ вшеда (онъ такъ выговаривалъ слово шведъ), отъ вшеда Харлуса ведется, — увѣрялъ онъ;—въ княженіе Ивана Васильевича Темнаго (вонъ оно когда!) пріѣхалъ въ Россію; и не пожелалъ тотъ вшедъ Харлусъ быть чухонскимъ графомъ — а пожелалъ быть россійскимъ дворяниномъ и въ золотую книгу записался. Вотъ мы Харловы откуда взялись!... И по той самой причинѣ мы всѣ, Харловы, урождаемся бѣлокурые, очами свѣтлые и чистые лицомъ! потому снѣговики!

— Да Мартынъ Петровичъ,—попытался я было возразить ему,—Ивана Васильевича Темнаго не было вовсе, а былъ Иванъ Васильевичъ Грозный. Темнымъ прозывался великій князь Василій Васильевичъ.

— Ври еще! — спокойно отвѣтилъ мнѣ Харловъ; — коли я говорю, стало оно такъ!

Однажды матушка вздумала похвалить его въ глаза, за его дѣйствительно-замѣчательное безкорыстіе.

— Эхъ, Наталья Николаевна! — промолвилъ онъ почти съ досадой,—нашли, за что хвалить! Намъ, господамъ, нельзя инако; чтобъ никакой смердъ, земецъ, подвластный человѣкъ и думать о насъ худого не дерзнулъ! Я — Харловъ, фамилію свою вонъ откуда веду... (тутъ онъ показалъ пальцемъ куда-то очень высоко надъ собою въ потолокъ) и чести чтобъ во мнѣ не было! Да какъ это возможно?

Въ другой разъ вздумалось гостившему у моей матушки заѣзжему сановнику подтрунить надъ Мартыномъ Петровичемъ. Тотъ опять заговорилъ о вшедѣ Харлусѣ, который выѣхалъ въ Россію...

— При царѣ Горохѣ? — перебилъ сановникъ.

— Нѣтъ, не при царѣ Горохѣ — а при великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ Темномъ.

— А я такъ полагаю, — продолжалъ сановникъ, — что родъ вашъ гораздо древнѣе и восходитъ даже до временъ допотопныхъ, когда водились еще мастодонты и мегалотеріи...

Эти ученые термины были совершенно неизвѣстны Мартыну Петровичу; но онъ понялъ, что сановникъ трунитъ надъ нимъ.

— Можетъ-быть,—брякнулъ онъ,—нашъ родъ точно оченно древній: въ то время, какъ мой пращуръ въ Москву прибылъ, сказываютъ, жилъ въ ней дуракъ не хуже вашего превосходительства, а такіе дураки нарождаются только разъ въ тысячу лѣтъ.

Сановникъ взбѣленился, а Харловъ качнулъ головой назадъ, выставилъ подбородокъ, фыркнулъ да и былъ

таковъ. Дня два спустя, онъ снова явился. Матушка начала упрекать его. — Урокъ ему, сударыня, — перебилъ Харловъ; — не наскакивай зря, спросись прежде, съ кѣмъ дѣло имѣешь. Младъ еще больно, учить его надо. — Сановникъ былъ почти однихъ лѣтъ съ Харловымъ; но этотъ исполинъ привыкъ всѣхъ людей считать недорослями. Очень ужъ онъ на себя надѣялся и рѣшительно никого не боялся. — Развѣ мнѣ могутъ что сдѣлать? Гдѣ такой человѣкъ на свѣтѣ есть? — спрашивалъ онъ и вдругъ принимался хохотать короткимъ, но оглушительнымъ хохотомъ.

II.

Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала съ особеннымъ радушіемъ и многое ему спущала: онъ, лѣтъ двадцать-пять тому назадъ, спасъ ей жизнь, удержавъ ея карету на краю глубокаго оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартынъ Петровичъ такъ и не выпустилъ изъ рукъ схваченнаго имъ колеса — хотя кровь брызнула у него изъ-подъ ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилѣтнюю сироту, воспитанную у ней въ домѣ; ему тогда минуло сорокъ лѣтъ. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна, онъ, говорятъ, на ладони внесъ ее къ себѣ въ домъ, и пожила она съ нимъ недолго; однако родила ему двухъ дочерей. Матушка моя и послѣ ея смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она помѣстила старшую дочь его въ губернскій пансіонъ, потомъ сыскала ей мужа — и уже имѣла другого на примѣтѣ для второй. Харловъ былъ хозяинъ порядочный, землицы за нимъ водилось десятинъ съ триста и обстроил-

ся онъ помаленьку, а ужъ какъ крестьяне ему повиновались,—объ этомъ и толковать нечего! По тучности своей, Харловъ почти никуда не ходилъ пѣшкомъ: земля его не носила. Онъ всюду разъѣзжалъ на низенькихъ бѣговыхъ дрожкахъ и самъ правилъ лошадью, чахлой, тридцатилѣтней кобылой со шрамомъ отъ раны на плечѣ: эту рану она получила въ бородинскомъ сраженіи подъ вахмистромъ кавалергардскаго полка. Лошадь эта постоянно хромала какъ-то на всѣ четыре ноги разомъ; идти шагомъ она не могла, а только перетрусывала рысцей, въ припрыжку; ѣла она чернобыльникъ и полынь по межамъ, чего я ни за какой другой лошадью не замѣчалъ. Помнится, я всегда недоумѣвалъ, какъ могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смѣю повторить, сколько въ нашемъ сосѣдѣ насчитывали пудовъ. За спиной Мартына Петровича помѣщался на бѣговыхъ дрожкахъ его черномазый казачекъ Максимка. Прижавшись всѣмъ тѣломъ и лицомъ къ своему барину и упираясь босыми ногами въ заднюю ось дрожекъ, онъ казался листикомъ или червякомъ, случайно приставшимъ къ воздвигавшейся передъ нимъ исполинской тушѣ. Тотъ же казачекъ разъ въ недѣлю брилъ Мартына Петровича. Для исполненія этой операціи, онъ, говорятъ, становился на столъ; иные шутники увѣряли, что онъ принужденъ былъ бѣгать вокругъ подбородка своего барина. Харловъ не любилъ по-долгу сидѣть дома, и потому его частенько можно было видѣть разъѣзжающимъ въ своемъ неизмѣнномъ экипажѣ, съ возжами въ одной рукѣ (другою онъ хватски, съ вывертомъ локтя, опирался на колѣно), съ крошечнымъ старымъ картузомъ на самомъ верху головы. Онъ бодро посматривалъ кругомъ своими медвѣжьими глазенками, окликалъ громовымъ голосомъ всѣхъ встрѣчныхъ мужиковъ, мѣщанъ,

купцовъ; попамъ, которыхъ очень не любилъ, посылалъ крѣпкія посулы, и однажды, поровнявшись со мною (я вышелъ прогуляться съ ружьемъ), такъ заатукалъ на лежавшаго возлѣ дороги зайца, что стонъ и звонъ стояли у меня въ ушахъ до самаго вечера.

III.

Матушка моя, какъ я уже сказалъ, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уваженіе онъ питалъ къ ея особѣ. — Барыня! госпожа! нашего поля ягодка!—такъ отзывался онъ о ней. Онъ величалъ ее благодѣтельницей, а она видѣла въ немъ преданнаго великана, который не усомнился бы пойти за нее одинъ на цѣлую ватагу мужиковъ;—и хотя не предвидѣлось даже возможности подобнаго столкновенія, однако, по понятіямъ матушки, при отсутствіи мужа (она рано овдовѣла), такимъ защитникомъ, какъ Мартынъ Петровичъ, брезгать не слѣдовало. Притомъ же человѣкъ онъ былъ прямой, ни въ комъ не заискивалъ, денегъ не занималъ, вина не пилъ—и глупъ тоже не былъ, хотя образованія не получилъ никакого. Матушка довѣряла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завѣщаніе, она потребовала его въ свидѣтели, и онъ нарочно ѣздилъ домой за желѣзными круглыми очками, безъ которыхъ писать не могъ; и съ очками-то на носу онъ едва-едва въ теченіе четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успѣлъ начертать свой чинъ, имя, отчество и фамилію, причемъ буквы ставилъ огромныя, четырехъ-угольныя, съ титлами и хвостами, а совершивъ свой трудъ, объявилъ, что усталъ, и что ему—что писать, что блохъ ловить—все едино. Да, матушка

его уважала... однако, дальше столовой его у насъ не пускали. Ужъ очень сильный шелъ отъ него духъ: землей отдавало отъ него, лѣснымъ дромомъ, тиной болотной. „Какъ есть лѣшій!“ увѣряла моя старая няня. Къ обѣду Мартыну Петровичу ставили въ углу особый столъ—и онъ этимъ не обижался—онъ зналъ, что другимъ неловко было сидѣть съ нимъ рядомъ—да и ему было привольнѣе ѣсть: а ѣлъ онъ такъ, какъ, я полагаю, не ѣдалъ никто со временъ Полифэма. Для него всегда, въ самомъ началѣ обѣда, припасали, въ видахъ предосторожности, горшокъ каши фунтовъ въ шесть: „а то вѣдь ты меня объѣшь!“ говаривала матушка.—„И то, сударыня, объѣмъ!“ отвѣчалъ, ухмыляясь, Мартынъ Петровичъ.

Матушка любила слушать его разсужденія о какомъ-нибудь хозяйственномъ предметѣ; но долго не могла выдерживать его голосъ.

— Что это, мой батюшка!—восклицала она:—ты бы отъ этого хоть полечился, что-ли! Совсѣмъ оглушилъ меня. Этакая труба!

— Наталья Николаевна! Благодѣтельница!—отвѣчалъ обыкновенно Мартынъ Петровичъ. Я въ своей гортани не воленъ. Да и какое лекарство меня пронять можетъ—извольте посудить? Я вотъ лучше помолчу маленечко.

Дѣйствительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Онъ же никогда и боленъ не бывалъ.

Разсказывать онъ не умѣлъ и не любилъ. „Отъ долгихъ рѣчей одышка бываетъ“, замѣчалъ онъ съ укоризной. Только когда его наводили на двѣнадцатый годъ (онъ служилъ въ ополченіи и получилъ бронзовую медаль, которую по праздникамъ носилъ на владимірской ленточкѣ), когда его распрашивали про французовъ,

онъ сообщалъ кой-какіе анекдоты, хотя постоянно увѣрялъ притомъ, что никакихъ французовъ, настоящихъ, въ Россію не приходило, а такъ, мародеришки съ голодухи набѣжали, и что онъ много этой швали по лѣсамъ колачивалъ.

IV.

А между тѣмъ и на этого несокрушимаго, самоувѣреннаго исполина находили минуты меланхоліи и раздумья. Безъ всякой видимой причины онъ вдругъ начиналъ скучать; запирался одинъ къ себѣ въ комнату, и гудѣлъ—именно гудѣлъ, какъ цѣлый пчелиный рой; либо призывалъ казачка Максимку и приказывалъ ему или читать вслухъ изъ единственной, забредшей къ нему въ домъ, книги, разрозненнаго тома Новиковскаго „Покоющаго Трудолюбца“,—или пѣть. И Максимка, который, по странной игрѣ случая, умѣлъ читать по складамъ, принимался, съ обычнымъ перерубаніемъ словъ и перестановленіемъ удареній, выкрикивать фразы въ родѣ слѣдующей: — „но чé-ловѣкъ страстный выводитъ изъ „сего пустого мѣста, кото-рое онъ находитъ въ тваряхъ, „совсѣмъ противныя слѣдствія. Каждая тварь особо, ска„зываетъ онъ, не сильна сдѣлать меня счас-тливымъ!“ и т. д. *), или затягивалъ тончайшимъ голоскомъ заунывную пѣсенку, въ которой только можно было разобрать что: „И.... и... э.... и.... э.... и.... Ааа.... ска!... О.... у.... у... би... и,... и... и... ла!“ А Мартынъ Петровичъ качалъ головою, упоминалъ о бренности, о томъ, что все пойдетъ прахомъ, увянетъ, яко быліе; прейдетъ— и не будетъ! Попалась ему какъ-то картинка, изобра-

*) „Покоющійся Трудолюбецъ“, періодическое изданіе и т. д. Москва, 1785 г. Часть 3-я. Стран. 23, строка 11 сверху.

жавшая горящую свѣчу, въ которую со всѣхъ сторонъ, напрягши щеки, дуютъ вѣтры; внизу стояла подпись: „Такова жизнь человѣческая!“ Очень понравилась ему эта картинка; онъ повѣсилъ ее у себя въ кабинетѣ; — но въ обыкновенное, не меланхолическое время перевертывалъ ее лицомъ къ стѣнѣ, чтобы не смущала. Харловъ, этотъ колоссъ, боялся смерти! Къ помощи религіи, къ молитвѣ, онъ, впрочемъ, и въ припадкѣ меланхоліи, прибѣгалъ рѣдко; онъ и тутъ больше надѣялся на свой собственный умъ. Набожности въ немъ особенной не было; его въ церкви не часто видали; правда, онъ говорилъ, что не ходитъ туда по той будто причинѣ, что по размѣру тѣла своего боится выдавить всѣхъ вонъ. Припадокъ обыкновенно кончался тѣмъ, что Мартынъ Петровичъ начнетъ посвистывать—и вдругъ громогласнымъ голосомъ прикажетъ заложить себѣ дрожки и покатитъ куда-нибудь по сосѣдству, не безъ удали потрясая свободной рукою надъ козырькомъ картуза, какъ бы желая сказать, что, намъ-молъ, теперь все—трынъ-трава! Русскій былъ человѣкъ.

V.

Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бываютъ большей частью нрава флегматическаго; онъ, напротивъ того, довольно легко раздражался. Особенно выводилъ его изъ терпѣнія пріютившійся въ нашемъ домѣ, въ качествѣ не то шута, не то нахлѣбника—братъ его покойной жены—нѣкто Бычковъ, съ младыхъ ногтей прозванный Сувениромъ и такъ уже оставшійся Сувениромъ для всѣхъ, даже для слугъ, которые, правда, величали его Сувениромъ Тимоѳеичемъ. Настоящаго своего имени онъ, ка-

жется, и самъ не зналъ. Это былъ человѣкъ мизерный, всѣми презираемый: приживальщикъ, однимъ словомъ. Съ одной стороны рта у него недоставало всѣхъ зубовъ, отчего его маленькое, морщинистое лицо казалось искривленнымъ. Онъ вѣчно суетился, егозилъ: въ дѣвичью заберется или въ контору, на слободку къ попамъ, а не то къ старостѣ въ избу; отовсюду его гонятъ, а онъ только пожимается, да щуритъ свои косые глазки — да смѣется дрянно, жидко, точно бутылку полощетъ. Мнѣ всегда казалось, что будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человѣкъ изъ него вышелъ, безнравственный, злой, даже жестокій. Бѣдность поневолѣ его „сократила". Пить позволялось ему только въ праздники. Одѣвали его прилично, по приказанію матушки, такъ какъ онъ по вечерамъ составлялъ ея партію въ пикетъ или бостонъ. Сувениръ то-и-дѣло твердилъ: — Я вотъ позвольте, я чичасъ, чичасъ. — Да что *чичасъ?* — съ досадой спроситъ его матушка. Онъ мгновенно откинетъ руки назадъ, струситъ и лепечетъ: — Какъ прикажете-съ! — Подъ дверями послушать, посплетничать, а главное: „шпынять", дразнить — другой у него заботы не было — и „шпынялъ" онъ такъ, какъ будто имѣлъ на то право, какъ будто мстилъ за что-то. Мартына Петровича онъ звалъ братцемъ и надоѣдалъ ему пуще горькой рѣдьки. — Вы сестрицу Маргариту Тимоѳеевну за что уморили? — приставалъ онъ къ нему, вертясь передъ нимъ и хихикая. Однажды Мартынъ Петровичъ сидѣлъ въ билліардной прохладной комнатѣ, въ которой никто никогда ни одной мухи не видалъ — и которую сосѣдъ нашъ, врагъ жары и солнца — оттого очень жаловалъ. Сидѣлъ онъ между стѣной и билліардомъ. Сувениръ шмыгалъ мимо его „чрева", дразнилъ его, кривлялся... Мартынъ Петровичъ хотѣлъ оттолкнуть его — и двинулъ обѣими руками впередъ. Къ

счастью Сувенира, онъ успѣлъ увернуться — ладони его братца пришлись въ упоръ о край билліарда—и со всѣхъ шести винтовъ слетѣлъ тяжелый деревенскій билліардъ... Въ какую лепешку превратился бы Сувениръ, если-бъ попалъ подъ эти мощныя руки!

VI.

Я давно любопытствовалъ посмотрѣть, какъ устроилъ свое жилище Мартынъ Петровичъ, что̀ у него за домъ! Однажды я вызвался проводить его верхомъ до Еськова (такъ называлось его имѣніе). — Вишь ты! Хочешь посмотрѣть мою державу, — промолвилъ Мартынъ Петровичъ.—Изволь! И садъ покажу, и домъ, и гумно—и все. У меня всякаго добра много! — Мы отправились. Отъ нашего села до Еськова считалось всего версты три.— Вотъ она, моя держава! — загремѣлъ вдругъ Мартынъ Петровичъ, силясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налѣво.—Все мое!—Усадьба Харлова находилась на вершинѣ пологаго холма; внизу къ небольшому пруду лѣпилось нѣсколько плохихъ мужичьихъ избенокъ. У пруда на плоту старая баба въ клѣтчатой панёвѣ колотила валькомъ скрученное бѣлье.

— Аксинья! — гаркнулъ Мартынъ Петровичъ, да такъ, что грачи стаей взвились изъ сосѣдняго овсянаго поля...—Мужу портки моешь?

Баба разомъ обернулась и поклонилась въ поясъ.

— Портки, батюшка, — послышался ея слабый голосъ.

— То-то! Вотъ посмотри, — продолжалъ Мартынъ Петровичъ, пробираясь рысцей вдоль полусгнившаго плетня, — это моя конопля; а та вонъ — крестьянская;

разницу видишь? А вотъ это мой садъ; яблони я понасажалъ, и ракиты—тоже я. А то тутъ и древа никакого не было. Вотъ такъ-то—учись.

Мы завернули на дворъ, огороженный тыномъ; прямо противъ воротъ возвышался ветхій-ветхій флигелекъ съ соломенной крышей и крылечкомъ на столбикахъ; въ сторонѣ стоялъ другой, поновѣй и съ крохотнымъ мезониномъ—но тоже на курьихъ ножкахъ.—Вотъ ты опять учись,—промолвилъ Харловъ;—вишь отцы-то наши въ какой хороминкѣ жили; а теперь я вона какія палаты себѣ соорудилъ.—Палаты эти походили на карточный домикъ. Собакъ пять-шесть, одна другой лохматѣй и безобразнѣй, привѣтствовали насъ лаемъ.—Овчары!—замѣтилъ Мартынъ Петровичъ.—Настоящія крымскія! Цыцъ, оглашенныя! Вотъ возьму—да всѣхъ перевѣшаю!—На крыльцѣ новаго флигелька показался молодой человѣкъ въ длинномъ нанковомъ балахонѣ, мужъ старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочивъ къ дрожкамъ, онъ почтительно поддержалъ подъ локоть слѣзавшаго тестя—и даже одной рукой сдѣлалъ примѣръ, будто подхватываетъ исполинскую ногу, которую тотъ, наклонясь впередъ туловищемъ, заносилъ съ размаху черезъ сидѣніе;—потомъ онъ помогъ мнѣ сойти съ лошади.

— Анна!—воскликнулъ Харловъ:—Натальи Николавнинъ сынокъ къ намъ пожаловалъ; попоштовать его надо. Да гдѣ Евлампіюшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампіей меньшую).

— Дома нѣтъ; въ поле за васильками пошла,—отозвалась Анна, показавшись въ окошкѣ возлѣ двери.

— Творогъ есть?—спросилъ Харловъ.

— Есть.

— И сливки есть?

— Есть.

— Ну, тащи на столъ, а я имъ пока кабинетъ свой покажу. Пожалуйте сюда, сюда,—прибавилъ онъ, обратясь ко мнѣ и зазывая меня указательнымъ пальцемъ. У себя въ домѣ онъ меня не „тыкалъ“: надо-жъ хозяину быть вѣжливымъ. Онъ повелъ меня по корридору.— Вотъ гдѣ я пребываю, — промолвилъ онъ, шагнувъ бокомъ черезъ порогъ широкой двери, — а вотъ и мой кабинетъ. Милости просимъ!

Кабинетъ этотъ оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стѣнамъ, на неровно вбитыхъ гвоздяхъ, висѣли двѣ нагайки, трехъугольная порыжѣлая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомутъ съ бляхами, и картинка, изображающая горящую свѣчу подъ вѣтрами; въ одномъ углу стоялъ деревянный диванъ, покрытый пестрымъ ковромъ. Сотни мухъ густо жужжали подъ потолкомъ; впрочемъ, въ комнатѣ было прохладно: только очень сильно разило тѣмъ особеннымъ лѣснымъ запахомъ, который всюду сопровождалъ Мартына Петровича.

— Что-жъ, хорошъ кабинетъ?—спросилъ меня Харловъ.

— Очень хорошъ.

— Ты посмотри, вонъ у меня голландскій хомутъ виситъ,—продолжалъ Харловъ, снова впадая въ „тыканіе“.— Чудесный хомутъ! у жида вымѣнялъ. Ты погляди-ка!

— Хомутъ хорошій.

— Самый хозяйственный! Да ты понюхай... какова кожа!—Я понюхалъ хомутъ. Отъ него несло прѣлой вòрванью — и больше ничего.

— Ну, присядьте — вонъ тамъ на стульчикѣ, будьте гости,—промолвилъ Харловъ, а самъ опустился на диванъ и словно задремалъ, закрылъ глаза, засопѣлъ даже. Я молча глядѣлъ на него и не могъ довольно на-

дивиться: гора — да и полно! Онъ вдругъ встрепенулся.

— Анна!—закричалъ онъ, и при этомъ его громадный животъ приподнялся и опалъ, какъ волна на морѣ: —что-жъ ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?

— Все готово, батюшка, пожалуйте,—раздался голосъ его дочери.

Я внутренно подивился быстротѣ, съ которой исполнялись повелѣнія Мартына Петровича, и отправился за нимъ въ гостиную, гдѣ на столѣ, покрытомъ красной скатертью съ бѣлыми разводами, уже была приготовлена закуска: творогъ, сливки, пшеничный хлѣбъ, даже толченый сахаръ съ имбиремъ. Пока я управлялся съ творогомъ, Мартынъ Петровичъ, ласково пробурчавъ:—„Кушай, дружокъ, кушай, голубчикъ, не брезгай нашей деревенской снѣдью“,—опять присѣлъ въ углу, и опять словно задремалъ. Предо мной, неподвижно, съ опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а въ окно я могъ видѣть, какъ ея мужъ проваживалъ по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цѣпочку трензеля.

VII.

Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась къ намъ на поклонъ и, въ присутствіи матушки, держалась чинно и холодно, хотя, по ея милости, и въ пансіонѣ обучалась, и замужъ вышла, и въ день свадьбы получила отъ нея тысячу рублей ассигнаціями, да желтую турецкую шаль, правда, нѣсколько поношенную. Это была женщина росту средняго, сухощавая, очень живая и проворная въ своихъ движе-

ніяхъ, съ русыми густыми волосами, съ красивымъ смуглымъ лицомъ, на которомъ нѣсколько странно, но пріятно выдавались блѣдно-голубые, узкіе глаза; носъ она имѣла прямой и тонкій, губы тоже тонкія и подбородокъ „шпилькой“. Всякій, взглянувъ на нее, навѣрное подумалъ бы: „Ну, какая же ты умница—и злюка!“ И совсѣмъ тѣмъ въ ней было что-то привлекательное; даже темныя родинки, разсыпанныя „гречишкой“ по ея лицу, шли къ ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунувъ подъ косынку руки, она украдкой—сверху внизъ (я сидѣлъ, она стояла) — посматривала на меня; недобрая улыбочка бродила по ея губамъ, по щекамъ, въ тѣни длинныхъ рѣсницъ. „Охъ, ты баованный барченокъ!“ словно говорила эта улыбка. Всякій разъ, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись—это тоже было нѣсколько странно; но все-таки мнѣ казалось, что полюби меня Анна Мартыновна, или только захоти поцѣловать меня своими тонкими, жесткими губами—я бы отъ восторга до потолка подпрыгнулъ. Я зналъ, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и дѣвки боялись ея какъ огня — но что за дѣло! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображеніе... Впрочемъ, мнѣ тогда только минуло пятнадцать лѣтъ,—а въ эти годы!...

Мартынъ Петровичъ опять встрепенулся.—Анна! — крикнулъ онъ: — ты бы на фортепьянахъ побренчала.... Молодые господа это любятъ.

Я оглянулся: въ комнатѣ стояло какое-то жалкое подобіе фортепьянъ.

— Слушаю, батюшка,—отвѣтила Анна Мартыновна. —Только что же я имъ буду играть? Имъ это не будетъ интересно.

— Такъ чему-жъ тебя обучали въ *пансіонѣ*?

— Я все перезабыла... да и струны полопались.

Голосокъ у Анны Мартыновны былъ очень пріятный, звонкій и словно жалобный... въ родѣ того, какой бываетъ у хищныхъ птицъ.

— Ну, — проговорилъ Мартынъ Петровичъ, и задумался.—Ну,—началъ онъ опять;—такъ не хотите-ли гумно посмотрѣть, полюбопытствовать? Васъ Володька проводитъ. Эй, Володька! — крикнулъ онъ своему зятю, который все еще расхаживалъ по двору съ моею лошадью,—проводи вотъ ихъ на гумно... и вообще... покажь мое хозяйство. А мнѣ соснуть надо! Такъ-то! Счастливо оставаться!

Онъ вышелъ вонъ, и я за нимъ. Анна Мартыновна тотчасъ стала проворно и какъ-бы съ досадой убирать со стола. На порогѣ двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не замѣтила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злѣе прежняго.

Я взялъ у Харловскаго зятя мою лошадь и повелъ ее въ поводу. Мы вмѣстѣ съ нимъ пошли на гумно,— но такъ какъ ничего въ немъ особенно любопытнаго не открыли, притомъ же онъ во мнѣ, какъ въ молодомъ мальчикѣ, не могъ предполагать отмѣнную любовь къ хозяйству,—то мы и вернулись черезъ садъ на дорогу.

VIII.

Я хорошо зналъ Харловскаго зятя: звали его Слеткинымъ, Владиміромъ Васильевичемъ; онъ былъ сирота, сынъ мелкаго чиновника, повѣреннаго по дѣламъ у матушки и ея воспитанникъ. Сперва помѣстили его въ уѣздное училище, потомъ онъ поступилъ въ „вотчинскую контору“, потомъ записали его на службу по казеннымъ

магазинамъ, и наконецъ, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденкомъ, и онъ, дѣйствительно, своими курчавыми волосиками, своими черными и вѣчно мокрыми, какъ вареный черносливъ, глазами, своимъ ястребинымъ носомъ и широкимъ краснымъ ртомъ, напоминалъ еврейскій типъ; только цвѣтъ кожи онъ имѣлъ бѣлый и былъ вообще весьма недуренъ собою. Нрава онъ былъ услужливаго, лишь бы дѣло не касалось его личной выгоды. Тутъ онъ тотчасъ терялся отъ жадности, до слезъ даже доходилъ; изъ-за тряпки готовъ канючить цѣлый день, сто разъ напомнитъ о данномъ обѣщаніи, и обижается и пищитъ, если оно не тотчасъ исполняется. Онъ любилъ таскаться по полямъ съ ружьемъ; и когда случалось ему залучить зайца или утку, съ особеннымъ чувствомъ клалъ свою добычу въ ягдташъ, приговаривая:—Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь *мнѣ* послужишь!

— Добрый конекъ у васъ,—заговорилъ онъ своимъ шепелявымъ голосомъ, помогая мнѣ взобраться на сѣдло; —вотъ бы мнѣ такую лошадку! Да гдѣ! Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили... напомнили.

— А она вамъ обѣщала?

— Кабы обѣщала! Нѣтъ; но я полагалъ, что по великому ея благодушеству...

— Вы бы къ Мартыну Петровичу обратились.

— Къ Мартыну Петровичу! — повторилъ протяжно Слеткинъ. Для него—что я, что какой-нибудь ничтожный казачекъ Максимка—все едино. Какъ есть въ черномъ тѣлѣ насъ содержитъ, и никакой отъ него награды не видать за всѣ труды.

— Неужели?

— Да, ей-Богу же. Какъ скажетъ: „мое слово свя-

то!“ — ну вотъ точно топоромъ отрубитъ. Проси, не проси — все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа передъ нимъ не имѣетъ, какъ Евлампія Мартыновна.

— Ахъ, Господи Боже мой, батюшки!—перебилъ онъ вдругъ самого себя, и съ отчаяніемъ всплеснулъ руками.—Посмотрите: что это? Бѣлый полу-осьминникъ овса, нашего овса, какой-то злодѣй выкосилъ. Каковъ?! Вотъ тутъ и живи! Разбойники, разбойники! Вотъ ужъ точно правду говорятъ, что не вѣрь Еськову, Беськову, Ерину, Бѣлину! (такъ назывались четыре окрестныя деревни). Ахъ, ахъ, что это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два—убытку!

Въ голосѣ Слёткина слышались чуть не рыданія. Я толкнулъ лошадь подъ бока и поѣхалъ отъ него прочь.

Восклицанія Слёткина еще долетали до моего слуха, какъ вдругъ, на поворотѣ дороги, попалась мнѣ та самая вторая дочь Харлова, Евлампія, которая, по словамъ Анны Мартыновны, ушла въ поле за васильками. Густой вѣнокъ изъ этихъ цвѣтовъ обвивалъ ея голову. Мы обмѣнялись поклонами молча. Евлампія была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только въ другомъ родѣ. Росту она была высокаго, сложенія дороднаго; все въ ней было велико: и голова, и ноги, и руки, и бѣлые какъ снѣгъ зубы, и особенно глаза, выпуклые, съ поволокой, темно-синіе, какъ стекляруса; все въ ней было даже монументально (не даромъ она доводилась Мартыну Петровичу дочкой), но красиво. Бѣлокурую густую косу она, видимо, не знала куда дѣть и раза три обматывала ее вокругъ темени. Ротъ у ней былъ прелестный, свѣжій какъ розанъ, малиноваго цвѣта, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взглядѣ ея огромныхъ глазъ было

что-то дикое и почти суровое. Вольница, казачья кровь,— такъ отзывался о ней Мартынъ Петровичъ. Я побаивался ея... Мнѣ эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.

Я отъѣхалъ еще немного дальше и услышалъ, что она запѣла ровнымъ, сильнымъ, нѣсколько рѣзкимъ, прямо крестьянскимъ голосомъ, потомъ она вдругъ умолкла. Я оглянулся и съ вершины холма увидалъ ее стоявшую возлѣ Харловскаго зятя передъ скошеннымъ осьминникомъ овса. Тотъ размахивалъ и указывалъ руками, а она не шевелилась. Солнце освѣщало ея высокую фигуру и ярко голубѣлъ васильковый вѣнокъ на ея головѣ.

IX.

Я уже, кажется, сказывалъ вамъ, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То былъ одинъ изъ самыхъ бѣдныхъ нашихъ сосѣдей, отставной армейскій майоръ, Житковъ, Гаврило Ѳедулычъ, человѣкъ уже немолодой, и, какъ онъ самъ выражался, не безъ самодовольства, впрочемъ, и словно рекомендуя себя: „битый да ломаный“. Онъ едва разумѣлъ грамотѣ и очень былъ глупъ, но въ тайнѣ надѣялся попасть къ моей матушкѣ въ управляющіе, ибо чувствовалъ себя „исполнителемъ“.—Что̀ другое-съ, а зубьё считать у мужичья—это я до тонкости понимаю,—говаривалъ онъ, чуть не скрыпя собственными зубами;—потому—привыкъ,—пояснялъ онъ,—въ прежней моей, значитъ, должности.—Будь Житковъ меньше глупъ, онъ бы понялъ, что именно въ управляющіе къ матушкѣ попасть не предстояло ему никакихъ шансовъ, такъ какъ для этого нужно было смѣстить настоящаго управляющаго,

нѣкоего Квицинскаго, весьма характернаго и дѣльнаго поляка, которому матушка вполнѣ довѣряла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-бѣлокурыми волосами, даже щеки подъ глазами всѣ заросли; въ самые сильные морозы оно было покрыто обильнымъ пóтомъ, словно росинками. При видѣ матушки онъ немедленно вытягивался въ струнку, голова его начинала дрожать отъ усердія, огромныя руки слегка похлопывали по ляшкамъ, и вся фигура, казалось, такъ и взывала: „Повели!.. и я устремлюсь!“ Матушка не обманывалась на счетъ его способностей, чтò не мѣшало ей, однако, заботиться объ его свадьбѣ съ Евлампіей.

— Только сладишь ли ты съ ней, отецъ мой?— спросила она его однажды.

Житковъ самодовольно улыбнулся.

— Помилуйте, Наталья Николаевна! Цѣлую роту въ порядкѣ содержалъ, по струнке ходили, а это что-же-съ? Плевое дѣло.

— То рота, отецъ мой, а то дѣвушка благородная, жена,—замѣтила матушка съ неудовольствіемъ.

— Помилуйте-съ! Наталья Николаевна!—снова воскликнулъ Житковъ.—Это мы все очень понять можемъ. Одно слово: барышня, особа нѣжная!

— Ну!—рѣшила, наконецъ, матушка,—Евлампія себя въ обиду не дастъ.

X.

Однажды—дѣло было въ іюнѣ мѣсяцѣ и день склонялся къ вечеру—человѣкъ доложилъ о пріѣздѣ Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его болѣе недѣли не видали, но онъ никогда такъ поздно не посѣ-

щалъ насъ. — Что нибудь случилось! — воскликнула она въ полголоса. Лицо Мартына Петровича, когда онъ ввалился въ комнату и тотчасъ же опустился на стулъ возлѣ двери, имѣло такое необычайное выраженіе, оно такъ было задумчиво и даже блѣдно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицаніе. Мартынъ Петровичъ уставилъ на нее свои маленькіе глаза, помолчалъ, вздохнулъ тяжело, помолчалъ опять и объявилъ, наконецъ, что пріѣхалъ по одному дѣлу... которое... такого рода, что по причинѣ...

Пробормотавъ эти несвязныя слова, онъ вдругъ поднялся и вышелъ.

Матушка позвонила, велѣла вошедшему лакею тотчасъ догнать и непремѣнно воротить Мартына Петровича, но тотъ уже успѣлъ сѣсть на свои дрожки и убраться.

На слѣдующее утро матушка, которую странный поступокъ Мартына Петровича и необычайное выраженіе его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать къ нему нарочнаго, какъ онъ самъ опять появился передъ нею. На этотъ разъ онъ казался спокойнѣе.

— Сказывай, батюшка, сказывай, — воскликнула матушка, какъ только увидѣла его, — что это съ тобою подѣлалось? Я, право, вчера подумала: Господи! подумала я, ужъ не рехнулся ли старикъ нашъ въ разсудкѣ своемъ?

— Не рехнулся я, сударыня, въ разсудкѣ своемъ, — отвѣчалъ Мартынъ Петровичъ: — не таковскій я человѣкъ. Но мнѣ нужно съ вами посовѣтоваться.

— О чемъ?

— Только сомнѣваюсь я, будетъ ли вамъ сіе пріятно...

— Говори, говори, отецъ, да попроще. Не волнуй

ты меня! Къ чему тутъ *сіе*? Говори проще. Али опять меланхолія на тебя нашла?

Харловъ нахмурился.—Нѣтъ, не меланхолія—она у меня къ новолунію бываетъ; а позвольте васъ спросить, сударыня, вы о смерти какъ полагаете?

Матушка всполохнулась.—О чемъ?

— О смерти. Можетъ ли смерть кого ни-на-есть на семъ свѣтѣ пощадить?

— Это ты еще что вздумалъ, отецъ мой? Кто изъ насъ безсмертный? Ужъ на что ты великанъ уродился—а и тебѣ конецъ будетъ.

— Будетъ! охъ, будетъ!—подхватилъ Харловъ и потупился.—Случилось со мною сонное мечтаніе...—протянулъ онъ наконецъ.

— Что ты говоришь?—перебила его матушка.

— Сонное мечтаніе,—повторилъ онъ.—Я вѣдь сновидецъ!

— Ты?

— Я! А вы не знали?—Харловъ вздохнулъ.—Ну, вотъ... Прилегъ я какъ-то, сударыня, недѣлю тому назадъ слишкомъ, подъ самыя заговѣны къ петрову посту; прилегъ я послѣ обѣда отдохнуть маленько, ну и заснулъ! и вижу, будто въ комнату ко мнѣ вбѣгъ вороной жеребенокъ. И сталъ тотъ жеребенокъ играть и зубы скалить. Какъ жукъ вороной жеребенокъ.

Харловъ умолкъ.

— Ну?—промолвила матушка.

— И какъ обернется вдругъ этотъ самый жеребёнокъ, да какъ лягнетъ меня въ лѣвый локоть, въ самый какъ есть поджилокъ!.. Я проснулся: анъ рука не дѣйствуетъ и нога лѣвая тоже. Ну, думаю, параличъ; однако поразмялся и снова вошелъ въ дѣйствіе: только мурашки

долго по суставцамъ бѣгали и теперь еще бѣгаютъ. Какъ разожму ладонь, такъ и забѣгаютъ.

— Да ты, Мартынъ Петровичъ, какъ-нибудь руку перележалъ.

— Нѣтъ, сударыня; не то вы изволите говорить! Это мнѣ предостереженіе... Къ смерти моей, значитъ.

— Ну вотъ еще! — начала-было матушка.

— Предостереженіе! Готовься, молъ, человѣче! И потому я, сударыня, вотъ что имѣю доложить вамъ, ни мало не медля. Не желая, — закричалъ вдругъ Харловъ, — чтобъ та самая смерть меня раба Божія въ расплохъ застала, положилъ я такъ-то въ умѣ своемъ: раздѣлить мнѣ теперь же, при жизни, имѣніе мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампіей, какъ мнѣ Господь Богъ на душу пошлетъ. — Мартынъ Петровичъ остановился, охнулъ и прибавилъ: — Ни мало не медля.

— Что-жъ? Это дѣло хорошее, — замѣтила матушка; — только я думаю, ты напрасно спѣшишь.

— И такъ какъ я желаю въ семъ дѣлѣ, — продолжалъ, еще болѣе возвысивъ голосъ, Харловъ, — должный порядокъ и законность соблюсти, то покорнѣйше прошу вашего сыночка, Дмитрія Семеновича, — васъ я, сударыня, обезпокоивать не осмѣливаюсь, — прошу онаго сыночка, Дмитрія Семеновича, родственнику же моему Бычкову въ прямой долгъ вмѣняю — при совершеніи формальнаго акта и ввода во владѣніе моихъ двухъ дочерей, Анны замужней и Евлампіи дѣвицы — присутствовать; который актъ имѣетъ быть въ дѣйствіе введенъ послѣ-завтра, въ двѣнадцатому часу дня, въ собственномъ моемъ имѣніи Еськовѣ, Козюлькинѣ тожъ, при участіи предержащихъ властей и чиновъ, кои уже суть приглашены.

Мартынъ Петровичъ едва окончилъ эту явно имъ

наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную рѣчь... У него словно воздуха въ груди недоставало: его поблѣднѣвшее лицо снова побагровѣло, и онъ нѣсколько разъ утеръ съ него потъ.

— И ты уже составилъ раздѣльный актъ? — спросила матушка.—Когда ты это успѣлъ.

— Успѣлъ... охъ! Не пимши, не ѣмши...

— Самъ писалъ?

— Володька... охъ! помогалъ.

— И прошеніе подалъ?

— Подалъ, и палата утвердила, и уѣздному суду предписано, и временное отдѣленіе земскаго суда... охъ!.. къ прибытію назначено.

Матушка усмѣхнулась.—Ты, я вижу, Мартынъ Петровичъ, уже совсѣмъ, какъ слѣдуетъ, распорядился, и какъ скоро! Знать, денегъ не жалѣлъ?

— Не жалѣлъ, сударыня!

— То-то! А говоришь, что со мной посовѣтоваться желаешь. Что-жъ, пускай Митенька ѣдетъ; я и Сувенира съ нимъ отпущу, и Квицинскому скажу... А Гаврилу Ѳедулыча ты не приглашалъ?

— Гаврила Ѳедулычъ... господинъ Житковъ... отъ меня такожде... извѣщенъ. Ему, какъ жениху, слѣдуетъ!

Мартынъ Петровичъ видимо истощилъ весь запасъ своего краснорѣчія. Притомъ мнѣ всегда казалось, что онъ какъ будто не совсѣмъ благоволилъ къ жениху, пріисканному моей матушкой; быть можетъ, онъ ожидалъ болѣе выгодной партіи для своей Евлампіюшки.

Онъ поднялся со стула и шаркнулъ ногою.—За согласіе благодаренъ!

— Куда же ты? — спросила матушка. — Посиди; я велю закуску подать.

— Много довольны, — отвѣчалъ Харловъ. — Но не могу... Охъ! нужно домой.

Онъ попятился и полѣзъ-было, по своему обыкновенію, бокомъ въ дверь.

— Постой, постой,—продолжала матушка,—неушто ты все свое имѣнье безъ остатку дочерямъ предоставляешь?

— Вѣстимо, безъ остатку.

— Ну, а ты самъ... гдѣ будешь жить?

Харловъ даже руками замахалъ.—Какъ гдѣ? У себя въ домѣ, какъ жилъ *доселѣчи*... такъ и впредь. Какая же можетъ быть перемѣна?

— И ты въ дочеряхъ своихъ и въ зятѣ такъ увѣренъ?

— Это вы про Володьку-то говорить изволите? Протряпку про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда и сюда... Какая его власть? А онѣ меня, дочери то-есть, по-гробъ кормить, поить, одѣвать, обувать... Помилуйте! первая ихъ обязанность! Я-жъ имъ недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то—за плечами.

— Въ смерти Господь Богъ воленъ,—замѣтила матушка,—а обязанность это ихъ, точно. Только ты меня извини, Мартынъ Петровичъ; старшая у тебя, Анна, гордячка извѣстная, ну да и вторая волкомъ смотритъ...

— Наталья Николаевна!—перебилъ Харловъ,—что вы это?.. Да чтобъ онѣ... Мои дочери... Да чтобъ я... Изъ повиновенья-то выдти? Да имъ и во снѣ... Противиться? Кому? Родителю?.. Смѣть? А проклясть-то ихъ развѣ долго? Въ трепетѣ да въ покорности вѣкъ свой прожили—и вдругъ!.. Господи!

Харловъ раскашлялся, захрипѣлъ.

— Ну хорошо, хорошо,—поспѣшила успокоить его матушка;—только я все-таки не понимаю, зачѣмъ ты

теперь дѣлить ихъ вздумалъ? Все равно, послѣ тебя имъ же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолія причиной.

— Э, матушка! — не безъ досады возразилъ Харловъ, — зарядили вы свою меланхолію! Тутъ, быть можетъ, свыше сила дѣйствуетъ, а вы: меланхолія! Потому, сударыня, вздумалъ я сіе, что я самолично, еще „жимши“, при себѣ хочу рѣшить, кому чѣмъ владѣть, и кого я чѣмъ награжу, тотъ тѣмъ и владѣй, и благодарность чувствуй, и исполняй, и на чемъ отецъ и благодѣтель положилъ, то за великую милость...

Голосъ Харлова опять перервался.

— Ну полно же, полно, отецъ мой,—перебила его матушка;—а то и впрямь вороной жеребенокъ появится.

— Охъ, Наталья Николаевна, не говорите мнѣ о немъ!—простоналъ Харловъ.—Это смерть моя за мной приходила. Прощенья просимъ. А васъ, сударикъ мой, къ послѣзавтрашнему дню ожидать буду честь имѣть!

Мартынъ Петровичъ вышелъ; матушка посмотрѣла ему вслѣдъ и значительно покачала головою. — Не къ добру это,—прошептала она;—не къ добру. Ты замѣтилъ,—обратилась она ко мнѣ,—онъ говорилъ, а самъ будто отъ солнца все щурится; знай: это примѣта дурная. У такого человѣка тяжело на сердцѣ бываетъ и несчастье ему грозитъ. Поѣзжай послѣ-завтра съ Викентіемъ Осиповичемъ и съ Сувениромъ.

XI.

Въ назначенный день большая наша фамильная четверомѣстная карета, запряженная шестерикомъ караковыхъ лошадей, съ главнымъ „лейбъ-кучеромъ“, сѣдо-

бородымъ и тучнымъ Алексѣичемъ на козлахъ, плавно подкатилась къ крыльцу нашего дома. Важность акта, къ которому намѣревался приступить Харловъ, торжественность, съ которой онъ пригласилъ насъ, подѣйствовали на мою матушку. Она сама отдала приказъ заложить именно этотъ экстраординарный экипажъ и велѣла Сувениру и мнѣ одѣться по-праздничному: она, видимо, желала почтить своего „протежé“. Квицинскій — тотъ всегда ходилъ во фракѣ и въ бѣломъ галстухѣ. Во всю дорогу Сувениръ трещалъ какъ сорока, хихикалъ, разсуждалъ о томъ, предоставитъ ли ему братецъ что-нибудь, и тутъ же обзывалъ его идоломъ и кикиморой. Квицинскій, человѣкъ угрюмый, желчный, не выдержалъ наконецъ. — И охота вамъ, — заговорилъ онъ со своимъ польскимъ отчетливымъ акцентомъ,—такое все несообразное болтать? И неужели невозможно сидѣть смирно, безъ этихъ, „никому ненужныхъ“ (любимое его слово) пустяковъ? — Ну, чичасъ, — пробормоталъ Сувениръ съ неудовольствіемъ и уставилъ свои косые глаза въ окошко. Четверти часа не прошло, ровно бѣжавшія лошади едва начинали потѣть подъ тонкими ремнями новыхъ сбруй— какъ уже показалась Харловская усадьба. Сквозь настежь растворенныя ворота вкатилась наша карета на дворъ; крошечный форейторъ, едва достававшій ногами до половины лошадинаго корпуса, въ послѣдній разъ съ младенческимъ воплемъ подскочилъ на мягкомъ сѣдлѣ, локти старика Алексѣича одновременно оттопырились и приподнялись—послышалось легкое тпруканіе, и мы остановились. Собаки не встрѣтили насъ лаемъ, дворовые мальчишки въ длинныхъ, слегка, на большихъ животахъ, раскрытыхъ рубахахъ—и тѣ куда-то исчезли. Зять Харлова ожидалъ насъ на порогѣ двери. Помню — меня особенно поразили березки, натыканныя по обѣимъ сторонамъ

крыльца, словно въ троицынъ день. „Торжество изъ торжествъ!“ пропѣлъ въ носъ Сувениръ, вылѣзая первый изъ кареты. И точно торжественность замѣчалась во всемъ. На Харловскомъ зятѣ былъ плисовый галстухъ съ атласнымъ бантомъ и необыкновенно узкій черный фракъ; а у вынырнувшаго изъ-за его спины Максимки волосы до того были смочены квасомъ, что даже капало съ нихъ. Мы вошли въ гостиную и увидали Мартына Петровича, неподвижно возвышавшагося — именно возвышавшагося — по срединѣ комнаты. Не знаю, что почувствовали Сувениръ и Квицинскій при видѣ его колоссальной фигуры, но я ощутилъ нѣчто похожее на благоговѣніе. Мартынъ Петровичъ облекся въ сѣрый, должно быть, ополченскій, 12-го года, казакинъ съ чернымъ стоячимъ воротникомъ, бронзовая медаль виднѣлась на его груди, сабля висѣла у бока; лѣвую руку онъ положилъ на рукоятку, правой опирался на столъ, покрытый краснымъ сукномъ. Два исписанныхъ листа бумаги лежало на этомъ столѣ. Харловъ не шевелился, даже не пыхтѣлъ; и какая важность сказывалась въ его осанкѣ, какая увѣренность въ себѣ, въ своей неограниченной и несомнѣнной власти! Онъ едва привѣтствовалъ насъ кивкомъ и, хрипло промолвивъ: „прошу!“ — повелъ указательнымъ пальцемъ лѣвой руки въ направленіи поставленныхъ рядышкомъ стульевъ. У правой стѣны гостиной стояли обѣ дочери Харлова, разодѣтыя по-воскресному: Анна въ зелено-лиловомъ, двуличневомъ платьѣ съ желтымъ шелковымъ поясомъ; Евлампія — въ розовомъ съ пунцовыми лентами. Возлѣ нихъ торчалъ Житковъ въ новомъ мундирѣ, съ обычнымъ выраженіемъ тупого и жаднаго ожиданія въ глазахъ и съ бо́льшимъ противъ обычнаго количествомъ испарины на волосатомъ лицѣ. У лѣвой стѣны гостиной сидѣлъ священникъ въ изношенной рясѣ табачнаго цвѣта,

старый человѣкъ съ жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые, тусклые глаза и большія заскорузлыя руки, которыя словно его самого бременили и лежали какъ груды на колѣняхъ, и выглядывавшіе изъ-подъ рясы смазные сапоги, все свидѣтельствовало о трудовой, нерадостной жизни: приходъ его былъ очень бѣденъ. Рядомъ съ нимъ помѣщался исправникъ, жирненькій, блѣдненькій, неопрятный господинчикъ, съ пухлыми короткими ручками и ножками, съ черными глазами, черными, подстриженными усами, съ постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лицѣ: онъ слылъ за великаго взяточника и даже за тирана, какъ выражались въ то время; но не только помѣщики, даже крестьяне привыкли къ нему и любили его. Онъ весьма развязно и нѣсколько насмѣшливо поглядывалъ кругомъ: видно было, что вся эта „процедура“ его забавляла. Въ сущности его интересовала одна предстоявшая закуска съ водочкой. За то сидѣвшій возлѣ него стряпчій, сухопарый человѣкъ съ длиннымъ лицомъ, узкими бакенбардами отъ уха къ носу, какъ ихъ нàшивали при Александрѣ Первомъ, всей душой принималъ участіе въ распоряженіяхъ Мартына Петровича и не спускалъ съ него своихъ большихъ серьезныхъ глазъ: отъ очень усиленнаго вниманія и сочувствія онъ все двигалъ и поводилъ губами, не разжимая ихъ однако. Сувениръ къ нему присосѣдился и шопотомъ заговорилъ съ нимъ, объявивъ мнѣ сперва, что это первый по губерніи масонъ. Временное отдѣленіе земскаго суда состоитъ, какъ извѣстно, изъ исправника, стряпчаго и станового; но станового либо вовсе не было, либо онъ до того стушевался, что я его не замѣтилъ; впрочемъ, онъ у насъ въ уѣздѣ носилъ прозвище: „несуществующій“, какъ бываютъ „непомнящіе“. Я сѣлъ подлѣ Сувенира, Квицинскій подлѣ меня. На лицѣ прак-

тическаго поляка была написана явная досада на „никому не нужную“ поѣздку, на напрасную трату времени... „Барыня! барскія русскія фантазіи!“ казалось, шепталъ онъ про себя... „Ужъ эти мнѣ русскіе!“

XII.

Когда мы всѣ усѣлись, Мартынъ Петровичъ поднялъ плечи, крякнулъ, обвелъ насъ всѣхъ своими медвѣжьими глазками, и, шумно вздохнувъ, началъ такъ:

— Милостивые государи! Я пригласилъ васъ по слѣдующему случаю. Становлюсь я старъ, государи мои, немощи одолѣваютъ... Уже и предостереженіе мнѣ было, смертный же часъ, яко тать въ нощи, приближается... Не такъ-ли, батюшка?— обратился онъ къ священнику.

Батюшка встрепенулся.— Тако, тако,—прошамшилъ онъ, потрясая бородкой.

— И потому, — продолжалъ Мартынъ Петровичъ, внезапно возвысивъ голосъ,—не желая, чтобы та самая смерть меня въ расплохъ застала, положилъ я въ умѣ своемъ... Мартынъ Петровичъ повторилъ слово въ слово фразу, которую онъ, два дня тому назадъ, произнесъ у матушки.—Въ силу сего моего рѣшенія,—закричалъ онъ еще громче,—сей актъ (онъ ударилъ рукою по лежавшимъ на столѣ бумагамъ) составленъ мною, и предержащія власти въ свидѣтели приглашены, и въ чемъ состоитъ оная моя воля, о томъ слѣдуютъ пункты. Поцарствовалъ, будетъ съ меня!

Мартынъ Петровичъ надѣлъ на носъ свои желѣзные круглые очки, взялъ со стола одинъ изъ исписанныхъ листовъ и началъ:

— Раздѣльный актъ имѣнію отставного штыкъ-юн-

кера и столбового дворянина Мартына Харлова, имъ самимъ, въ полномъ и здравомъ умѣ и по собственному благоусмотрѣнію составленный, и въ коемъ съ точностію опредѣляется, какія угодія его двумъ дочерямъ, Аннѣ и Евлампіѣ (кланяйтесь! — онѣ поклонились), предоставляются, и коимъ образомъ дворовые люди и прочее имущество и живность межъ оными дочерьми подѣляется! Рукою властной!

— Это ихняя бумажка, — шепнулъ съ неизмѣнной своей улыбочкой исправникъ Квицинскому,—они ее для красоты слога прочитать желаютъ, а законный актъ составленъ по формѣ, безо всѣхъ этихъ цвѣточковъ.

Сувениръ началъ-было хихикать...

— Согласно съ моею волею! — вмѣшался Харловъ, отъ котораго не ускользнуло замѣчаніе исправника.

— Во всѣхъ пунктахъ согласно,—поспѣшно и весело отвѣчалъ тотъ;—только форму, вы знаете, Мартынъ Петровичъ, никакъ обойти нельзя. И лишнія подробности устранены. Ибо въ пѣгихъ коровъ и турецкихъ селезней палата никакимъ образомъ входить не можетъ.

— Подь сюда ты! — гаркнулъ Харловъ зятю, который вслѣдъ за нами вошелъ въ комнату и съ подобострастнымъ видомъ остановился у двери. Онъ тотчасъ подскочилъ къ своему тестю.

— На, возьми, читай! А то мнѣ трудно. Только смотри не лотоши! Чтобы всѣ господа присутствующіе вникнуть могли.

Слѣткинъ взялъ листъ въ обѣ руки, и сталъ, трепетно, но внятно, со вкусомъ и чувствомъ, читать раздѣльный актъ. Въ немъ съ величайшею аккуратностью было обозначено, что̀ именно отходило къ Аннѣ, и что̀ къ Евлампіѣ, и какъ имъ слѣдовало дѣлиться. Харловъ отъ времени до времени прерывалъ чтеніе словами:—Слышь,

это тебѣ, Анна, за твое усердіе!—или:—это тебѣ, Евлампіюшка, жалую!—и обѣ сестры кланялись, Анна въ поясъ, Евлампія одной головой. Харловъ съ угрюмой важностью посматривалъ на нихъ. „Усадебный домъ“ (новый флигелекъ) былъ отданъ имъ Евлампіи, — „яко младшей дочери, по извѣчному обычаю“. Голосъ чтеца зазвенѣлъ и задрожалъ, произнося эти непріятныя для него слова; а Житковъ облизнулся. Евлампія искоса глянула на него: будь я на мѣстѣ Житкова, не понравился бы мнѣ этотъ взглядъ. Презрительное выраженіе лица, свойственное Евлампіѣ, какъ всякой истой русской красавицѣ, на этотъ разъ носило особый оттѣнокъ. Самому себѣ Мартынъ Петровичъ предоставлялъ право жить въ занимаемыхъ имъ комнатахъ и выговаривалъ себѣ, подъ именемъ „опричнаго“, полное содержаніе „натуральною провизіею“ — и десять рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ на обувь и одежу. Послѣднюю фразу раздѣльнаго акта Харловъ пожелалъ прочесть самъ. „И сію мою родительскую волю, — гласила она,—дочерямъ моимъ исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповѣдь; ибо я, послѣ Бога, имъ отецъ и глава, и никому отчета давать не обязанъ и не давалъ; и будутъ онѣ волю мою исполнять, то будетъ съ ними мое родительское благословеніе, а не будутъ волю мою исполнять, чего Боже оборони, то постигнетъ ихъ моя родительская неключимая клятва, нынѣ и [illegible]-вѣки-вѣковъ, аминь!“ Харловъ поднялъ листъ высоко надъ головою, Анна тотчасъ проворно опустилась на колѣни и стукнула о полъ лбомъ; за ней кувыркнулся и мужъ ея.—Ну, а ты что-жъ?—обратился Харловъ къ Евлампіѣ. Та вся вспыхнула и также поклонилась въ землю; Житковъ нагнулся впередъ всѣмъ корпусомъ.

— Подпишитесь! — воскликнулъ Харловъ, указывая

пальцемъ на конецъ листа.—Здѣсь: Благодарю и принимаю, Анна! Благодарю и принимаю, Евлампія!

Обѣ дочери встали и подписались одна за другой. Слѣткинъ всталъ тоже и полѣзъ-было за перомъ, но Харловъ отстранилъ его, ткнувъ его среднимъ перстомъ въ галстухъ, такъ что онъ іокнулъ. Съ минуту длилось молчаніе. Вдругъ Мартынъ Петровичъ словно всхлипнулъ и, пробормотавъ:—Ну, теперь все ваше!—отодвинулся въ сторону. Дочери и зять перегляпулись, подошли къ нему и стали цѣловать его выше локтя. Въ плечо достать они не могли.

XIII.

Исправникъ прочелъ настоящій, формальный актъ, дарственную запись, составленную Мартыномъ Петровичемъ. Потомъ онъ вмѣстѣ съ стряпчимъ вышелъ на крыльцо и объявилъ собравшимся у воротъ сосѣдямъ, понятымъ, Харловскимъ крестьянамъ и нѣсколькимъ дворовымъ людямъ о совершившемся событіи. Начался вводъ во владѣніе новыхъ двухъ помѣщицъ, которыя также появились на крыльцѣ и на которыхъ исправникъ указывалъ рукою, когда, слегка наморщивъ одну бровь и мгновенно придавъ своему беззаботному лицу видъ грозный, онъ внушалъ крестьянамъ о „послушаніи“. Онъ бы могъ обойтись и безъ этихъ внушеній: болѣе смирныхъ физіономій, чѣмъ у Харловскихъ крестьянъ, я полагаю, въ природѣ не существуетъ. Облеченные въ худые армяки и прорванные тулупы, но весьма туго подпоясанные, какъ это всегда водится въ торжественныхъ случаяхъ, они стояли неподвижно, какъ каменные, и, какъ только исправникъ испускалъ междометіе въ родѣ:

„Слышите, черти! понимаете, дьяволы!“ кланялись вдругъ всѣ разомъ, словно по командѣ; каждый изъ „чертей и дьяволовъ“ крѣпко держалъ свою шапку обѣими руками и не спускалъ взора съ окна, въ которомъ виднѣлась фигура Мартына Петровича. Немного меньше робѣли и самые понятые.—Вамъ извѣстны какія-либо препятствія, крикнулъ на нихъ исправникъ,—ко введенію во владѣніе сихъ единственныхъ и законныхъ наслѣдницъ и дочерей Мартына Петровича Харлова?“

Всѣ понятые тотчасъ словно съежились.

— Извѣстны, черти? — крикнулъ опять исправникъ.

— Ничего, ваше благородіе, намъ не извѣстно,—мужественно отвѣчалъ одинъ корявый старичекъ, съ остриженной бородой и усами, отставной солдатъ.

— Ну-да, и смѣльчакъ же Еремѣичъ! — говорили, расходясь, про него понятые.

Несмотря на просьбы исправника, Харловъ не пожелалъ выдти вмѣстѣ съ дочерьми на крыльцо.—Мои подданные и безъ того моей волѣ покорятся!—отвѣчалъ онъ. На него, по совершеніи акта, нашло нѣчто въ родѣ грусти. Лицо его снова поблѣднѣло. Это новое, небывалое выраженіе грусти такъ мало шло къ пространнымъ и добрымъ чертамъ Мартына Петровича, что я рѣшительно не зналъ, что̀ подумать! Ужъ не меланхолія ли на него находитъ? — Крестьяне, очевидно, съ своей стороны также ощущали недоумѣніе. И въ самомъ дѣлѣ: „Баринъ живехонекъ — вотъ онъ стоитъ, да еще какой баринъ: Мартынъ Петровичъ! И вдругъ онъ ими владѣть не будетъ... Чудеса!“ Не знаю, догадался ли Харловъ о томъ, какія мысли бродили въ головахъ его „подданныхъ“, захотѣлъ ли онъ въ послѣдній разъ покуражиться, только онъ вдругъ открылъ форточку, приставилъ къ отверстію голову и закричалъ громовымъ го-

лосомъ: „повиноваться“! Потомъ онъ захлопнулъ форточку. Недоумѣніе крестьянъ, конечно, отъ этого не разсѣялось и не уменьшилось. Они еще пуще окаменѣли, и даже какъ бы перестали глядѣть. Группа дворовыхъ (въ числѣ ихъ находились двѣ здоровенныя дѣвки, въ короткихъ ситцахъ и съ такими икрами, подобныхъ которымъ видѣть можно развѣ на Страшномъ Судилищѣ Микель Анжело, да еще одинъ уже совсѣмъ ветхій, отъ древности даже заиндевѣвшій, полуслѣпой человѣкъ въ шаршавой фризовой шинели — онъ, по слухамъ, былъ при Потемкинѣ, „валторщикомъ“ — казачка Максимку Харловъ себѣ предоставилъ), группа эта выказывала большее оживленіе, чѣмъ крестьяне; она, по крайней мѣрѣ, переминалась на мѣстѣ. Сами новыя помѣщицы держались очень важно, особенно Анна. Стиснувъ свои сухія губы, она упорно глядѣла внизъ... не много добраго обѣщала дворовымъ ея строгая фигура. Евлампія тоже не поднимала глазъ; только разъ она обернулась, и, словно съ удивленіемъ, медленно окинула взоромъ своего жениха Житкова, который, вслѣдъ за Слеткинымъ, почелъ нужнымъ также явиться на крыльцо. „Ты здѣсь съ какого права?“ казалось, говорили эти красивые, выпуклые глаза. Слеткинъ тотъ измѣнился больше всѣхъ. Во всемъ существѣ его проявилась торопливая бодрость, словно аппетитъ его пронималъ; движенія головы, ногъ, остались подобострастными попрежнему, но какъ весело расправлялъ онъ руки, какъ хлопотливо передвигалъ лопатками! „Наконецъ, молъ, дорвался!“ Окончивъ „процедуру“ ввода во владѣніе, исправникъ, у котораго отъ приближенія закуски даже вода подтекла подъ щеками, потеръ себѣ руки тѣмъ особеннымъ манеромъ, который обыкновенно предшествуетъ „вонзанію въ себя первой рюмочки“; но оказалось, что Мартынъ

Петровичъ желалъ сперва отслужить молебенъ съ водосвятіемъ. Священникъ облачился въ старую, еле-живую ризу; еле-живой дьячекъ вышелъ изъ кухни, съ трудомъ раздувая ладонъ въ старомъ мѣдномъ паникадилѣ. Молебенъ начался. Харловъ то и дѣло вздыхалъ; класть земные поклоны онъ по тучности не могъ, но крестясь правой рукою и наклоняя голову, указывалъ перстомъ лѣвой руки на полъ. Слеткинъ такъ и сіялъ, и даже прослезился; Житковъ, благородно по-военному, чуть-чуть помахивалъ пальцами между третьей и четвертой пуговицей мундира; Квицинскій, какъ католикъ, остался въ сосѣдней комнатѣ; за то стряпчій такъ усердно молился, такъ сочувственно вздыхалъ вслѣдъ за Мартыномъ Петровичемъ, и такъ истово шепталъ и жевалъ губами, возводя взоры горѣ, что, глядя на него, я ощутилъ умиленіе и началъ тоже горячо молиться. По окончаніи молебна и водосвятія, причемъ всѣ присутствующіе, даже слѣпой Потемкинскій „волторщикъ“, даже Квицинскій помочили себѣ глаза святой водой, Анна и Евлампія еще разъ, по приказанію Мартына Петровича, благодарили его земно; и тутъ, наконецъ, наступилъ моментъ завтрака! Кушаній было много и всѣ превкусныя; мы всѣ наѣлись страшно. Появилась неизбѣжная бутылка донского. Исправникъ, какъ человѣкъ, больше всѣхъ насъ знакомый со свѣтскими обычаями, ну, да и какъ представитель власти, первый провозгласилъ тостъ за здоровье „прекрасныхъ владѣлицъ!“ Потомъ онъ же предложилъ намъ выпить за здравіе наипочтеннѣйшаго и наивеликодушнѣйшаго Мартына Петровича! При словѣ: „великодушнѣйшій“, Слеткинъ взвизгнулъ и бросился цѣловать своего благодѣтеля...—Ну, хорошо, хорошо, не надо,—бормоталъ Харловъ какъ бы съ досадой, отстраняя его

локтемъ... Но тутъ произошелъ не совсѣмъ пріятный, какъ говорится, пассажъ.

XIV.

А именно: Сувениръ, который съ самаго начала завтрака пилъ безостановочно, внезапно поднялся, весь красный какъ буракъ, со стула и, указывая пальцемъ на Мартына Петровича, залился своимъ дряблымъ, дряннымъ смѣхомъ.

— Великодушный! Великодушный! — затрещалъ онъ, — а вотъ мы посмотримъ, по вкусу ли ему самому придется это великодушіе, когда его, раба божія, голой спиной... да на снѣгъ!

— Что ты врешь? дуракъ! — презрительно промолвилъ Харловъ.

— Дуракъ! дуракъ! — повторилъ Сувениръ. — Единому Всевышнему Богу извѣстно, кто изъ насъ обоихъ заправскій-то дуракъ. А вотъ вы, братецъ, сестрицу мою, супругу вашу, уморили — за то теперь и самихъ себя похерили... ха-ха-ха!

— Какъ вы смѣете нашего почтеннаго благодѣтеля обижать? — запищалъ Слёткинъ и, оторвавшись отъ обхваченнаго имъ плеча Мартына Петровича, ринулся на Сувенира. — Да знаете ли, что если нашъ благодѣтель того пожелаетъ, то мы и самый актъ сію минуту уничтожить можемъ?..

— А вы все-таки его голой спиной — на снѣгъ... — ввернулъ Сувениръ, стушевавшись за Квицинскаго.

— Молчать! — загремѣлъ Харловъ. — Прихлопну тебя, такъ только мокро будетъ на томъ мѣстѣ, гдѣ ты находился. Да и ты молчи, щенокъ! — обратился онъ къ

Слёткину;—не суйся, куда не велятъ! Коли я, Мартынъ Петровъ Харловъ, порѣшилъ оный раздѣльный актъ составить, то кто же можетъ его уничтожить? противъ моей воли пойти? Да въ свѣтѣ власти такой нѣтъ...

— Мартынъ Петровичъ!—заговорилъ вдругъ сочнымъ басомъ стряпчій; онъ тоже выпилъ много, но отъ этого въ немъ только важности прибавилось.—Ну, а какъ господинъ помѣщикъ правду сказать изволилъ! Дѣло вы совершили великое, ну, а какъ, сохрани Богъ, дѣйствительно... вмѣсто должной благодарности, да выйдетъ какой аффронтъ?

Я глянулъ украдкой на обѣихъ дочерей Мартына Петровича. Анна такъ и впилась глазами въ говорившаго и ужъ, конечно, болѣе злого, змѣинаго и въ самой злобѣ болѣе красиваго лица я не видывалъ! Евлампія отворотилась и руки скрестила; презрительная усмѣшка болѣе чѣмъ когда-нибудь скрутила ея полныя, розовыя губы.

Харловъ поднялся со стула, разинулъ ротъ, но видно языкъ измѣнилъ ему... Онъ вдругъ ударилъ кулакомъ по столу, такъ что все въ комнатѣ подпрыгнуло и задребезжало.

— Батюшка,—поспѣшно промолвила Анна; они насъ не знаютъ и потому такъ о насъ понимаютъ; а вы себѣ не извольте повредить. Напрасно вы гнѣваться изволите; вотъ у васъ личико словно перекосилось.

Харловъ поглядѣлъ на Евлампію; она не шевелилась, хотя сидѣвшій подлѣ нея Житковъ и толкалъ ее подъ бокъ.

— Спасибо тебѣ, дочь моя Анна,—глухо заговорилъ Харловъ;—ты у меня разумница; я на тебя надѣюсь и на мужа твоего тоже.—Слёткинъ опять взвизгнулъ; Житковъ выставилъ было грудь и ногой слегка топнулъ; но

Харловъ не замѣтилъ его старанія.—Этотъ шалопай,—продолжалъ онъ, указавъ подбородкомъ на Сувенира,—радъ дразнить меня; но вамъ, милостивый государь мой,—обратился онъ къ стряпчему,—вамъ о Мартынѣ Харловѣ судить не приходится, понятіемъ еще не вышли. И чиновный вы человѣкъ, а слова ваши самыя вздорныя. А впрочемъ дѣло сдѣлано, рѣшенію моему отмѣны не будетъ... Ну и счастливо оставаться! Я уйду. Я здѣсь больше не хозяинъ, я гость. Анна, хлопочи ты, какъ знаешь; а я къ себѣ въ кабинетъ уйду. Довольно!

Мартынъ Петровичъ повернулся къ намъ спиною и, не прибавивъ больше ни слова, медленно вышелъ изъ комнаты.

Внезапное удаленіе хозяина не могло не разстроить нашей компаніи, тѣмъ болѣе, что и обѣ хозяйки тоже въ скорости исчезли. Слёткинъ напрасно старался удержать насъ. Исправникъ не преминулъ упрекнуть стряпчаго въ неумѣстной его откровенности.—Нельзя! — отвѣчалъ тотъ.— Совѣсть заговорила!

— Вотъ и видно, что масонъ,—шепнулъ мнѣ Сувениръ.

— Совѣсть!—возразилъ исправникъ. Знаемъ мы вашу совѣсть! Такъ же, небось, и у васъ въ карманѣ сидитъ, какъ и у насъ грѣшныхъ!

Священникъ, между тѣмъ, уже стоя на ногахъ, но предчувствуя скорый конецъ трапезы, безпрестанно посылалъ въ ротъ кусокъ за кускомъ.

— А у васъ, я вижу, аппетитъ сильный,—рѣзко замѣтилъ ему Слёткинъ.

— Про запасъ,—отвѣчалъ священникъ со смиренной ужимкой; застарѣлый голодъ слышался въ этомъ отвѣтѣ.

Застучали экипажи... и мы разъѣхались.

На возвратномъ пути никто не мѣшалъ Сувениру

кривляться и болтать, такъ какъ Квицинскій объявилъ, что ему надоѣли всѣ эти „никому ненужныя“ безобразія, и прежде насъ отправился домой пѣшкомъ. На его мѣсто къ намъ въ карету сѣлъ Житковъ; отставной майоръ имѣлъ весьма недовольный видъ и то-и-дѣло, какъ тараканъ, поводилъ усами.

— Что, ваше высокоблагородіе, —лепеталъ Сувениръ;—субординація, знать, подорвана? Погодите, то ли будетъ? Зададутъ феферу и вамъ. Ахъ вы, женишокъ, женишокъ, горе-женишокъ!

Сувенира такъ и разбирало; а бѣдный Житковъ только шевелилъ усами.

Вернувшись домой, я разсказалъ всѐ видѣнное мною матушкѣ. Она выслушала меня до конца и нѣсколько разъ покачала головою.—Не къ добру,—промолвила она;—не нравятся мнѣ всѣ эти новизны!

XV.

На слѣдующій день Мартынъ Петровичъ пріѣхалъ къ обѣду. Матушка поздравила его съ благополучнымъ окончаніемъ затѣяннаго имъ дѣла.—Ты теперь свободный человѣкъ,—сказала она,—и долженъ себя легче чувствовать.

— Легче-то-легче, сударыня, — отвѣчалъ Мартынъ Петровичъ, нисколько однако не показывая выраженьемъ своего лица, что ему дѣйствительно легче стало.—Можно теперь и о душѣ помыслить, и къ смертному часу, какъ слѣдуетъ, приготовиться.

— А что?—спросила матушка;—мурашки у тебя по рукѣ все бѣгаютъ?

Харловъ раза два сжалъ и разжалъ ладонь лѣвой

руки. — Бѣгаютъ, — сударыня; — и что я вамъ еще доложу: какъ начну я засыпать, кричитъ кто-то у меня къ головѣ: „берегись“! „берегись“!

— Это... нервы, — замѣтила матушка, и заговорила о вчерашнемъ днѣ, намекнула на нѣкоторыя обстоятельства, сопровождавшія совершеніе раздѣльнаго акта...—

— Ну да, да,—перебилъ ее Харловъ;—было такъ кое-что... неважное. Только вотъ что доложу вамъ,— прибавилъ онъ съ разстановкой.—Не смутили меня вчерась пустыя Сувенировы слова—даже самъ господинъ стряпчій, хоть и обстоятельный онъ человѣкъ—и тотъ не смутилъ меня; а смутила меня...—Тутъ Харловъ запнулся.

— Кто?—спросила матушка.

Харловъ вскинулъ на нее глазами:—Евлампія!

— Евлампія? Дочь твоя? Это какимъ образомъ?

— Помилуйте, сударыня—точно каменная! истуканъ истуканомъ! Неужто же она не чувствуетъ? Сестра ея, Анна—ну та все какъ слѣдуетъ. Та—тонкая! А Евлампія—вѣдь я ей—что грѣха таить!—много предпочтенія оказывалъ! Неужто же ей не жаль меня? Стало-быть мнѣ плохо приходится, стало-быть чую я, что не жилецъ я на сей землѣ, коли все имъ отказываю; и точно каменная! хоть бы гукнула! Кланяться—кланяется, а благодарности не видать.

— Вотъ постой,—замѣтила матушка,—выдадимъ мы ее за Гаврилу Ѳедулыча... у него она помягчѣетъ.

Мартынъ Петровичъ опять изъ подлобья глянулъ на матушку.—Ну развѣ вотъ Гаврила Ѳедулычъ! Вы, знать сударыня, на него надѣетесь?

— Надѣюсь.

— Такъ-съ; ну, вамъ лучше знать. А у Евлампи доложу вамъ—что у меня, что у ней: нравъ все еди Казацкая кровь—а сердце, какъ уголь горячій!

— Да развѣ у тебя такое сердце, отецъ мой?

Харловъ не отвѣчалъ. Наступило небольшое молчаніе.

— Что же ты, Мартынъ Петровичъ, — начала матушка, — какимъ образомъ намѣренъ теперь душу свою спасать? къ Митрофанію съѣздишь или въ Кіевъ? или, можетъ быть, въ Оптину пустынь отправишься, такъ какъ она по сосѣдству? Тамъ, говорятъ, такой святой проявился инокъ... отцомъ Макаріемъ его зовутъ, никто такого и не запомнитъ! Всѣ грѣхи насквозь видитъ.

— Если она точно неблагодарной дочерью окажется, — промолвилъ хриплымъ голосомъ Харловъ,—такъ мнѣ, кажется, легче будетъ ее изъ собственныхъ рукъ убить!

— Что́ ты! Что́ ты! Господь съ тобою! Опомнись!— воскликнула матушка. — Какія ты это рѣчи говоришь? Вотъ то-то вотъ и есть! послушался бы меня намедни, какъ совѣтоваться пріѣзжалъ! А теперь вотъ ты себя мучить будешь—вмѣсто того, чтобы о душѣ помышлять! Мучить ты себя будешь—а локтя все-таки не укусишь! Да! Теперь вотъ ты жалуешься, трусишь...

Этотъ упрекъ, казалось, въ самое сердце кольнулъ Харлова. Вся прежняя его гордыня такъ волной и прилила къ нему. Онъ встряхнулся и подбородкомъ двинулъ впередъ.

— Не таковскій я человѣкъ, сударыня Наталья Николаевна, чтобы жаловаться или трусить,—угрюмо заговорилъ онъ.—Я вамъ только, какъ благодѣтельницѣ моей и уважаемой особѣ, чувства мои изложить пожелалъ. Но Господь Богъ вѣдаетъ (тутъ онъ поднялъ руку надъ головою), что скорѣе шаръ земной въ раздробленіе придетъ, чѣмъ мнѣ отъ своего слова отступиться, или... (тутъ онъ даже фыркнулъ) или трусить, или раскаиваться въ томъ,что́ я сдѣлалъ! Значитъ, были причины! А дочери мои изъ повиновенія не выдутъ, во вѣки вѣковъ, аминь!

Матушка зажала уши.—Что это, отецъ, какъ труба трубишь! Коли ты въ самомъ дѣлѣ въ домочадцахъ своихъ такъ увѣренъ, ну и слава тебѣ, Господи! Голову ты мнѣ совсѣмъ размозжилъ!

Мартынъ Петровичъ извинился, вздохнулъ раза два и умолкъ. Матушка опять упомянула о Кіевѣ, объ Оптиной пустынѣ, объ отцѣ Макаріѣ... Харловъ поддакивалъ, говорилъ, что: „нужно, нужно... надо будетъ... о душѣ...“ и только. До самаго отъѣзда онъ не развеселился; отъ времени до времени сжималъ и разжималъ руку, глядѣлъ себѣ на ладонь, говорилъ, что ему страшнѣе всего умереть безъ покаянія, отъ удара, и что онъ зарокъ себѣ далъ: не сердиться, такъ какъ отъ сердца кровь портится и къ головѣ приливаетъ... Притомъ же онъ теперь отъ всего отстранился; съ какой стати онъ сердиться будетъ? Пусть другіе теперь трудятся и кровь себѣ портятъ!

Прощаясь съ матушкой, онъ страннымъ образомъ поглядывалъ на нее: задумчиво и вопросительно... и вдругъ быстрымъ движеніемъ, выхвативъ изъ кармана томъ „Покоящагося Трудолюбца“, сунулъ его матушкѣ въ руки.

— Что такое?—спросила она.

— Прочтите... вотъ тутъ, — торопливо промолвилъ онъ,—гдѣ уголокъ загнутъ, о смерти. Сдается мнѣ, что больно хорошо сказано, а понять никакъ не могу. Не растолкуете-ли вы мнѣ, благодѣтельница? Я вотъ вернусь, а вы мнѣ растолкуете.

Съ этими словами Мартынъ Петровичъ вышелъ.

— Неладно! эхъ, неладно!—замѣтила матушка, какъ только онъ скрылся за дверью—и принялась за „Трудолюбца“. На страницѣ, отмѣченной Харловымъ, стояли слѣдующія слова:

„Смерть есть важная и великая работа натуры. Она

не что иное, какъ то, что духъ, понеже есть легче, тоньше и гораздо проницательнѣе тѣхъ стихій, коимъ отданъ былъ подъ власть, но и самой электрической силы, то онъ химическимъ образомъ чистится и стремится до тѣхъ поръ, пока не ощутитъ равно духовнаго себѣ мѣста"... и т. д. *).

Матушка прочла этотъ пассажикъ раза два, воскликнула: тьфу!—и бросила книгу въ сторону.

Дня три спустя, она получила извѣстіе, что мужъ ея сестры скончался, и, взявъ меня съ собою, отправилась къ ней въ деревню. Матушка располагала провесть у ней мѣсяцъ, но осталась до поздней осени—и мы только въ концѣ сентября вернулись въ нашу деревню.

XVI.

Первое извѣстіе, которымъ встрѣтилъ меня мой камердинеръ Прокофій (онъ же считался господскимъ егеремъ), было то, что вальдшнеповъ налетѣло видимо-невидимо, и что особенно въ березовой рощѣ возлѣ Еськова (Харловскаго имѣнія) они такъ и кишатъ. До обѣда оставалось еще часа три; я тотчасъ схватилъ ружье, ягдташъ, и вмѣстѣ съ Прокофіемъ и лягавой собакой побѣжалъ въ Еськовскую рощу. Вальдшнеповъ въ ней мы нашли дѣйствительно много—и, выпустивши около тридцати зарядовъ, убили штукъ пять. Спѣша съ добычей домой, я увидѣлъ возлѣ дороги пахавшаго мужика. Лошадь его остановилась, и онъ, слезливо и злобно ругаясь, нещадно дергалъ веревочной вожжею ея на бокъ загнутую голову. Я вглядѣлся въ несчастную клячу, у которой ребра чуть не прорывались наружу и облитые пóтомъ бока судо-

*) См. „Покоющійся Трудолюбецъ" 1785, II. ч. Москва.

рожно и неровно вздымались, какъ кузнечные мѣха—и тотчасъ призналъ въ ней старую чахлую кобылу со шрамомъ на плечѣ, столько лѣтъ служившую Мартыну Петровичу.

— Г-нъ Харловъ живъ? — спросилъ я Прокофія. Охота насъ обоихъ такъ „всецѣло“ поглотила, что мы до того мгновенья ни о чемъ другомъ не разговаривали.

— Живъ-съ. А что-съ?

— Да вѣдь это его лошадь? Развѣ онъ продалъ ее?

— Лошадь, точно, ихняя-съ; только продавать они ее не продавали; а взяли ее у нихъ—да тому мужичку и отдали.

— Какъ такъ взяли? И онъ согласился?

— Согласія ихняго не спрашивали-съ. Тутъ безъ васъ порядки пошли,—промолвилъ съ легкой усмѣшкой Прокофій въ отвѣтъ на мой удивленный взглядъ,—бѣда! Боже ты мой! Теперь у нихъ Слёткинъ господинъ всѣмъ орудуетъ.

— А Мартынъ Петровичъ?

— А Мартынъ Петровичъ самымъ, какъ есть, послѣднимъ человѣкомъ сталъ. На сухояденьѣ сидитъ—чего больше? Порѣшили его совсѣмъ. Того и смотри, со двора сгонятъ.

Мысль, что можно такого великана *сгонять*—никакъ не укладывалась мнѣ въ голову. — А Житковъ-то чего смотритъ?—спросилъ я наконецъ.—Вѣдь онъ женился на второй дочери?

— Женился?—повторилъ Прокофій и на этотъ разъ усмѣхнулся во весь ротъ.—Его и въ домъ-то не пускаютъ. Не надо, молъ; поверни, молъ, оглобли назадъ. Сказанное дѣло: Слёткинъ всѣмъ заправляетъ.

— А невѣста-то что?

— Евлампія-то Мартыновна? Эхъ, баринъ, сказалъ

бы я вамъ... да млады вы суть—вотъ что. Дѣла тутъ подошли такія, что и... и... и! Э! да Діанка-то, кажись, стоитъ!

Дѣйствительно, собака моя остановилась, какъ вкопанная, передъ широкимъ дубовымъ кустомъ, которымъ заканчивался узкій оврагъ, выползавшій на дорогу. Мы съ Прокофіемъ подбѣжали къ собакѣ: изъ куста поднялся вальдшнепъ. Мы оба выстрѣлили по немъ, и промахнулись; вальдшнепъ перемѣстился; мы отправились за нимъ.

Супъ уже былъ на столѣ, когда я вернулся. Матушка побранила меня.—Что это?—сказала она съ неудовольствіемъ,—въ первый же день—да къ обѣду ждать себя заставилъ. „Я поднесъ ей убитыхъ вальдшнеповъ: она и не посмотрѣла на нихъ. Кромѣ ея, въ комнатѣ находились Сувениръ, Квицинскій и Житковъ. Отставной майоръ забился въ уголъ, ни дать, ни взять провинившійся школьникъ; выраженіе его лица являло смѣсь смущенія и досады; глаза его покраснѣли... Можно было даже подумать, что онъ незадолго передъ тѣмъ всплакнулъ. Матушка продолжала быть не въ духѣ; мнѣ не стоило большого труда догадаться, что поздній мой приходъ былъ тутъ не при чемъ. Во время обѣда она почти не разговаривала; майоръ изрѣдка возводилъ не нее жалостные взгляды, кушалъ, однако, исправно; Сувениръ трепеталъ; Квицинскій сохранялъ обычную увѣренность осанки.

— Викентій Осипычъ,—обратилась къ нему матушка;—прошу васъ послать завтра за Мартыномъ Петровичемъ экипажъ, такъ какъ я извѣстилась, что у него своего не стало; и велите ему сказать, чтобы онъ непремѣнно пріѣхалъ, что я желаю его видѣть.

Квицинскій хотѣлъ-было что-то возразить, но удержался.

— И Слёткину дайте знать, — продолжала матушка, — что я ему приказываю ко мнѣ явиться... Слышите? При...ка...зываю!

— Вотъ уже именно... этого негодяя слѣдуетъ... — началъ въ полголоса Житковъ; но матушка такъ презрительно на него посмотрѣла, что онъ тотчасъ отворотился и умолкъ.

— Слышите? Я приказываю! — повторила матушка.

— Слушаю-съ, — покорно, но съ достоинствомъ промолвилъ Квицинскій.

— Не пріѣдетъ Мартынъ Петровичъ! — шепнулъ мнѣ Сувениръ, выходя вмѣстѣ со мною послѣ обѣда изъ столовой. — Вы посмотрите, что съ нимъ сталось! Уму непостижимо! — Я полагаю — онъ что́ и говорятъ-то ему — ничего не понимаетъ. Да! Прижали ужа вилами!

И Сувениръ залился своимъ дряблымъ смѣхомъ.

XVII.

Предсказаніе Сувенира оказалось справедливымъ. Мартынъ Петровичъ не захотѣлъ поѣхать къ матушкѣ. Она этимъ не удовольствовалась и отправила къ нему письмо; онъ прислалъ ей четвертушку бумаги, на которой крупными буквами были написаны слѣдующія слова: „Ей-же-ей, не могу. Стыдъ убьетъ. Пущай такъ пропадаю. Спасибо. Не мучьте. Харловъ Мартынко“. Слёткинъ пріѣхалъ, но не въ тотъ день, когда матушка „приказывала“ ему явиться, а цѣлыми сутками позже. Матушка велѣла провести его къ себѣ въ кабинетъ... Богъ вѣдаетъ, о чемъ у нихъ велась бесѣда, но продолжалась она недолго: съ четверть часа, не болѣе. Слёткинъ вышелъ отъ матушки весь красный и съ такимъ ядовито-

злымъ и дерзостнымъ выраженіемъ лица, что, встрѣтившись съ нимъ въ гостиной, я просто остолбенѣлъ, а тутъ же вертѣвшійся Сувениръ не окончилъ начатаго смѣха. Матушка вышла изъ кабинета тоже вся красная въ лицѣ и объявила во всеуслышаніе, чтобъ г-на Слёткина ни подъ какимъ видомъ къ ней впередъ не допускать; а коли Мартына Петровича дочери вздумаютъ явиться—наглости, дескать, на это у нихъ станетъ—имъ также отказывать. За обѣдомъ она вдругъ воскликнула:—Каковъ дрянной жиденокъ! Я-жъ его за уши изъ грязи вытащила, я-жъ его въ люди вывела, онъ всѣмъ, всѣмъ мнѣ обязанъ—и онъ смѣетъ мнѣ говорить, что я напрасно въ ихъ дѣла вмѣшиваюсь! Что Мартынъ Петровичъ блажитъ—и что ему потакать невозможно! Потакать! каково? Ахъ, онъ неблагодарный пащенокъ! Жиденокъ мерзкій!—Майоръ Житковъ, который также находился въ числѣ обѣдавшихъ, вообразилъ, что теперь-то ужъ самъ Богъ ему велѣлъ воспользоваться случаемъ и ввернуть свое слово... но матушка тотчасъ его осадила.—Ну ужъ и ты хорошъ, мой отецъ!—промолвила она.—Съ дѣвкой не умѣлъ сладить, а еще офицеръ! Ротой командовалъ! Воображаю, какъ она тебя слушалась! Въ управляющіе мѣтилъ! хорошъ бы вышелъ управляющій!

Квицинскій, сидѣвшій на концѣ стола, улыбнулся про себя не безъ злорадства, а бѣдный Житковъ только усами повелъ, да брови поднялъ и всѣмъ своимъ волосатымъ лицомъ уткнулся въ салфетку.

Послѣ обѣда онъ вышелъ на крыльцо покурить, по обыкновенію, трубочку—и такимъ онъ мнѣ показался жалкимъ и сиротливымъ, что я, хотя его и не долюбливалъ, однако, тутъ присосѣдился къ нему.

— Какъ это у васъ, Гаврила Ѳедулычъ,—началъ я

безъ дальнихъ околичностей,—съ Евлампіей Мартыновной дѣло разстроилось? Я полагалъ—вы давно женились.

Отставной майоръ уныло взглянулъ на меня.

— Змѣй подколодный, — началъ онъ, съ горестной старательностью выговаривая каждую букву каждаго слога,—жаломъ своимъ меня уязвилъ и всѣ мои надежды въ жизни—въ прахъ обратилъ! И разсказалъ бы я вамъ, Дмитрій Семеновичъ, всѣ его ехидные поступки, но матушку вашу боюсь прогнѣвить! („Млады вы еще суть“ — мелькнуло у меня въ головѣ выраженіе Прокофія). Ужъ и такъ...—Житковъ крякнулъ.

— Терпѣть... терпѣть... больше ничего не остается! (Онъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь). Терпи, старый служака, терпи! Царю служилъ вѣрой-правдой... безпорочно... да! Не щадилъ пота-крови, а теперь вотъ до чего довертѣлся! Будь то въ полку — и дѣло отъ меня зависящее—продолжалъ онъ послѣ короткаго молчанія, судорожно насасывая свой черешневый чубукъ,—я-бъ его... я-бъ его фухтелями въ три перемѣны... то-есть, до отвалу...

Житковъ вынулъ трубку изо рта и устремилъ взоръ въ пространство, какъ бы внутренно любуясь вызванной имъ картиной.

Сувениръ подбѣжалъ и началъ шпынять майора. Я отошелъ отъ нихъ въ сторону—и рѣшился, во что́ бы то ни стало, собственными глазами увидать Мартына Петровича... Дѣтское мое любопытство было сильно задѣто.

XVIII.

На другой день я опять съ ружьемъ и съ собакой, но безъ Прокофія, отправился въ Еськовскую рощу.

День выдался чудесный: я думаю, кромѣ Россіи, въ сентябрѣ мѣсяцѣ нигдѣ подобныхъ дней и не бываетъ. Тишь стояла такая, что можно было за сто шаговъ слышать какъ бѣлка перепрыгивала по сухой листвѣ, какъ оторвавшійся сучекъ сперва слабо цѣплялся за другія вѣтки и падалъ, наконецъ, въ мягкую траву—падалъ навсегда: онъ ужъ не шелохнется, пока не истлѣетъ. Воздухъ ни теплый, ни свѣжій, а только пахучій и словно кисленькій, чуть-чуть, пріятно щипалъ глаза и щеки; тонкая, какъ шелковинка, съ бѣлымъ клубочкомъ по серединѣ, длинная паутина плавно налетала и, прильнувъ къ стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху—знакъ постоянной, теплой погоды! Солнце свѣтило, но такъ кротко, хоть бы лунѣ. Вальдшнепы попадались довольно часто; но я не обращалъ на нихъ особеннаго вниманія, я зналъ, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самаго плетня его сада—и пробирался въ ту сторону—хоть и не могъ себѣ представить, какъ я въ самую усадьбу проникну и даже сомнѣвался въ томъ, слѣдовало ли мнѣ стараться проникнуть туда, такъ какъ матушка моя гнѣвалась на новыхъ владѣльцевъ.

Живые человѣческіе звуки почудились мнѣ въ недальнемъ разстояніи. Я сталъ прислушиваться... Кто-то шелъ по лѣсу... прямо на меня.

— Такъ бы ты и сказалъ, — послышался женскій голосъ.

— Толкуй! —перебилъ другой голосъ, голосъ мужчины. — Нешто можно все разомъ?

Голоса были мнѣ знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь порѣдѣвшіе орѣховые кусты; рядомъ съ нимъ показался темный кафтанъ. Еще мгновенье—и на поляну, въ пяти шагахъ отъ меня вышли Слеткинъ и Евлампія.

Они внезапно смутились. Евлампія тотчасъ отступила назадъ въ кусты. Слеткинъ подумалъ—и приблизился ко мнѣ. На лицѣ его уже не замѣчалось и слѣда того подобострастнаго смиренія, съ которымъ онъ, мѣсяца четыре тому назадъ, расхаживая по двору Харловскаго дома, перетиралъ трензель моей лошади; но и того дерзкаго вызова я на немъ прочесть не могъ, того вызова, которымъ это лицо такъ поразило меня наканунѣ, на порогѣ матушкина кабинета. Оно осталось по прежнему бѣлымъ и пригожимъ, но казалось солиднѣй и шире.

— Что̀, много вальдшнеповъ заполевали?—спросилъ онъ меня, приподнявъ шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своимъ чернымъ кудрямъ.—Вы въ нашей рощѣ охотитесь... Милости просимъ! Мы не препятствуемъ... Напротивъ!

— Сегодня я ничего не убилъ,—промолвилъ я, отвѣчая на первый его вопросъ; а изъ рощи вашей я сейчасъ выйду.

Слеткинъ торопливо надѣлъ шапку.—Помилуйте, зачѣмъ же? Мы васъ не гонимъ — и даже очень рады... Вотъ и Евлампія Мартыновна тоже скажетъ. Евлампія Мартыновна, пожалуйте сюда! Куда вы забились?

Голова Евлампіи показалась изъ-за кустовъ; но она не подошла къ намъ. Она еще похорошѣла за послѣднее время—и словно еще выросла и раздобрѣла.

— Мнѣ, признаться сказать,—продолжалъ Слеткинъ,—даже очень пріятно, что „встрѣтился“ съ вами. Вы хоть еще молоды—но разумъ уже имѣете настоящій. Матушка ваша вчерась на меня прогнѣваться изволила—никакихъ отъ меня резоновъ принять не хотѣла, а я, какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами доложу: ни въ чемъ я не повиненъ. Съ Мартыномъ Петровичемъ иначе по-

ступать невозможно: совсѣмъ онъ въ младенчество впалъ. Нельзя же намъ исполнять всѣ его капризы, помилуйте. А уваженіе мы ему оказываемъ, какъ слѣдуетъ! Спросите хоть Евлампію Мартыновну.

Евлампія не шевелилась; обычная презрительная улыбка бродила по ея губамъ—и неласково глядѣли красивые глаза.

— Но зачѣмъ же вы, Владиміръ Васильевичъ, Мартынъ-Петровичеву лошадь-то продали? (Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владѣніи мужика).

— Лошадь-то ихнюю зачѣмъ продали-съ? Да помилосердуйте—куда же она годилась? Только сѣно даромъ ѣла. А у мужика она все-таки пахать можетъ. А Мартыну Петровичу—коли вздумается куда выѣхать—стоитъ только у насъ попросить. Мы въ экипажѣ ему не отказываемъ. Въ нерабочіе дни съ нашимъ удовольствіемъ!

— Владиміръ Васильевичъ!—глухо проговорила Евлампія, какъ бы отзывая его и все не сходя съ своего мѣста. Она вертѣла около пальцевъ нѣсколько стеблей подорожника и отсѣкала имъ головки, ударяя ихъ другъ о дружку.

— Вотъ еще насчетъ казачка Максимки,—продолжалъ Слеткинъ;—Мартынъ Петровичъ жалуется, зачѣмъ, молъ, мы его у него отняли да въ ученье отдали. Но извольте сами разсудить: ну, что бы онъ сталъ у Мартына Петровича дѣлать? Баклуши бить; больше ничего. И служить-то, какъ слѣдуетъ, онъ не можетъ: по причинѣ своей глупости и младыхъ лѣтъ. А теперь мы его къ шорнику въ ученіе отдали. Выйдетъ изъ него мастеръ хорошій—и себѣ пользу принесетъ—и намъ будетъ оброкъ платить. А въ нашемъ маленькомъ хозяй-

ствѣ это вещь важная-съ! Въ нашемъ маленькомъ хозяйствѣ ничего упускать не слѣдуетъ!

„И этого-то человѣка Мартынъ Петровичъ называлъ тряпкой!“ — подумалъ я. — Но кто же теперь Мартыну Петровичу читаетъ?—спросилъ я.

— Да что́ читать-то? Была одна книга—да, благо, запропастилась куда-то... И что́ за чтеніе въ его лѣта!

— А брѣетъ его кто?—опять спросилъ я.

Слёткинъ засмѣялся одобрительно, какъ бы въ отвѣтъ на забавную шутку. — Да никто. Сперва онъ себѣ бороду свѣчей подпаливалъ,—а теперь и вовсе запустилъ ее. И чудесно!

— Владиміръ Васильевичъ!—съ настойчивостью повторила Евлампія;—а Владиміръ Васильевичъ!

Слёткинъ сдѣлалъ ей знакъ рукою.

— Обутъ, одѣтъ Мартынъ Петровичъ, кушаетъ тоже, что́ и мы; чего-жъ ему еще? Самъ же онъ увѣрялъ, что больше ничего въ семъ мірѣ не желаетъ, какъ только о душѣ своей заботиться. Хоть бы онъ то сообразилъ, что теперь все—какъ ни какъ—а наше. Говоритъ тоже, что жалованье мы ему не выдаемъ; да у насъ самихъ деньги не всегда бываютъ; и на что онѣ ему, когда на всемъ готовомъ живетъ? А мы съ нимъ по-родственному обращаемся: истинно вамъ говорю. Комнаты, напримѣръ, въ которыхъ онъ жительство имѣетъ—ужъ какъ намъ нужны! безъ нихъ, просто повернуться негдѣ; а мы—ничего!—терпимъ. Даже о томъ помышляемъ, какъ бы ему развлеченіе доставить. Вотъ я къ Петрову дню а-атличные крючки въ городѣ ему купилъ — настоящіе англійскіе: дорогіе крючки! чтобы рыбу удить. У насъ въ пруду караси водятся. Сидѣлъ бы да удилъ! часикъ, другой, посидѣлъ — анъ ушица и готова. Самое для старичковъ степенное занятіе!

— Владиміръ Васильичъ! — въ третій разъ, рѣшительнымъ тономъ проговорила Евлампія и отбросила далеко отъ себя прочь травяные стебли, которые вертѣла въ пальцахъ.—Я уйду!—Ея глаза встрѣтились съ моими.—Я уйду, Владиміръ Васильевичъ!—повторила она и скрылась за кустъ.

— Я сейчасъ, Евлампія Мартыновна, сейчасъ!—крикнулъ Слёткинъ.—Самъ Мартынъ Петровичъ теперь насъ одобряетъ,—продолжалъ онъ, снова обращаясь ко мнѣ.—Сперва онъ обижался, точно; и даже ропталъ, пока, знаете, не вникъ: человѣкъ онъ былъ, вы изволите помнить, горячій, крутой — бѣда! ну, а нынѣ совсѣмъ тихъ сталъ. Потому — пользу свою увидѣлъ. Маменька ваша — и Боже ты мой! какъ опрокинулась на меня... Извѣстно: барыня властью своею дорожитъ тоже, не хуже, какъ, бывало, Мартынъ Петровичъ; ну, а вы зайдите сами, посмотрите—да при случаѣ и замолвите словечко. Я Натальи Николаевны благодѣянья очень чувствую; однако надо же жить и намъ.

— А Житкову какъ же отказано было? – спросилъ я.

— Ѳедулычу-то? Талагаю-то этому?—Слёткинъ плечами пожалъ.—Да помилуйте, на что же онъ могъ быть нуженъ? Вѣкъ свой въ солдатахъ числился—а тутъ хозяйствомъ заняться вздумалъ. Я, говоритъ, могу съ крестьяниномъ расправу чинить. Потому, я привыкъ по рожѣ бить. Ничего-съ онъ не можетъ. И по рожѣ бить нужно умѣючи. А Евлампія Мартыновна сама ему отказала. Совсѣмъ неподходящій человѣкъ. Все наше хозяйство съ нимъ бы пропало!

— Ау!—раздался звучный голосъ Евлампіи.

— Сейчасъ! сейчасъ!—отозвался Слёткинъ. Онъ протянулъ мнѣ руку; я, хоть и неохотно, а пожалъ ее.

— Прощенія просимъ, Дмитрій Семеновичъ, — про-

говорилъ Слёткинъ, выказывая всѣ свои бѣлые зубы. — Стрѣляйте себѣ вальдшнеповъ на здоровье; птица прилетная, никому не принадлежащая; ну, а коли зайчикъ вамъ попадется — вы ужъ его пощадите: это добыча — наша. Да вотъ еще! не будетъ-ли у васъ щеночка отъ вашей сучки? Очень бы одолжили!

— Ау!—раздался снова голосъ Евлампіи.

— Ау! ау!—отозвался Слёткинъ и бросился въ кусты.

XIX.

Помнится, когда я остался одинъ, меня занимала мысль: какъ это Харловъ не прихлопнулъ Слёткина такъ, „чтобы только мокро было на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находился“ — и какъ это Слёткинъ не страшился подобной участи? Видно Мартынъ Петровичъ точно „тихъ“ сталъ, подумалось мнѣ—и еще сильнѣе захотѣлось пробраться въ Еськово и хоть однимъ глазкомъ посмотрѣть на того колосса, котораго я никакъ не могъ вообразить себѣ загнаннымъ и смирнымъ. Я достигнулъ уже опушки—какъ вдругъ изъ-подъ самыхъ ногъ моихъ, съ сильнымъ трескомъ крылъ, выскочилъ крупный вальдшнепъ и помчался въ глубь рощи. Я прицѣлился; ружье мое осѣклось. Очень мнѣ стало досадно: птица ужъ больно была хороша, и я рѣшился попытаться, не подниму-ли я ея снова? Я пошелъ въ направленіи ея полета — и отойдя шаговъ двѣсти, увидѣлъ на небольшой лужайкѣ, подъ развѣсистой березой—не вальдшнепа—а того же господина Слёткина. Онъ лежалъ на спинѣ, заложивъ обѣ руки подъ голову и съ довольной улыбкой поглядывалъ вверхъ, на небо, слегка покачивая лѣвой ногой, закинутой на правое колѣно. Онъ не замѣтилъ моего прибли-

женія. По лужайкѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, медленно, съ опущенными глазами, похаживала Евлампія; казалось, она искала чего-то въ травѣ — грибовъ, что́-ли — изрѣдка наклонялась, протягивала руку — и напѣвала вполголоса. Я остановился тотчасъ и сталъ прислушиваться. Сперва я не могъ понять, что́ это она такое поетъ, но потомъ я хорошо призналъ слѣдующіе, извѣстные стихи старинной пѣсни:

«Ты найди-ка, ты найди, туча грозная,
Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку.
Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку,
А молодую-то жену я и самъ убью!»

Евлампія пѣла все громче и громче; особенно сильно протянула она послѣднія слова. Слёткинъ все лежалъ на спинѣ да посмѣивался, а она все какъ будто кружила около него.

— Вишь ты! — промолвилъ онъ наконецъ. — И чего имъ только въ голову не взбредетъ!

— А что̀—спросила Евлампія.

Слёткинъ слегка приподнялъ голову.—Что? Какія ты это рѣчи произносишь?

— Изъ пѣсни, Володя, ты самъ знаешь, слова не выкинешь, — отвѣчала Евлампія, обернулась и увидѣла меня. Мы оба разомъ вскрикнули, и оба бросились въ разныя стороны.

Я поспѣшно выбрался изъ рощи—и перейдя узенькую полянку, очутился передъ Харловскимъ садомъ.

XX.

Мнѣ некогда — да и не къ чему было размышлять о томъ, что́ я увидѣлъ. Только вспомнилось мнѣ слово: „присуха“, которое я недавно предъ тѣмъ узналъ, и

значенію котораго я много дивился. Я пошелъ вдоль садоваго плетня и чрезъ нѣсколько мгновеній, изъ-за серебристыхъ тополей (они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестѣли) увидалъ дворъ и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мнѣ подчищенной и подтянутой; всюду замѣчались слѣды постояннаго и строгаго надзора. Анна Мартыновна появилась на крыльцѣ и, прищуривъ свои блѣдно-голубые глаза, долго глядѣла въ направленіи рощи.

— Барина видѣлъ?—спросила она проходившаго по двору мужика.

— Владиміръ-Васильича?—отвѣчалъ тотъ, схвативъ съ головы шапку.—Онъ никакъ въ рощу пошелъ.

— Знаю, что въ рощу. Не вернулся онъ? Не видалъ его?

— Не видалъ... нѣтути.

Мужикъ продолжалъ стоять безъ шапки передъ Анной Мартыновной.

— Ну, ступай,—проговорила она.—Или нѣтъ... постой... Мартынъ Петровичъ гдѣ? Знаешь?

— А Мартынъ эвто Петровичъ,—отвѣчалъ мужикъ пѣвучимъ голосомъ, поперемѣнно приподнимая то правую, то лѣвую руку, словно показывая куда-то,—сидитъ тамотка у пруда, съ удою. Въ камышѣ сидитъ и съ удою. Рыбу, что-ль, ловитъ, Богъ его знаетъ.

— Хорошо... Ступай,—повторила Анна Мартыновна; —да подбери колесо, вишь валяется.

Мужикъ побѣжалъ исполнять ея приказаніе, а она постояла еще нѣсколько минутъ на крыльцѣ и все смотрѣла въ направленіи рощи. Потомъ она тихонько погрозилась одной рукой и медленно вернулась въ домъ.— Аксютка!—раздался ея повелительный голосъ за дверью.

Анна Мартыновна имѣла видъ раздраженный и

какъ-то особенно крѣпко сжимала свои и безъ того тонкія губы. Одѣта она была небрежно и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но несмотря ни на небрежность ея одежды, ни на ея раздраженіе, она по-прежнему казалась мнѣ привлекательной, и я съ великой охотой поцѣловалъ бы ея узкую, тоже какъ будто злую руку, которою она раза два съ досадой откинула ту развитую прядь.

XXI.

— Неужели же Мартынъ Петровичъ и впрямь сталъ рыболовомъ?—спрашивалъ я самого себя, направляясь къ пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошелъ на плотину, глянулъ туда, сюда... Нигдѣ Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного изъ береговъ пруда — и, наконецъ, въ самой почти его головѣ, у небольшого залива, посреди плоскихъ и поломанныхъ стеблей порыжѣлаго камыша, увидѣлъ громадную, сѣроватую глыбу... Я присмотрѣлся: это былъ Харловъ. Безъ шапки, взъерошенный, въ прорванномъ по швамъ холстинномъ кафтанѣ, поджавъ подъ себя ноги, онъ сидѣлъ неподвижно на голой землѣ; такъ неподвижно сидѣлъ онъ, что куличекъ-песочникъ, при моемъ приближеніи, сорвался съ высохшей тины въ двухъ шагахъ отъ него— и полетѣлъ, дрыгая крылышками и посвистывая, надъ водной гладью. Стало-быть, уже давно никто въ его близости не шевелился и не пугалъ его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, какъ только увидала его, круто уперлась, поджала хвостъ и зарычала. Онъ чуть-чуть повернулъ голову и уставилъ на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много

его мѣняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, въ бѣлыхъ вихрахъ, на подобіе смушекъ. Въ правой его рукѣ лежалъ конецъ удилища, другой конецъ слабо колыхался на водѣ. Сердце у меня невольно іокнуло; однако я собрался съ духомъ, подошелъ къ нему и поздоровался съ нимъ. Онъ медленно заморгалъ, словно съ просонья.

— Что́ это вы, Мартынъ Петровичъ,—началъ я,—рыбу здѣсь ловите?

— Да... рыбу, — отвѣчалъ онъ сиплымъ голосомъ и дернулъ кверху удилище, на концѣ котораго болтался обрывокъ нитки въ аршинъ и безъ крючка.

— У васъ лѣса̀ по̀рвана,—замѣтилъ я и тутъ же увидалъ, что возлѣ Мартына Петровича ни лейки не оказывалось, ни червей... И какая могла быть ловля въ сентябрѣ?!

— Порвана?—промолвилъ онъ и провелъ рукой по лицу.—Но это все едино!

Онъ снова закинулъ свою удочку.

— Натальи Николаевны сынокъ? — спросилъ онъ меня, спустя минуты двѣ, въ теченіе которыхъ я не безъ тайнаго изумленія его разсматривалъ. Онъ хотя и похудѣлъ сильно, однако все-таки казался исполиномъ; но въ какое онъ былъ одѣтъ рубище и какъ опустился весь!

— Точно-такъ,—отвѣчалъ я,—я сынъ Натальи Николаевны Б.

— Здравствуетъ?

— Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашимъ отказомъ,—прибавилъ я,—она никакъ не ожидала, что вы не захотите къ ней пріѣхать.

Мартынъ Петровичъ понурился.—А былъ ты тамъ?—спросилъ онъ, качнувъ въ сторону головою.

— Гдѣ?

— Тамъ на усадьбѣ. Не былъ? Сходи. Что тебѣ здѣсь дѣлать? Сходи. Разговаривать со мной нечего. Не люблю.

Онъ помолчалъ.

— Тебѣ бы все съ ружьемъ баловаться! Въ младыхъ лѣтахъ будучи, и я по этой дорожкѣ бѣгалъ. Только отецъ у меня... а я его уважалъ, во-какъ! не то что нынѣшніе. Отхлесталъ отецъ меня арапникомъ — и шабашъ! Полно баловаться! Потому я его уважалъ... У!... Да...

Харловъ опять помолчалъ.

— А ты здѣсь не оставайся,—началъ онъ снова.— Ты на усадьбу сходи. Тамъ теперь хозяйство идетъ на славу. Володька...—Тутъ онъ на мигъ запнулся. — Володька у меня на всѣ руки. Молодецъ! ну да и бестія-же!

Я не зналъ, что сказать; Мартынъ Петровичъ говорилъ очень спокойно.

— И дочерей посмотри. Ты, чай, помнишь, у меня были дочери. Онѣ тоже хозяйки... ловкія. А я старъ становлюсь, братъ; отстранился. На покой, знаешь. .

„Хорошъ покой!“—подумалъ я, взглянувъ кругомъ. —Мартынъ Петровичъ!—промолвилъ я вслухъ.—Вамъ непремѣнно надо къ намъ пріѣхать.

Харловъ глянулъ на меня. — Ступай, братъ, прочь; вотъ что.

— Не огорчайте маменьку; пріѣзжайте.

— Ступай, братъ, ступай,—твердилъ Харловъ.—Что тебѣ со мной разговаривать?

— Если у васъ экипажа нѣтъ, маменька вамъ свой пришлетъ.

— Ступай!

— Да право же, Мартынъ Петровичъ!

Харловъ опять понурился — и мнѣ показалось, что

его потемнѣвшія, какъ бы землей перекрытыя щеки слегка покраснѣли.

— Право, пріѣзжайте,—продолжалъ я.— Что вамъ тутъ сидѣть-то? Себя мучить?

— Какъ такъ мучить,—промолвилъ онъ съ разстановкой.

— Да такъ же—мучить!—повторилъ я.

Харловъ замолчалъ и словно въ думу погрузился.

Ободренный этимъ молчаньемъ, я рѣшился быть откровеннымъ, дѣйствовать прямо, на чистоту. (Не забудьте—мнѣ было всего пятнадцать лѣтъ).

— Мартынъ Петровичъ!—началъ я, усаживаясь возлѣ него.—Я вѣдь все знаю, рѣшительно все! Я знаю, какъ вашъ зять съ вами поступаетъ—конечно съ согласія вашихъ дочерей. И теперь вы въ такомъ положеніи... Но зачѣмъ же унывать?

Харловъ все молчалъ и только удочку уронилъ; а я-то—какимъ умницей, какимъ философомъ я себя чувствовалъ!

— Конечно,—заговорилъ я снова,—вы поступили неосторожно, что все отдали вашимъ дочерямъ. Это было очень великодушно съ вашей стороны—и я васъ упрекать не стану. Въ наше время это слишкомъ рѣдкая черта! Но если ваши дочери такъ неблагодарны—то вамъ слѣдуетъ оказать презрѣніе... именно презрѣніе... и не тосковать...

— Оставь!—прошепталъ вдругъ Харловъ со скрежетомъ зубовъ, и глаза его, уставленные на прудъ, засверкали злобно... Уйди!

— Но, Мартынъ Петровичъ...

— Уйди, говорятъ... а то убью!

Я-было совсѣмъ пододвинулся къ нему; но при этомъ

послѣднемъ словѣ невольно вскочилъ на ноги.—Что́ вы такое сказали, Мартынъ Петровичъ?

— Убью, говорятъ тебѣ: уйди!—Дикимъ стономъ, ревомъ вырвался голосъ изъ груди Харлова, но онъ не оборачивалъ головы и продолжалъ съ яростью смотрѣть прямо передъ собой.—Возьму да брошу тебя со всѣми твоими дурацкими совѣтами въ воду—вотъ ты будешь знать, какъ старыхъ людей безпокоить, молокососъ! „Онъ съума сошелъ!“ мелькнуло у меня въ головѣ.

Я взглянулъ на него попристальнѣе и остолбенѣлъ окончательно: Мартынъ Петровичъ плакалъ!! Слезинка за слезинкой катилась съ его рѣсницъ по щекамъ... а лицо приняло выраженіе совсѣмъ свирѣпое...

— Уйди!—закричалъ онъ еще разъ,—а то убью тебя, ей-богу! чтобы другимъ повадно не было!

Онъ дрыгнулъ всѣмъ тѣломъ какъ-то въ бокъ и оскалился точно кабанъ; я схватилъ ружье и бросился бѣжать. Собака съ лаемъ пустилась вслѣдъ за мною! И она тоже испугалась.

Вернувшись домой, я, разумѣется, матушкѣ ни единымъ словомъ не намекнулъ на то, что́ видѣлъ, но встрѣтившись съ Сувениромъ, я—чортъ знаетъ почему—разсказалъ ему все. Этотъ противный человѣкъ до того обрадовался моему разсказу, такъ визгливо хохоталъ и даже прыгалъ, что я чуть не побилъ его.

— Эхъ! посмотрѣлъ бы я, — твердилъ онъ, задыхаясь отъ смѣха,—какъ этотъ идолъ, „вшедъ“ Харлусъ, залѣзъ въ тину да и сидитъ въ ней...

— Сходите къ нему на прудъ, коли вамъ такъ любопытно.

— Да; а какъ убьетъ?

Очень мнѣ надоѣлъ Сувениръ, и раскаявался я въ своей неумѣстной болтливости... Житковъ, которому онъ

передалъ свой разсказъ, взглянулъ на дѣло нѣсколько иначе.

— Придется къ полиціи обратиться,—рѣшилъ онъ,— а, пожалуй, и за воинской командой нужно будетъ послать.

Предчувствіе его на счетъ воинской команды не сбылось,—но произошло, дѣйствительно, нѣчто необыкновенное.

XXII.

Въ половинѣ октября, недѣли три спустя послѣ моего свиданія съ Мартыномъ Петровичемъ, я стоялъ у окна моей комнаты, во второмъ этажѣ нашего дома— и, ни о чемъ не помышляя, уныло посматривалъ на дворъ и на пролегавшую за нимъ дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная; объ охотѣ невозможно было и помышлять. Все живое поспряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Вѣтеръ то глухо завывалъ, то свисталъ порывисто; низкое, безъ всякаго просвѣту небо изъ непріятно-бѣлаго цвѣта переходило въ свинцовый, еще болѣе зловѣщій цвѣтъ — и дождь, который лилъ, лилъ неумолчно и безпрестанно, внезапно становился еще крупнѣе, еще косѣе — и съ визгомъ расплывался по стекламъ. Деревья совсѣмъ истрепались и какія-то сѣрыя стали: ужъ, кажется, что̀ было съ нихъ взять — а вѣтеръ нѣтъ-нѣтъ — да опять примется тормошить ихъ. Вездѣ стояли засоренныя мертвыми листьями лужи; крупные волдыри, то-и-дѣло лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по нимъ. Грязь по дорогамъ стояла невылазная; холодъ проникалъ въ комнаты, подъ платье, въ самыя кости; неволь-

ная дрожь пробѣгала по тѣлу — и ужъ какъ становилось дурно на душѣ! Именно дурно — не грустно. Казалось, уже никогда не будетъ на свѣтѣ ни солнца, ни блеска, ни красокъ, а вѣчно будетъ стоять эта слякоть и слизь, и сѣрая мокрота, и сырость кислая—и вѣтеръ будетъ вѣчно пищать и ныть! Вотъ стоялъ я такъ-то въ раздумьѣ у окна — и помню я: темнота набѣжала внезапная, синяя темнота—хотя часы показывали всего двѣнадцать. Вдругъ мнѣ почудилось, что черезъ нашъ дворъ — отъ воротъ къ крыльцу, промчался медвѣдь! Правда, не на четверенькахъ, а такой, какимъ его рисуютъ, когда онъ поднимается на заднія лапы. Я глазамъ не вѣрилъ. Если и не медвѣдя я увидалъ, то во всякомъ случаѣ что-то громадное, черное, шаршавое... Не успѣлъ я еще сообразить, чтобъ это могло быть, какъ вдругъ раздался внизу неистовый стукъ. Казалось, что-то совсѣмъ неожиданное, что-то страшное ввалилось въ нашъ домъ. Поднялась суета, бѣготня...

Я проворно спустился съ лѣстницы, вскочилъ въ столовую...

Въ дверяхъ гостиной, лицомъ ко мнѣ, стояла, какъ вкопанная, моя матушка; за ней виднѣлось нѣсколько испуганныхъ женскихъ лицъ; дворецкій, два лакея, казачекъ съ раскрытыми отъ изумленія ртами — тискались у двери въ переднюю; а посреди столовой, покрытое грязью, растрепанное, растерзанное, мокрое — мокрое до того, что паръ поднимался кругомъ и вода струйками бѣжала по полу, стояло на колѣняхъ, грузно колыхаясь и какъ бы замирая, то самое чудовище, которое въ моихъ глазахъ промчалось черезъ дворъ! И кто же былъ это чудовище? Харловъ! Я зашелъ съ боку и увидалъ —не лицо его—а голову, которую онъ обхватилъ ладонями по слѣпленнымъ грязью волосамъ. Онъ дышалъ

тяжело, судорожно; что-то даже клокотало въ его груди —и на всей этой забрызганной темной массѣ только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждавшіе бѣлки глазъ. Онъ былъ ужасенъ! Вспомнился мнѣ сановникъ, котораго онъ нѣкогда оборвалъ за сравненіе съ мастодонтомъ. Дѣйствительно: такой видъ должно было имѣть допотопное животное, только-что спасшееся отъ другого сильнѣйшаго звѣря, напавшаго на него среди вѣковѣчнаго ила первобытныхъ болотъ.

— Мартынъ Петровичъ!—воскликнула наконецъ матушка и руками всплеснула.—Ты ли это! Господи Боже милостивый!

— Я.... я....—послышался прерывистый голосъ, какъ бы съ усиліемъ и болью выпирая каждый звукъ:— охъ! Я!

— Но что́ это съ тобою, Господи?!

— Наталья Николав... на.... я къ вамъ.... прямо изъ дому бѣ.... жалъ пѣшкомъ....

— По этакой грязи! Да ты на человѣка не похожъ. Встань, сядь по крайней мѣрѣ.... А вы, — обратилась она къ горничнымъ,—поскорѣй сбѣгайте за полотенцами Да нѣтъ ли какого сухого платья?—спросила она дворецкаго.

Дворецкій показалъ руками, что гдѣ же, молъ, на такой ростъ?.... — А впрочемъ одѣяло можно принести, — доложилъ онъ; — не то попона есть новая.

— Да встань же, встань, Мартынъ Петровичъ, сядь,— повторяла матушка.

— Выгнали меня, сударыня,—простоналъ вдругъ Харловъ—и голову назадъ закинулъ, и руки протянулъ впередъ.—Выгнали, Наталья Николаевна! Родныя дочери изъ моего же родного пепелища....

Матушка ахнула.

— Что ты говоришь! Выгнали! Экой грѣхъ! экой грѣхъ! (Она перекрестилась.) Только встань ты, Мартынъ Петровичъ, сдѣлай милость!

Двѣ горничныя вошли съ полотенцами и остановились передъ Харловымъ. Видно было, что онѣ и придумать не могли, какъ имъ приступиться къ этакой уймѣ грязи. — Выгнали, сударыня, выгнали, твердилъ между тѣмъ Харловъ. — Дворецкій вернулся съ большимъ шерстянымъ одѣяломъ и тоже остановился въ недоумѣніи. Головка Сувенира высунулась изъ-за двери и исчезла.

— Мартынъ Петровичъ! встань! сядь! и разскажи мнѣ все по порядку, — рѣшительнымъ тономъ скомандовала матушка.

Харловъ приподнялся.... Дворецкій хотѣлъ-было ему помочь, но только руку замаралъ и, встряхивая пальцами, отступилъ къ двери. Переваливаясь и шатаясь, Харловъ добрался до стула и сѣлъ. Горничныя опять приблизились къ нему съ полотенцами, но онъ отстранилъ ихъ движеніемъ руки и отъ одѣяла отказался. Впрочемъ, матушка сама не стала настаивать: обсушить, Харлова очевидно, не было возможности; только слѣды его на полу на-скоро подтерли.

XXIII.

— Какъ же это тебя выгнали? — спросила матушка Харлова, какъ только онъ немного „отдышался“.

— Сударыня! Наталья Николаевна! — началъ онъ напряженнымъ голосомъ — и опять поразила меня безпокойная бѣготня его бѣлковъ; — буду правду говорить: больше всѣхъ виноватъ я самъ.

— То-то вотъ; не хотѣлъ ты меня тогда послу-

шаться, — промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая передъ носомъ надушеннымъ платкомъ: очень уже разило отъ Харлова ... въ лѣсномъ болотѣ не такъ сильно пахнетъ.

— Охъ, не тѣмъ я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня, не хуже царя Навуходоносора. Думалъ я: не обидѣлъ меня Господь Богъ умомъ-разумомъ; коли я что рѣшилъ—стало, такъ и слѣдуетъ.... а тутъ страхъ смерти подошелъ.... Вовсе я сбился! Покажу, молъ, я на послѣдкахъ силу да власть свою! Награжу—а они должны по гробъ чувствовать.... (Харловъ вдругъ весь всколыхался....) Какъ пса паршиваго выгнали изъ дому вонъ! Вотъ ихъ какова благодарность!

— Но какимъ же образомъ, — опять начала-было матушка ...

— Казачка Максимку отъ меня взяли,—перебилъ ее Харловъ (глаза его продолжали бѣгать, обѣ руки онъ держалъ у подбородка — пальцы въ пальцы)—экипажъ отняли, мѣсячину урѣзали, жалованья выговореннаго не платили—кругомъ, какъ есть, окорнали—я все молчалъ, все терпѣлъ! И терпѣлъ я по причинѣ.... охъ! опять-таки гордости моей. Чтобы не говорили враги мои лютые: вотъ, молъ, старый дуракъ, теперь кается; да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали: локтя, молъ, своего не укусишь!—вотъ я и терпѣлъ.... Только сегодня прихожу я къ себѣ въ комнату — а ужъ она занята — и постельку мою въ чуланъ выкинули! Можешь-де и тамъ спать; тебя и такъ за милость терпятъ; намъ-де твоя комната нужна для хозяйства. И это мнѣ говоритъ — кто же?! Володька Слёткинъ, смердъ, паскуд....

Голосъ Харлова оборвался.

— Но дочери-то твои? Онѣ-то что́ же?—спросила матушка.

— А я все терпѣлъ,—продолжалъ Харловъ свое повѣствованіе;—горько, горько мнѣ было во́-какъ, и стыдно... Не глядѣлъ бы на свѣтъ Божій! Отъ того я къ вамъ, матушка, поѣхать не захотѣлъ — отъ этого отъ самаго отъ стыда, отъ страму! Вѣдь я, матушка моя, все перепробовалъ: и лаской, и угрозой, и усовѣщевалъ-то ихъ и что́ ужъ! кланялся.... вотъ такъ-то (Харловъ показалъ, какъ онъ кланялся). И все понапрасну! И все то я терпѣлъ! Съ началу-то, на первыхъ-то порахъ, не такія у меня мысли были: возьму, молъ, перебью, перешвыряю всѣхъ, чтобы и на сѣмена не осталось.... Будутъ знать! Ну, а потомъ—покорился! Крестъ, думаю, мнѣ посланъ; къ смерти, значитъ, приготовиться надо. И вдругъ сегодня, какъ пса! И кто же? Володька! А что́ вы о дочеряхъ спрашивать изволили, то развѣ въ нихъ есть какая своя воля? Володькины холопки! Да!

Матушка удивилась. — Про Анну я еще это понять могу; она—жена.... Но съ какой стати вторая-то твоя....

— Евлампія-то? Хуже Анны! Вся какъ есть, совсѣмъ въ Володькины руки отдалась. По той причинѣ она и вашему солдату-то отказала. По его, по Володькину, приказу. Аннѣ—видимое дѣло—слѣдовало бы обидѣться, да она и терпѣть сестры не можетъ—а покоряется! Околдовалъ, проклятый! Да ей же, Аннѣ, вишь, думать пріятно, что вотъ, молъ, ты, Евлампія, какая всегда была гордая, а теперь вонъ что́ изъ тебя стало!... О.... охъ, охъ! Боже мой, Боже!

Матушка съ безпокойствомъ посмотрѣла на меня. Я отошелъ немножко въ сторону, изъ предосторожности, какъ бы меня не выслали....

— Очень сожалѣю, Мартынъ Петровичъ,—начала

она, что мой бывшій воспитанникъ причинилъ тебѣ столько горя и такимъ нехорошимъ человѣкомъ оказался; но вѣдь и я въ немъ ошиблась.... Кто могъ это ожидать отъ него!

— Сударыня,—простоналъ Харловъ и ударилъ себя въ грудь.—Не могу я снести неблагодарность моихъ дочерей! Не могу, сударыня! Вѣдь я имъ все, все отдалъ! И къ тому же совѣсть меня замучила. Много... охъ! много передумалъ я, у пруда сидючи да рыбу удучи! „Хоть бы ты пользу кому въ жизни сдѣлалъ! размышлялъ я такъ-то: — бѣдныхъ награждалъ, крестьянъ на волю отпустилъ что-ли, за то, что вѣкъ ихъ заѣдалъ! Вѣдь ты передъ Богомъ за нихъ отвѣтчикъ! Вотъ когда тебѣ отливаются ихъ слезки!“ И какая теперь ихъ судьба: была яма глубокая и при мнѣ — что грѣха таить — а теперь и дна не видать! Эти всѣ грѣхи я на душу взялъ, совѣстью для дѣтей пожертвовалъ, а мнѣ за это шишъ! Изъ дому меня пинькомъ, какъ пса!

— Полно объ этомъ думать, Мартынъ Петровичъ,— замѣтила матушка.

— И какъ онъ мнѣ сказалъ, вашъ-то Володька,— съ новой силой подхватилъ Харловъ,—какъ сказалъ онъ мнѣ, что мнѣ въ моей горенкѣ больше не жить, а я въ самой той горенкѣ каждое бревнышко собственными руками клалъ — какъ сказалъ онъ мнѣ это — и Богъ знаетъ, что со мной приключилось! Въ головушкѣ помутилось, по сердцу какъ ножомъ... Ну! либо его зарѣзать, либо изъ дому вонъ!.. Вотъ я и побѣжалъ къ вамъ, благодѣтельница моя, Наталья Николаевна... и куды-жъ мнѣ было голову приклонить? А тутъ дождь, слякоть... Я, можетъ, разъ двадцать упалъ! И теперь... въ этакомъ безобразіи...

Харловъ окинулъ себя взглядомъ и завозился на стулѣ, словно встать собирался.

— Полно тебѣ, полно, Мартынъ Петровичъ,—поспѣшно проговорила матушка:—какая въ томъ бѣда? Что ты полъ-то замаралъ? Эка важность! А я вотъ какое хочу тебѣ предложеніе сдѣлать. Слушай! Отведутъ тебя теперь въ особую комнату, постель дадутъ чистую—ты раздѣнься, умойся, да прилягъ и усни...

— Матушка Наталья Николаевна! Не уснуть мнѣ! — уныло промолвилъ Харловъ.—Въ мозгахъ-то словно молотами стучатъ! Вѣдь меня, какъ тварь непотребную...

— Лягъ, усни,—настойчиво повторила матушка.—А потомъ мы тебя чаемъ напоимъ — ну и потолкуемъ съ тобою. Не унывай, пріятель старинный! Если тебя изъ *твоего* дома выгнали, въ *моемъ* домѣ ты всегда найдешь себѣ пріютъ... Я вѣдь не забыла, что ты мнѣ жизнь спасъ.

— Благодѣтельница! — простоналъ Харловъ и закрылъ лицо руками.—Спасите *вы* меня теперь!

Это воззваніе тронуло мою матушку почти до слезъ.—Охотно готова тебѣ помочь, Мартынъ Петровичъ, всѣмъ, чѣмъ только могу; но ты долженъ обѣщать мнѣ, что будешь впередъ меня слушаться и всякія недобрыя мысли прочь отъ себя отгонишь.

Харловъ принялъ руки отъ лица. — Коли нужно,— промолвилъ онъ,—я вѣдь и простить могу!

Матушка одобрительно кивнула головой.—Очень мнѣ пріятно видѣть тебя въ такомъ истинно-христіанскомъ расположеніи духа, Мартынъ Петровичъ; но рѣчь объ этомъ впереди. Пока, приведи ты себя въ порядокъ — а главное, усни. Отведи ты Мартына Петровича въ зеленый кабинетъ покойнаго барина,—обратилась матушка къ дворецкому, — и что онъ только потребуетъ, чтобы сію минуту было! Платье его прикажи высушить и вычи-

стить — а бѣлье, какое понадобится, спроси у кастеляшки—слышишь?

— Слушаю, — отвѣчалъ дворецкій.

— А какъ онъ проснется, мѣрку съ него прикажи снять портному; да бороду надо будетъ сбрить. Не сейчасъ, а послѣ.

— Слушаю,—повторилъ дворецкій.—Мартынъ Петровичъ,—пожалуйте.—Харловъ поднялся, посмотрѣлъ на матушку, хотѣлъ-было подойти къ ней, но остановился, отвѣсилъ поясной поклонъ, перекрестился трижды на образъ и пошелъ за дворецкимъ. Вслѣдъ за нимъ и я выскользнулъ изъ комнаты.

XXIV.

Дворецкій привелъ Харлова въ зеленый кабинетъ и тотчасъ побѣжалъ за кастеляншей, такъ какъ бѣлья на постели не оказалось. Сувениръ, встрѣтившій насъ въ передней и вмѣстѣ съ нами вскочившій въ кабинетъ, немедленно принялся, съ кривляньемъ и хохотомъ, вертѣться около Харлова, который, слегка разставивъ руки и ноги, въ раздумьѣ остановился посреди комнаты. Вода все еще продолжала течь съ него.

— Вшедъ! Вшедъ Харлусъ! — пищалъ Сувениръ, перегнувшись на-двое и держа себя за бока.—Великій основатель знаменитаго рода Харловыхъ, воззри на своего потомка! Каковъ онъ есть? Можешь его признать? Ха, ха, ха! Ваше сіятельство, пожалуйте ручку! отчего это на васъ черныя перчатки?

Я хотѣлъ-было удержать, пристыдить Сувенира... но не тутъ-то было!

— Приживальщикомъ меня величалъ, дармоѣдомъ!

„Нѣтъ, молъ, у тебя своего крова!“ А теперь, небось, такимъ же приживальщикомъ сталъ, какъ и азъ грѣшный! Что Мартынъ Харловъ, что Сувениръ проходимецъ—теперь все едино! Подачками тоже кормиться будетъ! Возьмутъ корку хлѣба завалящую, что собака нюхала, да прочь пошла... На, молъ, кушай! Ха-ха-ха!

Харловъ все стоялъ неподвижно, уткнувъ голову, разставивъ ноги и руки.

— Мартынъ Харловъ! столбовой дворянинъ! — продолжалъ пищать Сувениръ.—Важность-то какую на себя напустилъ, фу ты, ну ты! Не подходи, молъ, зашибу! А какъ имѣнье свое отъ большого ума сталъ отдавать да дѣлить—куды раскудахтался! „Благодарность!“—кричитъ, „благодарность!“ А меня-то за что обидѣлъ? Не наградилъ? Я, быть можетъ, лучше бы возчувствовалъ! И значитъ, правду я говорилъ, что посадятъ его голой спиной...

— Сувениръ! — закричалъ я; но Сувениръ не унимался. Харловъ все не трогался; казалось, онъ только теперь начиналъ чувствовать, до какой степени все на немъ было мокро, и ждалъ, когда это съ него все снимутъ? Но дворецкій не возвращался.

— А еще воинъ!—началъ опять Сувениръ.—Въ двѣнадцатомъ году отечество спасалъ! храбрость свою показывалъ! То-то вотъ и есть: съ мерзлыхъ мародеровъ портки стащить, это наше дѣло; а какъ дѣвка на насъ ногой притопнетъ, у насъ у самихъ душа въ портки...

— Сувениръ!—закричалъ я вторично.

Харловъ искоса посмотрѣлъ на Сувенира; онъ, до того мгновенья, словно и присутствія его не замѣчалъ, и только возгласъ мой возбудилъ его вниманіе.

— Смотри, братъ,—проворчалъ онъ глухо,—не допрыгайся до бѣды!

Сувениръ такъ и покатился со смѣху. — Охъ, какъ вы меня испугали, братецъ почтеннѣйшій! ужъ какъ вы страшны, право! Хоть бы волосики себѣ причесали, а то, сохрани Богъ, засохнутъ, не отмоешь ихъ потомъ; придется скосить косою.—Сувениръ вдругъ расходился.— Еще куражитесь! Голышъ, а куражится! Гдѣ вашъ кровъ теперь, вы лучше мнѣ скажите, вы все имъ хвастались? У меня, дескать, кровъ есть, а ты безкровный! Наслѣдственный, дескать, мой кровъ! (Далось же Сувениру это слово)!

— Господинъ Бычковъ, — промолвилъ я.—Что вы дѣлаете! опомнитесь!

Но онъ продолжалъ трещать, и все прыгалъ да шмыгалъ около самаго Харлова... А дворецкій съ кастеляншей все не шли!

Мнѣ жутко становилось. Я начиналъ замѣчать, что Харловъ, который въ теченіе разговора съ моей матушкой постепенно стихалъ, и даже подъ конецъ, повидимому, помирился съ своей участью, снова сталъ раздражаться: онъ задышалъ скорѣе, подъ ушами у него вдругъ словно припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забѣгали среди темной маски забрызганнаго лица...

— Сувениръ! Сувениръ! — воскликнулъ я. — Перестаньте, я маменькѣ скажу.

Но Сувениромъ словно бѣсъ овладѣлъ.

— Да, да, почтеннѣйшій!—затрещалъ онъ опять,— вотъ мы съ вами теперь въ какихъ субтильныхъ обстоятельствахъ обрѣтаемся! А дочки ваши, съ зятькомъ вашимъ, Владиміромъ Васильевичемъ, подъ вашимъ *кровомъ* надъ вами потѣшаются вдоволь! И хоть бы вы ихъ, по обѣщанію, прòкляли! И на это васъ не хватило! Да и куда вамъ съ Владиміромъ Васильевичемъ тягаться? Еще Володькой его называли! какой онъ для васъ Во-

лодька? Онъ—Владиміръ Васильевичъ, господинъ Слёткинъ, помѣщикъ, баринъ, а ты—кто такой?

Неистовый ревъ заглушилъ рѣчь Сувенира... Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись, лицо посинѣло, пѣна показалась на истресканныхъ губахъ, онъ задрожалъ отъ ярости. — Кровъ, — говоришь ты!— загремѣлъ онъ своимъ желѣзнымъ голосомъ,—проклятіе! говоришь ты... Нѣтъ! я ихъ не прокляну... Имъ это ни почемъ! А кровъ... кровъ я ихъ разорю, и не будетъ у нихъ крова, также какъ у меня! Узнаютъ они Мартына Харлова! Не пропала еще моя сила! Узнаютъ, какъ надо мной издѣваться!... Не будетъ у нихъ крова!

Я обомлѣлъ; я отроду не бывалъ свидѣтелемъ такого безмѣрнаго гнѣва. Не человѣкъ, дикій звѣрь метался предо мною! Я обомлѣлъ... а Сувениръ, тотъ отъ страха подъ столъ забился.

— Не будетъ! — закричалъ Харловъ въ послѣдній разъ, и, чуть не сбивъ съ ногъ входившихъ кастеляншу и дворецкаго, бросился вонъ изъ дому... Кубаремъ прокатился онъ по двору и исчезъ за воротами.

XXV.

Матушка страшно разсердилась, когда дворецкій пришелъ съ смущеннымъ видомъ доложить о новой и неожиданной отлучкѣ Мартына Петровича. Онъ не осмѣлился утаить причину этой отлучки; я принужденъ былъ подтвердить его слова.—Такъ это все ты! — закричала матушка на Сувенира, который забѣжалъ-было зайцемъ впередъ и даже къ ручкѣ подошелъ: — твой пакостный языкъ всему виною!—„Помилуйте, я чичасъ, чичасъ...“ залепеталъ, заикаясь и закидывая локти за спину, Су-

веніръ. — „Чичасъ... чичасъ“. —Знаю я твое: „чичасъ!“ — повторила матушка съ укоризной и выслала его вонъ. Потомъ она позвонила, велѣла позвать Квицинскаго и отдала ему приказъ: немедленно отправиться съ экипажемъ въ Еськово, во что бы то ни стало отыскать Мартына Петровича и привезти его.—Безъ него не являйтесь! — заключила она. Сумрачный полякъ молча наклонилъ голову и вышелъ.

Я вернулся къ себѣ въ комнату, снова подсѣлъ къ окну и, помнится, долго размышлялъ о томъ, что у меня на глазахъ совершилось. Я недоумѣвалъ; я никакъ не могъ понять, почему Харловъ, почти безъ ропота переносившій оскорбленія, нанесенныя ему домашними, не могъ совладать съ собою и не перенесъ насмѣшекъ и шпилекъ такого ничтожнаго существа, каковъ былъ Сувениръ. Я не зналъ еще тогда, какая нестерпимая горечь можетъ иной разъ заключаться въ пустомъ упрекѣ, даже когда онъ исходитъ изъ презрѣнныхъ устъ... Ненавистное имя Слеткина, произнесенное Сувениромъ, упало искрою въ порохъ; наболѣвшее мѣсто не выдержало этого послѣдняго укола.

Прошло около часа. Коляска наша въѣхала на дворъ; но въ ней сидѣлъ нашъ управляющій одинъ. А матушка ему сказала: „безъ *него* не являйтесь!“ Квицинскій торопливо выскочилъ изъ экипажа — и взбѣжалъ на крыльцо. Лицо его являло видъ разстроенный — что съ нимъ почти никогда не бывало. Я тотчасъ спустился внизъ и по его пятамъ пошелъ въ гостиную.

— Ну? привезли его?—спросила матушка.

— Не привезъ,—отвѣчалъ Квицинскій,—и не могъ привезти.

— Это почему? Вы его видѣли?

— Видѣлъ.

— Съ нимъ что̀ случилось? Ударъ?

— Никакъ нѣтъ; ничего не случилось.

— Почему же вы не привезли его?

— А онъ домъ свой разоряетъ.

— Какъ?

— Стоитъ на крышѣ новаго флигеля—и разоряетъ ее. Тесинъ, полагать надо, съ сорокъ или больше уже слетѣло; рѣшетинъ тоже штукъ пять. („Крова у нихъ не будетъ!“ вспомнились мнѣ слова Харлова).

Матушка уставилась на Квицинскаго.—Одинъ... на крышѣ стоитъ и крышу разоряетъ?

— Точно такъ-съ. Ходитъ по настилкѣ чердака и направо да налѣво ломаетъ. Сила у него, вы изволите знать, сверхчеловѣческая! Ну и крыша, надо правду сказать, лядащая; выведена въ разбѣжку, шалёвками забрана, гвозди—однотесъ *).

Матушка посмотрѣла на меня, какъ бы желая удостовѣриться, не ослышалась-ли она какъ-нибудь.—Шалёвками въ разбѣжку,—повторила она, явно не понимая значенія ни одного изъ этихъ словъ...

— Ну такъ что же вы?—проговорила она наконецъ.

— Пріѣхалъ за инструкціями. Безъ людей ничего не подѣлаешь. Тамошніе крестьяне всѣ со страха попрятались.

— А дочери-то его—что́ же?

— И дочери — ничего. Бѣгаютъ, зря... голосятъ... Что толку?

— И Слёткинъ тамъ?

— Тамъ тоже. Пуще всѣхъ вопитъ — но подѣлать ничего не можетъ.

*) Крыша выводится „въ разбивку“ или „въ разбѣжку“, когда между каждыми двумя тесинами оставляется пустое пространство, закрываемое сверху другой тесиной; такая крыша дешевле, но менѣе прочна. Шалёвкой называется самая тонкая доска въ 1/2 вершка; обыкновенная тесина—въ 3/4 вершка.

— И Мартынъ Петровичъ на крышѣ стоитъ?

— На крышѣ... то-есть на чердакѣ — и крышу разоряетъ.

— Да, да,—проговорила матушка—шалёвками...

Казусъ, очевидно, предстоялъ необыкновенный.

Что́ было предпринять? Послать въ городъ за исправникомъ, собрать крестьянъ? Матушка совсѣмъ потерялась.

Пріѣхавшій къ обѣду Житковъ тоже потерялся. Правда, онъ упомянулъ опять о воинской командѣ, а впрочемъ никакого совѣта не преподалъ и только глядѣлъ подчиненно и преданно. Квицинскій, видя, что никакихъ инструкцій ему не добиться, доложилъ—со свойственной ему презрительной почтительностью — моей матушкѣ, что если она разрѣшитъ ему взять нѣсколько конюховъ, садовниковъ и другихъ дворовыхъ, то онъ попытается...

— Да, да,—перебила его матушка,—попытайтесь, любезный Викентій Осипычъ! Только поскорѣе, пожалуйста, а я все беру на свою отвѣтственность!

Квицинскій холодно улыбнулся. — Одно напередъ позвольте объяснить вамъ, сударыня: за результатъ невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая и отчаянность тоже; очень ужъ онъ оскорбленнымъ себя почитаетъ!

— Да, да,—подхватила матушка;—и всему виною этотъ гадкій Сувениръ! Никогда я этого ему не прощу. Ступайте, возьмите людей, поѣзжайте, Викентій Осипычъ!

— Вы, господинъ управляющій, веревокъ побольше захватите—да пожарныхъ крючьевъ,—промолвилъ басомъ Житковъ,—и коли сѣть имѣется—то и ее тоже взять недурно. У насъ вотъ такъ-то однажды въ полку...

— Не извольте учить меня, милостивый государь,—

перебилъ съ досадой Квицинскій;—я и безъ васъ знаю, что̀ нужно.

Житковъ обидѣлся и объявилъ, что такъ какъ онъ полагалъ, что и его позовутъ...

— Нѣтъ, нѣтъ! — вмѣшалась матушка. — Ты ужъ лучше оставайся... Пускай Викентій Осипычъ одинъ дѣйствуетъ... Ступайте, Викентій Осипычъ!

Житковъ еще пуще обидѣлся, а Квицинскій поклонился и вышелъ.

Я бросился въ конюшню, самъ наскоро осѣдлалъ свою верховую лошадку и пустился вскачь по дорогѣ къ Еськову.

XXVI.

Дождикъ пересталъ, но вѣтеръ дулъ съ удвоенной силой — прямо мнѣ на встрѣчу. На полъ-дорогѣ сѣдло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла; я слѣзъ и принялся зубами натягивать ремни... Вдругъ слышу: кто-то зоветъ меня по имени... Сувениръ бѣжалъ ко мнѣ по зеленямъ.—Что, батенька,—кричалъ онъ мнѣ еще издали,—любопытство одолѣло? Да и нельзя... Вотъ и я туда же прямикомъ, по Харловскому слѣду... Вѣдь этакой штуки, умрешь не увидишь!

— На дѣло рукъ своихъ хотите полюбоваться,— промолвилъ я съ негодованіемъ, вскочилъ на лошадь и снова поднялъ ее въ галопъ; но неугомонный Сувениръ не отставалъ отъ меня и даже на бѣгу хохоталъ и кривлялся. Вотъ, наконецъ, и Еськово — вотъ и плотина, а тамъ длинный плетень и ракитникъ усадьбы... Я подъѣхалъ къ воротамъ, слѣзъ, привязалъ лошадь и остановился въ изумленіи.

Отъ передней трети крыши на новомъ флигелькѣ, отъ мезонина, оставался одинъ остовъ; дрань и тесины лежали безпорядочными грудами съ обѣихъ сторонъ флигеля на землѣ. Положимъ, крыша была, по выраженію Квицинскаго, лядащая; но все же дѣло было невѣроятное! По настилкѣ чердака, вздымая пыль и соръ, неуклюже-проворно двигалась изчерна-сѣрая масса и то раскачивала оставшуюся, изъ кирпича сложенную, трубу (другая уже повалилась), то отдирала тесину и бросала ее къ низу, то хваталась за самыя стропила. То былъ Харловъ. Совершеннымъ медвѣдемъ показался онъ мнѣ и тутъ: и голова, и спина, и плечи—медвѣжьи, и ставилъ онъ ноги широко, не разгибая ступни — тоже по медвѣжьему. Рѣзкій вѣтеръ обдувалъ его со всѣхъ сторонъ, вздымая его склоченные волосы; страшно было видѣть, какъ мѣстами краснѣло его голое тѣло сквозь прорѣхи разорваннаго платья; страшно было слышать его дикое, хриплое бормотаніе. На дворѣ было людно; бабы, мальчишки, дворовыя дѣвки жались вдоль забора; нѣсколько крестьянъ сбилось поодаль въ отдѣльную кучу. Знакомый мнѣ старикъ-попъ стоялъ безъ шляпы на крыльцѣ другого флигеля и, схвативъ мѣдный крестъ обѣими руками, время отъ времени, молча и безнадежно поднималъ и какъ бы показывалъ его Харлову. Рядомъ съ попомъ стояла Евлампія и, прислонившись спиною къ стѣнѣ, неподвижно смотрѣла на отца; Анна — то высовывала голову изъ окошка, то исчезала, то выскакивала на дворъ, то возвращалась въ домъ; Слёткинъ — весь блѣдный, желтый, въ старомъ шлафрокѣ, въ ермолкѣ, съ одноствольнымъ ружьемъ въ рукахъ, перебѣгалъ короткими шагами съ мѣста на мѣсто. Онъ совсѣмъ, какъ говорится, ожидовѣлъ; задыхался, грозился, трясся, цѣлился въ Харлова, потомъ закидывалъ ружье за плечо,—

цѣлился опять, кричалъ, плакалъ... Увидавъ меня съ Сувениромъ, онъ такъ и ринулся къ намъ.

— Посмотрите, посмотрите, что̀ тутъ происходитъ!— завизжалъ онъ,—посмотрите! Онъ съ ума сошелъ, взбѣленился... и вотъ что дѣлаетъ! Я ужъ за полиціей послалъ—да никто не ѣдетъ! Никто не ѣдетъ! Вѣдь если я въ него выстрѣлю, съ меня законъ взыскать не можетъ, потому что всякій человѣкъ въ правѣ защищать свою собственность! А я выстрѣлю!.. Ей-Богу, выстрѣлю!

Онъ подскочилъ къ дому.

— Мартынъ Петровичъ, берегитесь! Если вы не сойдете—я выстрѣлю!

— Стрѣляй!—раздался съ крыши хриплый голосъ.— Стрѣляй! А вотъ тебѣ пока гостинецъ!

Длинная доска полетѣла сверху—и, перевернувшись раза два на воздухѣ, брякнулась на земь у самыхъ ногъ Слёткина. Тотъ такъ и взвился, а Харловъ захохоталъ.

— Господи Іисусе! — пролепеталъ кто-то за моей спиною. Я оглянулся: Сувениръ. „А! подумалъ я; перестalъ теперь смѣяться!“

Слёткинъ схватилъ близъ стоявшаго мужика за шиворотъ.

— Да полѣзай, полѣзай же, полѣзайте, черти, вопилъ онъ тряся его изо всей силы—спасайте мое имущество!

Мужикъ ступилъ раза два, закинулъ голову, помахалъ руками, закричалъ: эй! вы! господинъ!—потолокся на мѣстѣ и верть назадъ.

— Лѣстницу! лѣстницу несите!—обратился Слёткинъ къ прочимъ крестьянамъ.

— А гдѣ ее взять?—послышалось ему въ отвѣтъ.

— И хоть бы лѣстница была, — промолвилъ не

спѣша одинъ голосъ—кому-жъ охота лѣзть? Нашли дураковъ! Онъ те шею свернетъ—мигомъ!

— С'часъ убіетъ,—проговорилъ одинъ молодой бѣлокурый парень съ придурковатымъ лицомъ.

— А то нешто нѣтъ?—подхватили остальные. Мнѣ показалось, что не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказаніе своего новаго помѣщика. Чуть-ли не одобряли они Харлова—хоть и удивлялъ онъ ихъ.

— Ахъ, вы разбойники!—застоналъ Слёткинъ—вотъ я васъ всѣхъ...

Но тутъ съ тяжкимъ грохотомъ бухнула послѣдняя труба и среди мгновенно взвившагося облака желтой пыли, Харловъ, испустивъ пронзительный крикъ и высоко поднявъ окровавленныя руки, повернулся къ намъ лицомъ. Слёткинъ опять въ него прицѣлился.

Евлампія отдернула его за локоть.

— Не мѣшай!—свирѣпо вскинулся онъ на нее.

— А ты - не смѣй!—промолвила она—и синіе ея глаза грозно сверкнули изъ-подъ надвинутыхъ бровей. Отецъ свой домъ разоряетъ. Его добро.

— Врешь: наше!

— Ты говоришь: наше;—а я говорю: его.

Слёткинъ зашипѣлъ отъ злобы; Евлампія такъ и уперлась ему въ лицо глазами.

— А, здорово! здорово, дочка любезная!—загремѣлъ сверху Харловъ. Здорово, Евлампія Мартыновна! Какъ живешь-можешь со своимъ пріятелемъ?—Хорошо-ли цѣлуетесь, милуетесь?

— Отецъ!—послышался звучный голосъ Евлампіи.

— Что, дочка? - отвѣчалъ Харловъ и пододвинулся къ самому краю стѣны. На лицѣ его, сколько я могъ разобрать, появилась странная усмѣшка,—свѣтлая, весе-

лая, — и именно потому особенно-страшная, недобрая усмѣшка... Много лѣтъ спустя я видѣлъ такую же точно усмѣшку на лицѣ одного къ смерти приговореннаго.

— Перестань, отецъ; сойди (Евлампія не говорила ему: „батюшка“). Мы виноваты; все тебѣ возвратимъ. Сойди.

— А ты что за насъ распоряжаешься? — вмѣшался Слёткинъ. Евлампія только пуще брови нахмурила.

— Я свою часть тебѣ возвращу — все отдамъ. Перестань, сойди, отецъ! Прости насъ; прости меня.

Харловъ все продолжалъ усмѣхаться. — Поздно, голубушка, — заговорилъ онъ, и каждое его слово звенѣло, какъ мѣдь. — Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Подъ гору покатилось—теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь! Я — пропащій человѣкъ! Ты посмотри лучше на своего Володьку: вишь какой красавчикъ выискался! Да на свою эхиденную сестру посмотри: вонъ ея лисій носъ изъ окошка выставляется, вонъ она муженька-то подускиваетъ! Нѣтъ, сударики! Захотѣли вы меня крова лишить — такъ не оставлю же я и вамъ бревна на бревнѣ! Своими руками клалъ, своими же руками разорю — какъ есть одними руками! Видите, и топора не взялъ!

Онъ фукнулъ себѣ на обѣ ладони и опять ухватился за стропила.

— Полно, отецъ, — говорила межъ тѣмъ Евлампія и голосъ ея сталъ какъ-то чудно ласковъ — не поминай прошлаго. Ну повѣрь же мнѣ; ты всегда мнѣ вѣрилъ. Ну сойди; приди ко мнѣ въ свѣтелку, на мою постель мягкую. Я обсушу тебя да согрѣю; раны твои перевяжу, вишь ты руки себѣ ободралъ. Будешь ты жить у меня какъ у Христа за пазухой, кушать сладко — а спать еще

слаще того. Ну, были виноваты! ну зазнались, согрѣшили; ну прости!

Харловъ покачалъ головою.—Расписывай! Повѣрю я вамъ, какъ бы не такъ! Убили вы во мнѣ вѣру-то! Все убили! Былъ я орломъ—и червякомъ для васъ сдѣлался... а вы—и червяка давить? Полно! Я тебя любилъ, сама знаешь—а только теперь ты мнѣ не дочь—и я тебѣ не отецъ... Я пропащій человѣкъ! Не мѣшай! А ты, стрѣляй же, трусъ, горе-богатырь! — гаркнулъ вдругъ Харловъ на Слёткина.—Что все только цѣлишься? Али законъ вспомнилъ: коли принявшій даръ учинитъ покушеніе на жизнь дателя, заговорилъ Харловъ съ разстановкой--то датель властенъ все назадъ потребовать? Ха, ха, не бойся, законникъ! Я не потребую—я самъ все покончу... Валяй!

— Отецъ!—въ послѣдній разъ взмолилась Евлампія.

— Молчи!

— Мартынъ Петровичъ! братецъ, простите великодушно!—пролепеталъ Сувениръ.

— Отецъ, голубчикъ!

— Молчи, сука!—крикнулъ Харловъ. На Сувенира онъ и не посмотрѣлъ — и только сплюнулъ въ его сторону.

XXVII.

Въ это мгновенье Квицинскій со всей своей свитой—на трехъ телѣгахъ—появился у воротъ. Усталыя лошади фыркали, люди одинъ за однимъ соскакивали въ грязь.

— Эге!—закричалъ во все горло Харловъ.—Армія... вотъ она, армія! Цѣлую армію противъ меня выставляютъ. Хорошо же! Только предваряю, кто ко мнѣ сюда

на крышу пожалуетъ — и того я вверхъ тормашками внизъ спущу! Я хозяинъ строгій, не въ пору гостей не люблю! Такъ-то!

Онъ уцѣпился обѣими руками за переднюю пару стропилъ, за такъ-называемыя „ноги“ фронтона — и началъ усиленно ихъ раскачивать. Свѣсившись съ краю настилки, онъ какъ бы тащилъ ихъ за собою, мѣрно напѣвая по бурлацкому: „Еще разикъ! еще разъ! ухъ!“

Слёткинъ подбѣжалъ къ Квицинскому и началъ-было жаловаться и хныкать... Тотъ попросилъ его „не мѣшать“, и приступилъ къ исполненію задуманнаго имъ плана. Самъ онъ сталъ впереди дома и началъ, въ видѣ диверсіи, объяснять Харлову, что не дворянское онъ затѣялъ дѣло...

— Еще разикъ! еще разъ! — напѣвалъ Харловъ — ...Что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того отъ него ожидала...

— Еще разикъ! еще разъ! ухъ! — напѣвалъ Харловъ — ...а между тѣмъ Квицинскій отрядилъ четырехъ самыхъ здоровыхъ и смѣлыхъ конюховъ на противоположную сторону дома, съ тѣмъ, чтобы они сзади взобрались на крышу. Отъ Харлова однако не ускользнулъ планъ аттаки; онъ вдругъ бросилъ стропила и проворно побѣжалъ къ задней части мезонина. Видъ его до того былъ страшенъ, что два конюха, которые успѣли уже взобраться на чердакъ, мигомъ спустились обратно на землю по водосточной трубѣ, къ немалому удовольствію и даже хохоту дворовыхъ мальчишекъ. Харловъ потрясъ имъ вслѣдъ кулакомъ и, вернувшись къ передней части дома, опять ухватился за стропила и сталъ ихъ опять раскачивать, опять напѣвая по-бурлацки.

Онъ вдругъ остановился вздрѣлся...

— Максимушка, другъ! пріятель! — воскликнулъ онъ;—тебя-ли я вижу?

Я оглянулся... Отъ толпы крестьянъ дѣйствительно отдѣлился казачекъ Максимка, и, ухмыляясь и скаля зубы, вышелъ впередъ. Его хозяинъ, шорникъ, вѣроятно отпустилъ его домой на побывку.

— Полѣзай ко мнѣ, Максимушка, слуга мой вѣрный,—продолжалъ Харловъ;—станемъ вмѣстѣ отбиваться отъ лихихъ татарскихъ людей, отъ воровъ литовскихъ!

Максимка, все продолжая ухмыляться, немедленно полѣзъ на крышу... Но его схватили и оттащили—Богъ знаетъ почему—развѣ для примѣра другимъ; помощи большой онъ Мартыну Петровичу не оказалъ бы.

— Ну, хорошо же! Добро же!—промолвилъ Харловъ угрожающимъ голосомъ и снова взялся за стропила.

— Викентій Осиповичъ! позвольте я выстрѣлю,—обратился Слёткинъ къ Квицинскому; — я вѣдь больше для страха, ружье у меня заряжено бекасинникомъ.—Но не успѣлъ еще отвѣтить ему Квицинскій, какъ передняя пара стропилъ, яростно раскаченная желѣзными руками Харлова, накренилась, затрещала и рухнула на дворъ—и вмѣстѣ съ нею, не будучи въ силахъ удержаться, рухнулъ самъ Харловъ и грузно треснулся о-земь. Всѣ вздрогнули, ахнули... Харловъ лежалъ неподвижно на груди, а въ спину ему уперся продольный верхній брусъ крыши, конекъ, который послѣдовалъ за упавшимъ фронтономъ.

XXVIII.

Къ Харлову подскочили, свалили долой съ него брусъ повернули его навзничь; лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь, онъ не дышалъ. „Духъ отшибло“—

пробормотали подошедшіе мужики. Побѣжали за водой къ колодцу, принесли цѣлое ведро, окатили Харлову голову; грязь и пыль сошли съ лица, но безжизненный видъ оставался тотъ же. Притащили скамейку, поставили ее у самаго флигеля и, съ трудомъ приподнявши громадное тѣло Мартына Петровича, посадили его, прислонивъ голову къ стѣнѣ. Казачекъ Максимка приблизился, сталъ на одно колѣно и, далеко отставивъ другую ногу, какъ-то театрально поддерживалъ руку бывшаго своего барина. Евлампія, блѣдная какъ сама смерть, стала прямо передъ отцомъ, неподвижно устремивъ на него свои огромные глаза. Анна съ Слёткинымъ не подходили близко. Всѣ молчали, всѣ ждали чего-то. Наконецъ, послышались прерывистые, хлопающіе звуки въ горлѣ Харлова—точно онъ захлебывался... Потомъ онъ слабо повелъ одной—правой рукой (Максимка поддерживалъ лѣвую), раскрылъ одинъ—правый глазъ и, медленно проведя около себя взоромъ, словно какимъ-то страшнымъ пьянствомъ пьяный, охнулъ—произнесъ, картавя:—рас...шибся...—и, какъ бы подумавъ немного, прибавилъ:—вотъ онъ, воро...ной жере...бенокъ!—Кровь вдругъ густо хлынула у него изо рта—все тѣло затрепетало.

„Конецъ!“ подумалъ я... Но Харловъ открылъ еще—все тотъ же правый глазъ (лѣвая вѣка не шевелилась, какъ у мертвеца)—и, вперивъ его на Евлампію, произнесъ едва слышно:—Ну доч...ка... Тебя я не про...—Квицинскій рѣзкимъ движеніемъ руки подозвалъ попа, который все еще стоялъ на крыльцѣ флигеля... Старикъ приблизился, путаясь слабыми колѣнями въ тѣсной рясѣ. Но вдругъ ноги Харлова какъ-то безобразно повело, и животъ тоже; по лицу, снизу вверхъ, прошла неровная судорога—точно также исказилось и задрожало лицо Евлампіи. Максимка началъ креститься... Мнѣ стало

жутко, я побѣжалъ къ воротамъ и, не оглядываясь, приникъ къ нимъ грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудѣло по всѣмъ устамъ сзади меня—и я понялъ, что Мартына Петровича не стало.

Ему брусомъ затылокъ проломило, и грудь онъ себѣ раздробилъ, какъ оказалось при вскрытіи.

XXIX.

Что́ онъ хотѣлъ сказать ей, умирая? спрашивалъ я самого себя, возвращаясь домой на своемъ клепперѣ: „Я тебя не про...клинаю? или не про...щаю?“ Дождикъ опять полилъ, но я ѣхалъ шагомъ. Мнѣ хотѣлось подольше остаться одному, хотѣлось безвозбранно предаться моимъ размышленіямъ. Сувениръ отправился на одной изъ телѣгъ, прибывшихъ съ Квицинскимъ. Какъ я ни былъ молодъ и легкомысленъ въ то время, но внезапная, общая (не въ однихъ частностяхъ) перемѣна, постоянно вызываемая во всѣхъ сердцахъ неожиданнымъ или ожиданнымъ (все равно!) появленіемъ смерти, ея торжественность, важность и правдивость—не могли не поразить меня. Я и былъ пораженъ... но со всѣмъ тѣмъ мой смущенный, дѣтскій взоръ замѣтилъ тотчасъ многое: онъ замѣтилъ, какъ Слёткинъ, проворно и робко, словно краденую вещь, швырнулъ въ сторону ружье, какъ онъ и жена его оба мгновенно стали предметомъ хотя безмолвнаго, но общаго отчужденія, какъ сдѣлалось пусто вокругъ нихъ... На Евлампію, хотя вина ея была, вѣроятно, не меньше сестриной, это отчужденіе не распространялось. Она даже нѣкоторое сожалѣніе къ себѣ возбудила, когда повалилась въ ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата—это все-таки чувствовалось всѣми.—Обидѣли

старика, — промолвилъ одинъ сѣдоватый, головастый крестьянинъ, опираясь, какъ нѣкій древній судья, обѣими руками и бородою на длинную палку:—на вашей душѣ грѣхъ! Обидѣли!—Это слово: „обидѣли!“ тотчасъ было принято всѣми, какъ безповоротный приговоръ. Правосудіе народное сказалось, я понялъ это немедленно. Я замѣтилъ также, что на первыхъ порахъ Слёткинъ не *смѣлъ* распоряжаться. Безъ него подняли и понесли тѣло въ домъ; не спросясь его, священникъ отправился за нужными вещами въ церковь, а староста побѣжалъ въ деревню справлять подводу въ городъ. Сама Анна Мартыновна не рѣшилась обычнымъ начальническимъ тономъ приказать поставить самоваръ, „чтобъ теплая вода была—обмыть покойника“. Ея приказаніе походило на просьбу—и отвѣчали ей грубо...

Меня же все занималъ вопросъ: что̀ онъ собственно хотѣлъ сказать своей дочери? Простить ли онъ ее хотѣлъ, или проклясть? Я рѣшилъ наконецъ, что—простить.

Дня черезъ три происходили похороны Мартына Петровича, на счетъ матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалѣть издержекъ. Сама она не поѣхала въ церковь—потому что не хотѣла, какъ она выражалась, видѣть тѣхъ двухъ мерзавокъ и гадкаго того жиденка; но послала Квицинскаго, меня и Житкова, котораго, впрочемъ, съ того времени иначе уже не величала, какъ бабой! Сувенира она на глаза къ себѣ не пускала и долго потомъ еще гнѣвалась на него, называя его убійцей своего друга. Опала эта была ему весьма чувствительна: онъ постоянно расхаживалъ на цыпочкахъ по комнатѣ, сосѣдней съ той, гдѣ находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхоліи, вздрагивалъ и шепталъ: чичасъ!

Въ церкви и во время процессіи, Слёткинъ пока-

зался мнѣ снова попавшимъ „въ свою тарелку“. Онъ распоряжался и суетился по-прежнему и жадно наблюдалъ за тѣмъ, чтобы не тратилось лишней копѣйки, хотя дѣло не касалось собственно его кармана. Максимка въ новомъ, тоже моей матушкой пожалованномъ казакинѣ, выводилъ на клиросѣ такія теноровыя ноты, что въ искренности его преданности покойнику, конечно, уже никто сомнѣваться не могъ! Обѣ сестры были, какъ слѣдуетъ, въ траурныхъ платьяхъ—но казались болѣе смущенными, чѣмъ огорченными, особенно Евлампія. Анна приняла на себя смиренный и постный видъ, впрочемъ не силилась плакать, и все только проводила своей красивой, сухой рукой по волосамъ и щекѣ. Евлампія все задумывалась. То общее, безповоротное отчужденіе, осужденіе, какое я замѣтилъ въ день смерти Харлова, чудилось мнѣ и теперь на всѣхъ лицахъ бывшихъ въ церкви людей, во всѣхъ ихъ движеніяхъ, въ ихъ взглядахъ—но еще степеннѣе и какъ бы безучастнѣе. Казалось, всѣ эти люди знали, что грѣхъ, въ который впало Харловское семейство, тотъ великій грѣхъ—поступилъ теперь въ вѣдѣніе единаго праведнаго Судіи, и что, слѣдовательно, имъ уже не для чего было безпокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, котораго при жизни особенно не любили, даже боялись. Очень уже круто наступила смерть.

— И хоть бы испивалъ, братецъ ты мой,—говорилъ на паперти одинъ мужикъ другому.

— И не пимши да захмѣлѣешь,—отвѣчалъ тотъ. — Каковъ случай выдетъ.

— Обидѣли,— повторилъ первый мужикъ рѣшающее слово.

— Обидѣли,—промолвили за нимъ другіе.

— А вѣдь покойный самъ васъ притѣснялъ? - спро-

силъ я одного мужика, въ которомъ я призналъ Харловскаго крестьянина.

— Баринъ былъ, извѣстно—отвѣчалъ мужикъ;—а все-таки... обидѣли его!

— Обидѣли...—опять послышалось въ толпѣ.

У могилы Евлампія стояла тоже словно потерянная. Раздумье ее разбирало... тяжкое раздумье. Я замѣтилъ, что съ Слёткинымъ, который нѣсколько разъ съ ней заговаривалъ, она обращалась какъ бывало съ Житковымъ—и еще хуже.

Нѣсколько дней спустя, въ нашемъ околоткѣ распространился слухъ, что Евлампія Мартыновна Харлова навсегда ушла изъ родительскаго дома, предоставивъ сестрѣ и свояку все доставшееся ей имѣніе—и взявши только нѣсколько сотъ рублей...—Откупилась видно Анната!—замѣтила моя матушка;—только у насъ съ тобою—прибавила она, обратившись къ Житкову, съ которымъ играла въ пикетъ—онъ замѣнилъ ей Сувенира: — руки неумѣлыя!—Житковъ уныло глянулъ на свои мощныя длани... „Онѣ-то, неумѣлыя!“ казалось, думалось ему...

Скоро потомъ мы съ матушкой переѣхали на жительство въ Москву—и много минуло лѣтъ прежде, чѣмъ мнѣ пришлось увидѣть обѣихъ дочерей Мартына Петровича.

XXX.

Но я увидалъ ихъ. Съ Анной Мартыновной я встрѣтился самымъ обыкновеннымъ образомъ. Посѣтивъ, послѣ кончины матушки, нашу деревню, въ которую я не заѣзжалъ больше пятнадцати лѣтъ, я получилъ отъ посредника приглашеніе—(тогда по всей Россіи, съ незабытой доселѣ медленностью, происходило размежеваніе через-

полосицы)—приглашеніе прибыть для совѣщанія, съ прочими владѣльцами нашей дачи, въ имѣніе помѣщицы вдовы Анны Слёткиной. Извѣстіе о несуществованіи болѣе на семъ свѣтѣ матушкина „жиденка“ съ черносливообразными глазами, нисколько, признаюсь, меня не опечалило; но мнѣ было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у насъ за отличнѣйшую хозяйку. И точно: ея имѣніе и усадьба, и самый домъ—(я невольно взглянулъ на крышу, она была желѣзная)—все оказалось въ превосходномъ порядкѣ, все было аккуратно, чисто, прибрано, гдѣ нужно—выкрашено, хоть бы у нѣмки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарѣла; но та особенная, сухая и какъ бы злая прелесть, которая нѣкогда такъ меня возбуждала—не совсѣмъ ее покинула. Одѣта она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла насъ не радушно—это слово къ ней не шло—но вѣжливо, и, увидавъ меня, свидѣтеля того страшнаго происшествія, даже бровью не повела. Ни о моей матушкѣ, ни о своемъ отцѣ, ни о сестрѣ, ни о мужѣ она даже не заикнулась, точно воды въ ротъ набрала.

Были у ней двѣ дочери, обѣ прехорошенькія, стройненькія, съ милыми личиками, съ веселымъ и ласковымъ выраженіемъ въ черныхъ глазахъ; былъ и сынъ, немножко смахивавшій на отца, но тоже мальчикъ хоть куда! Во время преній между владѣльцами, Анна Мартыновна держалась спокойно, съ достоинствомъ, не выказывая ни особеннаго упорства, ни особеннаго корыстолюбія. Но никто вѣрнѣе ея не понималъ своихъ выгодъ и не умѣлъ убѣдительнѣе выставлять и защищать свои права; всѣ „подходящіе“ законы, даже министерскіе циркуляры были ей хорошо извѣстны; говорила она немного и тихимъ голосомъ, но каждое слово попадало въ цѣль. Кончилось тѣмъ, что мы на всѣ ея требованія изъявили со-

гласіе и такихъ понадѣлали уступокъ, что оставалось только удивляться. На возвратномъ пути иные господа помѣщики даже самихъ себя выругали; всѣ кряхтѣли и покачивали головами.

— Экая баба умница!—говорилъ одинъ.

— Продувная шельма! — вмѣшался другой, менѣе деликатный владѣлецъ—мягко стелетъ, да жестко спать!

— Да и скряга же! — прибавилъ третій; — рюмка водки и кусочекъ икры на брата—это что же такое?

— Чего отъ нея ждать?—брякнулъ вдругъ одинъ, до того безмолвный помѣщикъ;—кому же неизвѣстно, что она мужа своего отравила?

Къ удивленію моему, никто не почелъ нужнымъ опровергнуть такое ужасное, навѣрное ни на чемъ не основанное обвиненіе! Это тѣмъ болѣе меня удивило, что, несмотря на приведенныя мною бранчивыя выраженія, уваженіе къ Аннѣ Мартыновнѣ чувствовали всѣ, не исключая неделикатнаго владѣльца. Посредникъ, тотъ даже въ паѳосъ впалъ.

— Возведи ее на тронъ,—воскликнулъ онъ—та же Семирамида или Екатерина Вторая! Повиновеніе крестьянъ—образцовое... Воспитаніе дѣтей—образцовое! Голова! Мозги!

Семирамиду и Екатерину въ сторону — но не было сомнѣнія въ томъ, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольствомъ внутреннимъ и внѣшнимъ, пріятной тишиной душевнаго и тѣлеснаго здоровья, такъ и вѣяло отъ нея самой, отъ ея семьи, отъ всего ея быта. Насколько она заслуживала это счастье... это другой вопросъ. Впрочемъ, подобные вопросы ставятся только въ молодости. Все на свѣтѣ, и хорошее, и дурное—дается человѣку не по его заслугамъ, а вслѣдствіе какихъ-то еще неизвѣстныхъ, но логическихъ законовъ,

на которые я даже указать не берусь, хоть иногда мнѣ кажется, что я смутно чувствую ихъ.

XXXI.

Я освѣдомился у посредника объ Евлампіи Мартыновнѣ—и узналъ, что она, какъ ушла изъ дому, такъ и пропала безъ вѣсти—и, „вѣроятно, теперь уже давно воспарила въ горнія“.

Такъ выразился нашъ посредникъ... но я убѣжденъ, что я *видѣлъ* Евлампію, что я встрѣтился съ нею. Именно вотъ какъ.

Года четыре послѣ моего свиданія съ Анной Мартыновной, я поселился на лѣто въ Муринѣ, небольшой деревушкѣ около Петербурга, хорошо извѣстной дачникамъ средней руки. Охота около Мурина была въ то время недурна—и я ходилъ съ ружьемъ чуть не каждый день. Былъ у меня товарищъ, нѣкто Викуловъ, изъ мѣщанъ—очень неглупый и добрый малый—но какъ онъ самъ про себя выражался, совершенно „потеряннаго“ поведенія. Гдѣ только не былъ этотъ человѣкъ, и чѣмъ онъ не былъ! Ничего-то его удивить не могло, все-то онъ зналъ—но любилъ онъ только охоту—да вино. Вотъ однажды возвращались мы съ нимъ въ Мурино, и пришлось намъ миновать одинокій домъ, стоящій у перекрестка двухъ дорогъ, и обнесенный высокимъ и тѣснымъ частоколомъ. Не въ первый разъ видѣлъ я этотъ домъ, и всякій разъ онъ возбуждалъ мое любопытство: въ немъ было что-то таинственное, замкнутое, угрюмонѣмое, что-то напоминавшее острогъ или больницу. Съ дороги только и можно было видѣть, что его крутую, темной краской выкрашенную крышу. Во всемъ заборѣ

находились одни ворота; и тѣ казались на-глухо запертыми; никакого звука не слышалось никогда за ними. Совсѣмъ тѣмъ вы чувствовали, что въ этомъ домѣ непремѣнно кто-нибудь обитаетъ: онъ вовсе не являлъ видъ заброшеннаго жилья. Напротивъ, все въ немъ было такъ прочно и плотно и дюже, что хоть осаду выдерживай!

— Что за крѣпость такая?—спросилъ я у своего товарища.—Не знаете?

Викуловъ лукаво прищурился. — Чудное, небось, строеніе? Много съ него здѣшнему исправнику дохода!

— Какъ такъ?

— Да такъ же. О хлыстахъ-раскольникахъ—вотъ, что безъ поповъ живутъ—небось, слыхали?

— Слыхалъ.

— Ну вотъ тутъ ихъ главная матка обрѣтается.

— Женщина?

— Да—матка; богородица по-ихнему.

— Что вы?!

— Я-жъ вамъ говорю. Строгая, говорятъ, такая... Командирша! Тысячами ворочаетъ! Взялъ бы я, да всѣхъ этихъ богородицъ... Да что толковать!

Онъ позвалъ своего Пегашку, удивительную собаку, съ превосходнымъ чутьемъ, но безъ всякаго понятія о стойкѣ. Викуловъ принужденъ былъ подвязывать ей заднюю лапу, чтобъ она не такъ неистово бѣгала.

Слова его запали мнѣ въ память. Я, бывало, нарочно сворачивалъ въ сторону, чтобы пройти мимо таинственнаго дома. Вотъ, однажды, поравнялся я съ нимъ, какъ вдругъ—о, чудо! засовъ загремѣлъ за воротами, ключъ завизжалъ въ замкѣ—потомъ самыя ворота тихонько растворились—показалась могучая лошадиная голова съ заплетенной чолкой подъ расписной дугой—и, не спѣша, выкатила на дорогу небольшая телѣжка въ родѣ тѣхъ,

въ которыхъ ѣздятъ барышники и наѣздники изъ купцовъ. На кожаной подушкѣ телѣжки, ближе ко мнѣ, сидѣлъ мужчина лѣтъ тридцати, замѣчательно красивой и благообразной наружности, въ опрятномъ черномъ армякѣ и низко на лобъ надѣтомъ черномъ картузѣ; онъ степенно правилъ откормленнымъ, какъ печь широкимъ конемъ; а рядомъ съ мужчиной, по ту сторону телѣжки, сидѣла женщина высокаго роста, прямая какъ стрѣла. Голову ея покрывала дорогая черная шаль; одѣта она была въ короткій бархатный шушунъ оливковаго цвѣта и темно-синюю мериносовую юпку; бѣлыя руки, чинно сложенныя у груди, поддерживали другъ дружку. Телѣжка завернула по дорогѣ налѣво—и женщина очутилась въ двухъ шагахъ отъ меня; она слегка повела головою—и я узналъ Евлампію Харлову. Я узналъ ее немедленно, я ни единаго мгновенія не колебался, да и нельзя было колебаться; такихъ глазъ какъ у ней — и особенно такого склада губъ — надменнаго и чувственнаго—я ни у кого не видывалъ. Лицо ея стало длиннѣе и суше, кожа потемнѣла, кой-гдѣ виднѣлись морщины; но особенно измѣнилось выраженіе этого лица! Трудно передать словами, до чего оно стало самоувѣренно, строго, горделиво! Не простымъ спокойствіемъ власти—пресыщеніемъ власти дышала каждая черта; въ небрежномъ взорѣ, который она на меня уронила—сказывалась давнишняя, застарѣлая привычка встрѣчать одну благоговѣйную, безотвѣтную покорность. Эта женщина — очевидно—жила, окруженная не поклонниками—а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ея повелѣніе или желаніе—не было тотчасъ исполнено! Я громко назвалъ ее по имени и по отчеству; она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрѣла на меня — не съ испугомъ — а съ презрительнымъ гнѣвомъ: кто-молъ

смѣетъ меня безпокоить? — и, едва раскрывъ губы, произнесла повелительное слово. Сидѣвшій рядомъ съ ней мужчина встрепенулся, съ размаха ударилъ возжей по лошади — та двинулась впередъ шибкой и крупной рысью — и телѣга скрылась.

Съ тѣхъ поръ я не встрѣчалъ болѣе Евлампіи. Какимъ образомъ дочь Мартына Петровича попала въ хлыстовскія богородицы — я и представить себѣ не могу; но кто знаетъ, быть можетъ, она основала толкъ, который назовется — или уже теперь называется, по ея имени — Евлампіевщиной? Все бываетъ, все случается.

И вотъ, что̀ я имѣлъ сказать вамъ о моемъ степномъ королѣ Лирѣ, о семействѣ его и поступкахъ его.

Разсказчикъ умолкъ — а мы потолковали немного, да и разошлись во-свояси.

Веймаръ, 1870.

КОНЕЦЪ

ВОСЬМОГО ТОМА.